



ИЗ ИСКУПЛЕНИЕ МАКЬЮЭН

«ИСКУПЛЕНИЕ» — ЛУЧШЕЕ ИЗ ТОГО,
ЧТО СОЗДАЛ ЭТОТ ПРИВЕРЖЕНЕЦ
«БОЛЬШОГО СТИЛЯ».

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВСЬ МИР

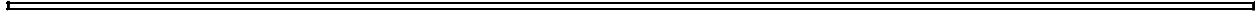
Annotation

Иэн Макьюэн. — один из авторов «правлящего триумvirата» современной британской прозы (наряду с Джулианом Барнсом и Мартином Эмисом), лауреат Букеровской премии за роман «Амстердам». «Искушение». — это поразительная в своей искренности «хроника утраченного времени», которую ведет девочка-подросток, на свой причудливый и по-детски жестокий лад переоценивая и переосмысливая события «взрослой» жизни. Став свидетелем изнасилования, она трактует его по-своему и приводит в действие цепочку роковых событий, которая «аукнется» самым неожиданным образом через много-много лет... В 2007 году вышла одноименная экранизация романа (реж. Джо Райт, в главных ролях Кира Найтли и Джеймс МакЭвой). Фильм был представлен на Венецианском кинофестивале, завоевал две премии «Золотой глобус» и одну из семи номинаций на «Оскар».

- [Иэн Макьюэн](#)
 -
 -
 - [Часть первая](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Часть третья](#)
- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)

- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)



Иэн Макьюэн

Искупление

Посвящается Анналине

— Мисс Морланд, дорогая, подумайте о существовании этих ужасных подозрений. Какие были у вас основания? Вспомните, в какой стране, в каком веке мы живем. Вспомните, что мы англичане, что мы христиане. Попробуйте воспринять жизнь по-настоящему, посмотрите вокруг себя. Разве наше воспитание готовит нас к таким извращениям? Разве наши законы им потакают? Могли бы они остаться незамеченными в стране, в которой печать и общественная деятельность находятся на таком высоком уровне, где все люди добровольно подглядывают друг за другом и где благодаря развитию газет и дорог ничто не может ускользнуть от всеобщего внимания? Милейшая мисс Морланд, что за мысли бродят в вашей головке?

Они дошли до конца галереи. И она со слезами стыда убежала к себе в комнату.

Джейн Остин. Нортенгерское аббатство.

(Перевод С. Маршака)

Часть первая

Пьеса, для которой Брайони рисовала афиши, делала программки и билеты, сооружала из ширмы кассовую будку и обклеивала коробку для денежных сборов гофрированной красной бумагой, была написана ею за два дня в порыве вдохновения, заставлявшем ее забывать даже о еде. Когда приготовления закончились, ей не оставалось ничего, кроме как созерцать свое творение и ждать появления кузенов и кузины, которые должны были прибыть с далекого севера. Порой повергающая в ужас, порой грустная до слез, пьеса представляла собой историю любви; идея ее, коротко изложенная в стихотворном прологе, состояла в том, что любовь, основанная не на здравом смысле, обречена. За свою безрассудную страсть к нечестивому графу-иностранцу героиня, Арабелла, расплачивается тем, что во время поспешного бегства со своим избранником в некий городок у моря заражается холерой. Покинутая им и едва ли не всем миром, прикованная к постели на каком-то чердаке, она вдруг открывает в себе чувство юмора. Судьба дарует ей еще один шанс в лице нищего доктора, под маской которого на самом деле скрывается принц, решивший посвятить себя служению страждущим. Исцеленная им Арабелла на сей раз поступает благоразумно, за что вознаграждается примирением с семьей и союзом с лечащим принцем. Их свадьба происходит «ветреным, но солнечным весенним днем».

Миссис Толлис читала семь страниц «Злоключений Арабеллы», сидя за туалетным столиком у себя в спальне, при этом писательница все время стояла рядом, обнимая ее за плечи. Брайони напряженно всматривалась в лицо матери, стараясь не упустить ни малейшего отражения эмоций, и Эмилия Толлис, чтобы сделать приятное дочери, то демонстрировала тревогу, то давилась от смеха, а в конце изобразила благодарную улыбку и одобрительно закивала, после чего, обняв девочку и усадив себе на колени — о, это ощущение горячего гладкого тельца, памятное еще с его младенчества и все еще не покинувшее, во всяком случае, не совсем покинувшее ее! — сказала, что это пьеса «чрезвычайной важности», и немедленно согласилась, прошептав это в тугую завиток девичьего ушка, чтобы ее слова были процитированы на афише, которой предстояло красоваться на мольберте при входе в вестибюль рядом с кассовой будкой.

Тогда Брайони едва ли подумала об этом, но то был кульминационный момент ее затеи. Все остальное не могло сравниться с этим ощущением

огромного удовлетворения и свелось лишь к мечтам и разочарованию. Тем летом в сумерках, после того как свет в ее комнате гасили и она ныряла в уютную темноту своей осененной балдахинной кровати, бывали моменты, когда сердце ее начинало усиленно биться от томительных ярких фантазий, представлявших собой короткие пьески, непременным участником которых был Леон. В одной из таких пьесок его широкое добродушное лицо искажалось от горя, когда Арабелла, оставшись в полном одиночестве, впадала в отчаяние. В другой он представал с бокалом в руке в какой-нибудь модной городской пивнущке и хвастался перед друзьями: «Да, моя младшая сестра Брайони Толлис — писательница, вы не могли не слышать о ней». В третьей он победно потрясал в воздухе кулаком после того, как опускался занавес, хотя никакого занавеса на самом деле не было, его просто невозможно было повесить. В сущности, ее пьеса предназначалась не для кузины и кузенов, а для брата, была написана в честь его возвращения. Брайони рассчитывала вызвать его восторг и, отвадив от бесчисленной череды легкомысленных подружек, наставить на верный путь поисков такой жены, которая убедит его осесть в деревне и любезно попросит Брайони стать подружкой невесты на их свадьбе.

Брайони была из тех детей, что одержимы желанием видеть мир упорядоченным. Если комната ее старшей сестры представляла собой сущий бедлам, где были беспорядочно навалены неразрезанные книги, нераспакованные вещи, постель никогда не заправлялась, а окурки из пепельниц не выбрасывались, то комната Брайони являлась храмом божества порядка: на игрушечной ферме, расположившейся на широком подоконнике глубоко утопленного в стене окна, было множество обычных животных, но все фигурки смотрели в одну сторону — на свою хозяйку, словно готовились по ее знаку дружно грянуть песню, и даже куры находились в аккуратном загончике. Честно говоря, комната Брайони была единственной комнатой на верхнем этаже, в которой царил порядок. Ее куклы, сидевшие прямо в своем многокомнатном домике, казалось, придерживались строгой инструкции не прислоняться к стенам; всевозможные фигурки размером с большой палец, расставленные на туалетном столике — ковбои, водолазы, человекообразные мыши, — ровностью рядов и интервалов между ними напоминали гражданское ополчение в ожидании приказа.

Любовь к миниатюрам была одним из проявлений приверженности Брайони к порядку. Другим проявлением можно было считать страсть к секретам: потайной ящичек в ее полированном комоде открывался нажатием на нужный узелок в хитроумно выточенном соединении типа

«ласточкин хвост». Там она хранила дневник и блокнот, исписанный лично ею изобретенным шифром. В игрушечном сейфе с шестизначным кодовым замком покоились письма и открытки. Старую оловянную коробочку для карманных денег она прятала под половицей под кроватью. В коробочке лежали сокровища, собранные за последние четыре года, — начало коллекции она положила в день своего девятилетия. Здесь находились двойной желудь-мутант, кусочек пирита, купленный на ярмарке магический амулет, предназначенный для моления о ниспослании дождя, легкий как перышко беличий черепок.

Но потайные ящички, запирающиеся дневники и криптографические записи, по сути, ничего не меняли: у Брайони никогда не было секретов. Стремление к гармоничному, упорядоченному миру лишало ее возможности совершать безрассудные поступки. Насилие и разрушение являлись, по ее представлениям, проявлениями хаоса, в ее натуре отсутствовала жестокость. Ввиду действующего статуса единственного маленького ребенка в семье, а также относительной изолированности дома Толлисов Брайони оказывалась отрезанной, по крайней мере во время долгих летних каникул, от подруг с их девчачьими интригами. В ее жизни не было ничего достаточно интересного или постыдного, что нуждалось бы в утаивании; о беличьем черепке, хранившемся под половицей, не знал никто, но никто и не стремился узнать. Впрочем, все это она вовсе не считала особым несчастьем, вернее, так казалось потом, когда все уже разрешилось.

В одиннадцатилетнем возрасте Брайони написала свой первый рассказ — нелепый, похожий на дюжину народных сказок и лишенный, как она поняла позднее, того знания жизни, которое позволяет добиться читательского уважения. Но первый неудачный опыт показал ей, что воображение само по себе источник тайн: начиная писать рассказ, нельзя было никому ничего говорить. Словесная игра — вещь слишком зыбкая, уязвимая, слишком сокровенная, чтобы посвящать в нее кого бы то ни было. Даже выводя на бумаге всего лишь «он сказал» или «а потом», Брайони вздрагивала, чувствуя, как глупо полагать, будто наверняка знаешь что-либо о чувствах воображаемого человека. Описание слабостей персонажа неизбежно чревато саморазоблачением: читатель невольно заподозрит, что она описывает себя, — разве могло быть иначе? Только когда повествование завершалось, все судьбы прояснялись и коллизия вполне вырисовывалась, так что рассказ походил, по крайней мере в этом отношении, на любое другое законченное сочинение, она могла почувствовать себя защищенной и оказывалась готова, проделав дырочки в

полях, сшить страницы веревочкой, нарисовать красками или просто карандашом обложку и показать завершённую работу матери или отцу, если тот был дома.

Ее усилия встречали поддержку. Более того, приветствовались, поскольку Толлисы начинали понимать, что дитя семьи обладает нетривиальным мышлением и владеет словом. Долгие летние дни она проводила, роясь в словарях и энциклопедиях в поисках словосочетаний, которые, несмотря на их кажущуюся абсурдность, а может, именно благодаря ей, западали бы в память: монеты, которые негодяй прятал в кармане, были у нее «эзотерическими», бандит, пойманный на краже автомобиля, плакал в порыве «бесстыдного самооправдания», героиня на чистопородном жеребце совершала «мимолетное» ночное путешествие, а чело короля, когда тот сердился, бороздили «иероглифы» морщин. Брайони часто просили почитать ее рассказы вслух в библиотеке; родители и старшая сестра удивлялись тому, с какой смелостью делает это их тихая девочка, как раскованно она жестикулирует свободной рукой, как изменяет выражение лица, имитируя речь того или иного персонажа, как время от времени на секунду-другую отрывается от текста, чтобы обвести взглядом лица слушателей, без смущения требуя от семьи безраздельного внимания, завораживая всех своим мастерством рассказчицы.

Но даже при отсутствии внимания, похвал и очевидного поощрения со стороны близких Брайони не могла бы не сочинять. К тому же, как многие писатели до нее, она начинала понимать, что не всякое признание идет на пользу. Например, бурный восторг Сесилии казался несколько преувеличенным, быть может, чуть-чуть окрашенным снисходительностью, а еще навязчивым. Взрослая сестра желала, чтобы был составлен каталог «изданных» рассказов Брайони и все они заняли свое место в библиотеке, на книжной полке между Рабиндранатом Тагором и Квинтом Тертуллианом. Если в этом и таилась насмешка, Брайони игнорировала ее. Она уже встала на курс и находила удовлетворение на иных уровнях; сочинение рассказов не только предполагало тайну, но и позволяло наслаждаться процессом миниатюризации. Ей было дано создать целый мир, причем гораздо более увлекательный, чем игрушечная ферма, всего на пяти страницах. Детство избалованного принца можно было вместить в полстраницы, бегство лунной ночью через спящие деревушки описать одной ритмически организованной фразой, а зарождение любви — двумя словами: *вспыхнувший взгляд*. Листки с только что законченным рассказом, казалось, трепетали в ее руке от заключенной в них жизни. Была удовлетворена и ее страсть к порядку, поскольку неуправляемый мир она

могла таким образом сделать управляемым. Кульминацию драмы героини в ее власти было совместить с бурей и градом, штормом и громом, в то время как свадебные пиры обычно осенялись легким ветерком и мягким светом. Поклонение порядку влияло также и на представление Брайони о справедливости; смерть и свадьба были основами семейного уклада, смерть становилась уделом исключительно сомнительных личностей, свадьба оказывалась воздаянием достойным персонажам, и награду эту они получали в самом финале.

Пьеса, написанная к возвращению Леона домой, была ее первым драматургическим опытом, давшимися Брайони, однако, без особого труда. Ей показалось огромным облегчением перестать выводить все эти бесконечные «он сказал», «она сказала», не описывать погоду, первые признаки весны или внешность героини — диапазон красоты, как она обнаружила, весьма ограничен, в то время как уродство имеет бесчисленное множество личин. В драме вселенная сокращалась до конкретного высказывания, и в этом заключался истинный, почти идеальный порядок, а в качестве компенсации каждая реплика выражала чувства в их крайних проявлениях, при которых восклицательные знаки незаменимы. «Злоключения Арабеллы» можно было назвать мелодрамой, если бы автору был знаком этот термин. Предполагалось, что пьеса будет вызывать у зрителей не смех, а ужас, принесет им облегчение и преподаст урок, именно в таком порядке, поэтому невинная страсть, с которой Брайони готовила свой проект — афиши, билеты, касса, — делала ее особенно уязвимой перед возможностью провала. Она легко могла бы сочинить в честь возвращения Леона еще один рассказ, но новость о том, что с севера к ним надолго приезжают кузены и кузина, заставила ее предпринять вылазку в область новых художественных форм.

Для Брайони особого значения не имело, что пятнадцатилетняя Лола и девятилетние близнецы Джексон и Пьеро были беженцами, пострадавшими в ходе суровой домашней гражданской войны. Она слышала, как ее мать критиковала импульсивное поведение своей младшей сестры Гермiony и сокрушалась по поводу ситуации, в которой оказались трое детей, а также осуждала своего слишком мягкого, трусливого зятя Сесила, сбежавшего ради собственного спокойствия в Оксфорд, в колледж Всех Святых. Брайони слышала, как мать с сестрой анализировали последние семейные скандалы, выходки, взаимные обвинения, и знала, что кузены и кузина приезжают на неопределенный срок, вероятно, на целый учебный семестр. Считалось, что дом Толлисов может принять еще троих детей и Куинси

вольны жить здесь сколько пожелают, однако их родителям, если те когда-либо захотят навестить своих отпрысков в одно и то же время, придется выяснять отношения в другом месте. Две комнаты рядом с комнатой Брайони чисто вымели, повесили там новые занавески и притащили мебель из других помещений. В иных обстоятельствах она принимала бы в этих приготовлениях живое участие, но они совпали с двухдневным приступом ее творческого вдохновения и началом реконструкции фасада дома. У Брайони было смутное представление о том, что развод — это несчастье, но она никогда не сталкивалась с этим процессом непосредственно и не думала о нем. Для нее развод был одним из печально неизбежных осложнений повседневной жизни, не дающим пищи для рассказчика, ибо принадлежал к сфере беспорядка. Иное дело брак, вернее, свадьба с ее строгим ритуалом вознаграждения добродетели, с вызывающими трепет торжественными церемониями и банкетами, с обещанием вечного союза. Свадьба была также скрытой аллегорией плотского блаженства, пока еще для Брайони невообразимого. Шествуя по проходам сельских церквей и великолепных городских храмов под одобрительными взглядами многочисленных родственников и друзей, ее герои и героини достигали невинной кульминации, не нуждавшейся в продолжении.

Если развод представлял собой подлую антитезу всему этому, его можно было без раздумий бросить на другую чашу весов вместе с предательством, болезнями, воровством, оскорбительным поведением и лживостью. В глазах Брайони развод имел отвратительную личину скучной запутанности и бесконечной вражды. Как перевооружение, или абиссинский вопрос, или садоводство, он просто не входил в сферу ее интересов. Когда на исходе заполненного томительным ожиданием субботнего утра Брайони услышала под окном спальни шорох колес по гравии, она, схватив свои листки, сбежала по лестнице в холл и выскочила на ослепительный дневной свет. Первым делом она крикнула своим ошалевшим с дороги юным гостям, зажатым вещами в салоне автомобиля:

— Вот ваши роли, все расписано. Завтра премьера! Репетиция начнется через пять минут! — Но это можно было счесть скорее свидетельством ее преувеличенного творческого самолюбия, чем бесчувственностью.

Но тут же на крыльце появились мать и сестра, скорректировавшие поспешное объявление Брайони. Гости — все трое рыжеволосые и веснушчатые — были препровождены в свои комнаты. Вещи туда перенес Дэнни, сын Хардмена. Потом все подкрепились горячими напитками в кухне, совершили экскурсию по дому, получили возможность поплавать в

бассейне и наконец пообедали в саду на южной стороне дома под сенью виноградных лоз. Все это время Эмилия и Сесилия непринужденно болтали, стараясь дать возможность гостям почувствовать себя свободно, а на самом деле, конечно же, лишали их этой возможности. Брайони точно знала, что, доведись ей оказаться в чужом месте за двести миль от дома, бодрые вопросы, шутки и заверения, что она вольна в своих поступках, только угнетали бы ее. Взрослые не понимали, что больше всего на свете детям хотелось, чтобы их оставили в покое. Тем не менее Куинси изо всех сил притворялись веселыми и беззаботными, что сулило успех «Злоключениям Арабеллы». Хотя эта троица и отдаленно не походила на персонажей, которых им предстояло воплотить, кузина и кузены Брайони явно обладали способностью казаться тем, кем не были на самом деле.

Перед обедом Брайони улизнула в пустую детскую комнату, предназначенную для репетиций, и, расхаживая по ней, принялась обдумывать распределение ролей. Совершенно очевидно, что Арабелла, чьи волосы были так же черны, как у самой Брайони, не могла быть дочерью веснушчатых родителей или тайно бежать с веснушчатым графом-иностранцем, снимать чердак у веснушчатого хозяина гостиницы, без памяти влюбиться в веснушчатого принца и принять благословение на брак от веснушчатого викария перед лицом его веснушчатой паствы. Но работать приходилось с теми, кто был под рукой. Ее кузина и кузены были слишком рыжими — прямо-таки огненными! — чтобы это можно было скрыть. Единственное, что оставалось, — это сказать, будто *отсутствие* веснушек у Арабеллы есть знак, иероглиф — как скорее всего написала бы Брайони — избранности. Чистота души девушки сомнениям не подвергается и остается незапятнанной, несмотря на то что ей приходилось сталкиваться с окружающим миром, где полно грязи.

Другая проблема была связана с близнецами, которых посторонний человек ни за что не отличил бы друг от друга. Не могли же нечестивый граф и благородный принц быть похожи как две капли воды и притом иметь лица отца Арабеллы и викария! А что, если роль принца дать Лоле? Джексон и Пьеро, похоже, обычные мальчишки-непоседы, которые наверняка будут делать то, что им велят. Но вот согласится ли их сестра исполнить мужскую роль? У нее зеленые глаза, острые скулы, впалые щеки, и в ее молчаливости угадывается некая нервность, предполагающая сильную волю и легкую воспламеняемость. Одна попытка предложить Лоле эту роль может спровоцировать взрыв. И сможет ли она, Брайони, держать Лолу за руку перед алтарем, пока Джексон будет читать молитвенник?

Собрать всех исполнителей в детской Брайони смогла только в пять часов. Она поставила в ряд три стула, а сама втиснулась в высокое старое детское кресло — богемный штрих, дававший ей преимущество верхнего обзора, как у рефери на теннисном корте. Близнецы неохотно отошли от бассейна, в котором плескались три часа кряду. Они пришли босиком, натянув майки, с которых на пол капала вода. Вода стекала также с их спутанных волос на шеи; мальчики дрожали от холода и стучали одним коленом о другое, чтобы согреться. От долгого купания кожа у них сморщилась и побелела, отчего в относительно слабо освещенной детской веснушки казались почти черными. Сестра, сидевшая между ними положив ногу на ногу, напротив, демонстрировала безмятежное спокойствие, была щедро надушена и одета в зеленое хлопковое платье, выгодно оттенявшее ее кожу и волосы. Открытые босоножки позволяли видеть браслет на щиколотке и покрытые багряным лаком ногти. При виде этих ногтей у Брайони сдавило грудь, она сразу же поняла, что просить Лолу сыграть роль принца совершенно бесполезно.

Когда все расселись, юная писательница приготовилась обратиться к ним с краткой речью, в которой собиралась изложить сюжет пьесы и донести до будущих исполнителей мысль о том, сколь волнующим событием должно стать их завтрашнее выступление в библиотеке перед взрослой аудиторией. Но Пьеро перехватил инициативу, заявив:

— Ненавижу пьесы и все, что с ними связано.

— Я тоже, — подхватил Джексон, — и еще переодевания.

За обедом всем объяснили, что близнецов можно различать по ушам: у Пьеро на мочке левого уха не хватало треугольного кусочка, вырванного собакой, которую он мучил, когда ему было три года.

Лола с полным безразличием смотрела в сторону. Брайони удивилась:

— Как можно ненавидеть пьесы?

— Они просто повод, чтобы покрасоваться, — объяснил Пьеро и пожал плечами в знак того, что это очевидно.

Брайони вынуждена была признать, что в его словах есть резон. Именно поэтому она как раз и любила пьесы, по крайней мере собственную; все должны были обожать ее. Глядя на мальчишек, под чьими стульями образовались лужицы, вода из которых уже начала просачиваться в щели между половицами, она понимала, что они никогда не разделят ее честолюбивых устремлений. Тем не менее Брайони постаралась смягчить свой тон:

— По-твоему, Шекспир просто хотел покрасоваться?

Пьеро бросил тревожный взгляд на Джексона. Воинственная, как

казалось Пьеро, фамилия была ему смутно знакома, от нее попахивало школой и взрослой самоуверенностью, но близнецы всегда черпали смелость во взаимной поддержке.

— Конечно, это все знают, — сказал он.

— Вот именно, — подтвердил Джексон.

Лола посмотрела сначала на Пьеро, а потом перевела взгляд на Джексона. В семье Брайони миссис Толлис никогда не приходилось обращаться одновременно к обеим дочерям. Теперь Брайони поняла, как это делается.

— Вы будете участвовать в спектакле, а то получите по затрещине, после чего я все расскажу родителям, — пообещала она.

— Если ты дашь нам подзатыльники, то это *мы* все расскажем родителям.

— Вы будете участвовать в спектакле, или я расскажу родителям.

Несмотря на то что возможность наказания обсуждалась, это ничуть не снижало его опасности. Пьеро закусил нижнюю губу и стал сосать ее.

— Почему мы должны это делать? — В вопросе слышалась уступка.

Лола, взъерошив его мокрые волосы, объяснила:

— Помните, что говорили родители? Мы — гости в этом доме и должны быть... Какими мы должны быть? Ну, скажите. Какими мы должны быть?

— Пос-слушными, — дуэтом жалобно ответили близнецы, запнувшись на непривычном слове.

Повернувшись к Брайони, Лола улыбнулась:

— Пожалуйста, расскажи нам о своей пьесе.

Родители. Какая бы законная сила ни заключалась в этом существительном, она вот-вот должна была утратить свое значение, если уже не утратила, но пока это не стало общепризнанным фактом, требовалось соблюдать порядок и добиваться послушания, даже от самых маленьких. Брайони вдруг устыдилась того, что в своем эгоистическом порыве не дала себе труда предположить, будто ее кузены и кузина могут отказаться от участия в представлении «Злоключений Арабеллы». Но на их долю выпало пережить собственные злоключения, собственную катастрофу, и теперь, оказавшись гостями в ее доме, они чувствовали себя обязанными ей. А хуже всего, что Лола дала понять: она тоже будет участвовать в спектакле, пусть и через силу. Куинси, переживавшие не лучшие времена, еще и подвергались принуждению. Однако — Брайони с трудом старалась ухватить сложную мысль, обретавшую очертания у нее в голове, — не было ли здесь некой игры, не пыталась ли Лола, используя

близнецов, довести до ее сведения что-то свое, враждебное и разрушительное? Будучи на два года младше, Брайони чувствовала уязвимость своего положения, тяжесть двухлетнего превосходства кузины, изящно давившей на нее, и собственная пьеса уже смущала ее и казалась жалкой.

Избегая встречаться взглядом с Лолой, она стала пересказывать сюжет, несмотря на то что его незатейливость ошеломляла теперь ее самое. Ей больше не хотелось заразить своих родственников трепетом ожидания предстоящей премьеры.

Как только она закончила, Пьеро заявил:

— Я буду графом. Мне нравится играть плохого человека.

Джексон сказал просто:

— А я — принц. Я всегда принц.

Брайони захотелось притянуть их к себе и расцеловать, но она лишь кивнула:

— Что ж, очень хорошо.

Лола, опустив ногу и одернув платье, встала, словно собралась уходить, потом, вздохнув то ли с грустью, то ли со смирением, сказала:

— Ну, поскольку пьесу написала ты, ты, конечно, будешь Арабеллой...

— О нет, — возразила Брайони. — Нет. Вовсе нет.

Говоря «нет», она, разумеется, имела в виду «да». Безусловно, роль Арабеллы предназначалась ей. «Нет» относилось лишь к Лолиному «конечно». Брайони должна была играть Арабеллу не потому, что сама написала пьесу, а потому, что ей и в голову не приходило, как может быть иначе, ведь именно Арабеллой должен был увидеть ее Леон, да она *и была* Арабеллой.

Но слово вырвалось, и Лола сладким голосом подхватила:

— В таком случае ты не будешь возражать, если ее сыграю я? Думаю, я смогу сделать это очень хорошо. По правде говоря, если выбирать из нас обеих...

Она не закончила фразу, а Брайони, не умея скрыть ужас, лишь смотрела на кузину, не в состоянии произнести ни слова. Она понимала: роль уплывает от нее, но не могла придумать, что сказать, чтобы этого не случилось. Пользуясь молчанием Брайони, Лола начала излагать свои преимущества:

— В прошлом году я сильно хворала, поэтому болезнь тоже смогу отлично сыграть.

Тоже? Брайони не могла тягаться со старшей кузиной. Неотвратимое несчастье туманило ей голову.

Один из близнецов с гордостью добавил:

— И еще ты участвовала в школьном спектакле.

Как могла Брайони сказать им, что Арабелла — не веснушчатая? Кожа у нее бледная, а волосы черные, и ее мысли — это мысли самой Брайони. Но разве можно отказать кухне, очутившейся так далеко от дома и переживающей крушение семьи? Лола, похоже, читала ее мысли, потому что выложила последнюю карту, козырного туза:

— Скажи «да». Это будет единственным счастливым событием в моей жизни за все последние *месяцы*.

Да. Произнести слово у Брайони не повернулся язык, она лишь кивнула и тут же в отчаянии почувствовала, как нервная дрожь добровольного самоуничтожения пробежала по коже и воздух вокруг запульсировал темными волнами. Ей хотелось убежать, оказаться в одиночестве, уткнуться лицом в подушку, смаковать горестную остроту момента, мысленно прокручивая события в обратном порядке, до того момента, с которого началось крушение. Ей было необходимо, закрыв глаза, вообразить все то бесценное, что она потеряла, отдала собственными руками, представить себе грядущий новый порядок. Это касалось не только Леона, но и старинного шелкового платья цвета персика со сливками, которое мама предназначала для ее свадьбы, то есть для свадьбы Арабеллы. Платье тоже придется отдать Лоле. Как сможет мать отвергнуть дочь, так любившую ее все эти годы? Перед мысленным взором Брайони уже стояла Лола в облегающем, идеально пригнанном по фигуре платье, видела бессердечную мамину улыбку и понимала, что единственный разумный выход для нее — убежать, поселиться в глухом лесу, питаться ягодами и ни с кем не разговаривать. Пусть однажды зимой, на рассвете, ее найдет бородатый лесник. Она, прекрасная и мертвая, босая или, возможно, в балетных туфельках с красными ленточками-завязками, свернется клубочком у подножия гигантского дуба...

Жалость к себе требовала полной отдачи, только в уединении Брайони могла вдохнуть жизнь в душераздирающие детали, а сейчас она уйти не могла. Получив согласие — насколько легкий наклон головы может изменить жизнь! — Лола тут же подняла с пола странички рукописи, и близнецы, вскочив со стульев, вышли вслед за сестрой на середину комнаты, расчищенной Брайони накануне. Посмеет ли она теперь уйти? Лола мерила шагами комнату, прижав ладонь ко лбу, просматривая текст и бормоча строчки пролога. Объяснив, что надо с самого начала обо всем позаботиться, она принялась распределять между братьями роли родителей Арабеллы и объяснять, каким должен быть их первый выход, полагая,

видимо, будто знает все, что требовалось знать о театре. Распространение владычества Лолы происходило стремительно и делало жалость Брайони к себе никому не интересной. А может, в этом проявлялась особая изысканность уничижения? Ибо Брайони не получила даже роли матери Арабеллы, так что, судя по всему, настал момент выскользнуть из комнаты и плюхнуться в темноте спальни на кровать лицом вниз. Удивительно, но именно оживленность Лолы, полное отсутствие внимания ко всему, что не относилось к делу, и уверенность Брайони, что ее чувств никто не замечает, а тем более не испытывает никакого чувства вины, дали ей силу восстать против несправедливости.

В своей приятной и идеально защищенной жизни она, в сущности, никогда прежде ни с кем не конфликтовала, но теперь поняла: принять вызов — все равно что нырнуть в холодный бассейн в начале июня, нужно просто заставить себя это сделать. Когда, выбравшись из детского кресла, запыхавшаяся Брайони вышла в центр комнаты, туда, где стояла кухня, сердце ее билось неровно.

Забрав у Лолы текст, она произнесла натянуто, причем голос ее звучал выше, чем обычно:

— Если ты — Арабелла, то я буду режиссером. Большое спасибо. И пролог я буду читать сама.

Лола прижала к губам покрытые веснушками ладони.

— Прос-с-ти! — притворно смутилась она. — Я просто хотела, чтобы мы наконец приступили к делу.

Брайони не нашла, что ответить и, повернувшись к Пьеро, сказала:

— Не больно-то ты похож на мать Арабеллы.

Издевка над таким распределением ролей и смех, который эта фраза вызвала у мальчиков, поколебали прежний баланс сил. Картинно пожав плечами, Лола отошла к окну и уставилась в него. Вероятно, теперь она боролась с желанием выбежать из комнаты.

Несмотря на то что близнецы затеяли борцовский матч, а их сестра почувствовала приближение приступа головной боли, худо-бедно репетиция началась. В накаленной тишине Брайони декламировала пролог:

Вот рассказ о гордой Арабелле,
Убедившей с негодяем смело.
Мать с отцом рыдают безутешно:
Дом родной так спешно и так грешно
Первенца бросила...

Стоя бок о бок с женой у кованых ворот усадьбы, отец Арабеллы поначалу умолял дочь изменить свое решение, потом, доведенный до отчаяния, требовал, чтобы она осталась. Но горестная, однако полная решимости героиня непреклонно смотрела ему в лицо, держа за руку графа, а оседланные кони, привязанные к ближнему дубу, в нетерпении ржали и били копытами. Дрожащим от самых нежных чувств голосом отец увещевал:

Любимое дитя, юна ты и прелестна,
Но простодушна. Хоть и веришь честно,
Что мир у ног твоих, меня тревога гложет:
Восстать и растоптать тебя он может.

Брайони держала за руку Джексона, Лола и Пьеро стояли, также рука об руку, напротив. Когда мальчики встречались взглядами, на них нападал приступ смеха, и девочки шикали на них. Одно это доставляло множество хлопот, но по-настоящему Брайони поняла, какая пропасть разделяет замысел и его воплощение, лишь когда Джексон сдавленным монотонным голосом начал читать свою роль. Он бубнил так, словно текст, написанный на бумаге, был помпильным списком, и оказался не в состоянии произнести слово «простодушна», сколько бы раз она его ни повторяла, он также упорно опускал последние слова «восстать... и растоптать». Что касается Лолы, то она произносила реплики правильно, но небрежно и время от времени неуместно улыбалась, желая, видимо, показать, что ее почти взрослые мысли где-то далеко.

И так в течение получаса кузены и кузина с севера методично разрушали творение Брайони, поэтому появление старшей сестры, пришедшей, чтобы отвести близнецов в ванную комнату, показалось ей актом милосердия.

II

Отчасти по причине молодости и прекрасной погоды, отчасти из-за нестерпимого желания покурить Сесилия Толлис с букетом цветов в руках почти бежала по тропинке, тянувшейся сначала вдоль реки, потом вдоль замшелой каменной стены, ограждавшей старый бассейн, и наконец сворачивавшей в дубовую рощу. Подгоняло ее также и ожидание того, что скуке от безделья, мучившей ее несколько недель, минувших после выпускных экзаменов, приходит конец. С момента ее возвращения домой жизнь словно застыла, и сияющий день пробуждал в ней почти отчаянное нетерпение.

Лесная прохлада казалась благословением, а причудливо вылепленные стволы деревьев — восхитительными. Миновав узкую железную калитку и пробежав вдоль рододендронов, окаймлявших низкую изгородь, Сесилия пересекла парк с немногочисленными деревьями, проданный местному фермеру для выпаса коров, и оказалась позади фонтана, представлявшего собой уменьшенную вдвое копию «Тритона» Бернини, установленного в Риме на площади Барберини.

Мускулистая фигура, вальяжно раскинувшаяся в раковине, выдувала из витой ракушки струйку, поднимавшуюся всего лишь на два дюйма вверх, — напор воды был слабым, и струя падала обратно на голову Тритону, стекая по его каменным локонам, по борозде мощного позвоночника и оставляя на своем пути блестящий темно-зеленый след. Здесь, в чуждом северном климате, он не чувствовал себя как дома, но в лучах яркого утреннего солнца смотрелся великолепно, как и четыре дельфина, поддерживавшие раковину с волнистыми краями, внутри которой он расположился. Сесилия посмотрела на каменные чешуйки, покрывавшие дельфинов и бедра Тритона, потом перевела взгляд на дом. Кратчайший путь в гостиную пролегал через лужайку и террасу с французскими окнами. Но на лужайке, стоя на коленях, друг ее детства и одноклассник по университету Робби Тернер полыл цветочный бордюр, а ей не хотелось вступать с ним в разговор. По крайней мере сейчас. Ландшафтный дизайн стал одним из его пунктов по возвращении. Другим были разговоры о поступлении в медицинский колледж. После получения диплома по литературе это казалось весьма претенциозным и бесцеремонным, поскольку платить за обучение предстояло ее отцу.

Сесилия освежила цветы, обмакнув в глубокий фонтан, наполненный

до краев холодной водой. Чтобы избежать встречи с Робби, она поспешила к дому кружным путем. «Лишний повод, — подумала она, — провести на свежем воздухе еще несколько минут». Утреннее солнце, как, впрочем, и любой свет, не могло скрасить уродство дома Толлисов — построенного лет сорок назад приземистого, орнаментированного покрытыми свинцом пластинами здания из красного кирпича в стиле феодальной готики. Этот стиль Певзнер или кто-то из его команды окрестил в одной из статей трагедией упущенных возможностей, а некий молодой писатель-модернист назвал до преступного непривлекательным. Когда-то на этом месте стоял дом в классическом стиле Джеймса Адама, сгоревший в конце XIX века. От него осталось лишь искусственное озеро с островом посередине, к которому вели два каменных мостка. На острове высоко над водой возвышался полуразрушенный храм с осыпавшейся штукатуркой. Дед Сесилии, выросший в квартире над скобяной лавкой и сколотивший состояние на патентах навесных замков собственной конструкции, болтов, щеколд и засовов, построил новый дом по своему вкусу, определявшемуся прежде всего требованиями прочности, надежности и функциональности. Тем не менее, если встать спиной к главному входу и посмотреть вдаль, не обращая внимания на фризских коров, пасущихся в тени редких деревьев, перед вами открывался весьма приятный вид, вызывавший ощущение бесконечного, неподвластного времени восхитительного покоя. Этот вид теперь больше, чем когда-либо, вселял в Сесилию уверенность в необходимости перемен.

Она вошла в дверь, быстро пересекла выложенный черно-белой плиткой холл — как привычно и как докучливо звучало эхо ее шагов! — и остановилась на пороге гостиной, чтобы перевести дух. Холодные капли, падавшие на ноги в открытых босоножках с лохматого букета олеандров, ивовых веток и ирисов, взбудрили ее. Ваза, которую она искала, стояла на американском столике вишневого дерева у чуть приоткрытого французского окна. Окно выходило на юго-восток, и утреннее солнце покрывало зеленовато-голубой ковер вытянутыми параллелограммами света. По мере того как успокаивалось дыхание, желание закурить становилось еще острее, но Сесилия медлила в дверях, очарованная совершенством декорации — три выцветших дивана, окружавших почти новый готический камин, отгороженный экраном с изображением застывшей на морозе осоки, расстроенный клавесин, на котором никто не играл, пюпитры красного дерева, тяжелые бархатные шторы, свободно подхваченные оранжево-синей тесьмой с кисточками и обрамлявшие картину, запечатленную в створе окна: безоблачное небо и желто-зеленая

пестрая терраса, мощенная плитами, сквозь щели между ними проросли лечебная ромашка и пиретрум. Ступеньки вели с террасы на лужайку, на краю которой все еще трудился Робби и которая простиралась ярдов на пятьдесят, до фонтана «Тритон».

Река и цветы, пробежка, которую в последние дни Сесилия совершала крайне редко, ребристые стволы дубов, комната с высоким потолком, геометрия света, постепенно замирающая в тишине пульсация в ушах — все это было ей мило и хорошо знакомо, но незаметно перетекало в нечто изысканное и странное. В то же время она внутренне корила себя за то, что родной дом казался ей скучным. Из Кембриджа Сесилия вернулась со смутным ощущением, будто вся семья должна беспрерывно наслаждаться ее обществом. Но отец почти постоянно был в городе, а мама, когда не ублажала свою мигрень, казалась отстраненной, даже недружелюбной. Сесилия носила подносы с чаем в комнату матери — такую же неопрятную, как ее собственная, — в надежде на доверительный разговор. Однако Эмилия Толлис ограничивалась лишь раздраженными замечаниями по поводу домашнего хозяйства или с непроницаемым выражением лица лежала в полутьме на высоко взбитых подушках и пила чай в изматывающей тишине. Брайони была потеряна для общения, так как полностью погрузилась в свои писательские фантазии — то, что поначалу казалось временной причудой, превратилось в настоящую одержимость. Сесилия встретила ее сегодня на лестнице. Сестра вела этих бедолаг, прибывших только вчера кузину и кузенов, наверх, в детскую, репетировать пьесу, которую она собиралась представить вечером, когда придет Леон с приятелем. Времени оставалось всего ничего, а одного из близнецов Бетти уже успела подержать в заточении в буфетной за какую-то провинность. Сесилия не испытывала желания помочь сестре — было слишком жарко, к тому же, как бы ни старалась Брайони, затея грозила закончиться провалом, поскольку девочка связывала со своим спектаклем слишком большие ожидания, хотя никто, особенно близнецы, не соответствовал ее неистовому замыслу.

Сесилия понимала, что не может попусту тратить время в духоте неприбранной комнаты, лежа на кровати в облаке табачного дыма, подперев голову рукой, укалываясь о разбросанные повсюду шпильки и булавки и продираясь сквозь «Клариссу» Ричардсона. Она начала было составлять генеалогическое древо семьи, но по отцовской линии, по крайней мере до того, как ее прапрадед открыл скромную скобяную лавку, все предки безнадежно утопали в болоте крестьянского труда. Мужчины весьма подозрительно меняли фамилии, а семейная летопись изобиловала

гражданскими браками, не зарегистрированными в приходских книгах. Сесилия не могла здесь оставаться, знала, что нужно обдумать планы на будущее, но не делала ничего. Существовали разные возможности, но с их осуществлением можно было подождать. У нее на счету имелось немного денег — достаточно, чтобы скромно прожить около года. Леон не раз приглашал ее погостить у него в Лондоне. Университетские друзья предлагали найти для нее работу — унылую, разумеется, но она обеспечила бы некоторую независимость. С материнской стороны у Сесилии были занятные тетушки и дядюшки, которые были бы счастливы принять ее у себя, в том числе и Гермiona, мать Лолы и мальчиков, которая сейчас жила в Париже с любовником, работавшим на радио.

Никто не препятствовал отъезду Сесилии, никто не стал бы особо печалиться по поводу ее отсутствия. И не апатия удерживала ее — нередко она бывала неугомонной до раздражения. Просто Сесилии нравилось думать, что ее не отпускают, потому что нуждаются в ней. Время от времени она убеждала себя, что торчит дома ради Брайони, или чтобы помогать матери, или потому, что это была для нее последняя возможность провести дома относительно долгий период времени и она должна воспользоваться ею. По правде говоря, перспектива паковать чемодан и садиться на утренний поезд не вдохновляла ее. Уехать — просто чтобы уехать? Домашняя же отсидка, уютная, хоть и тоскливая, была не такой уж неприятной формой самоистязания в ожидании чего-то радостного; если она уедет, может произойти что-нибудь плохое или, того хуже, хорошее — событие, которое она не может позволить себе пропустить. А еще был Робби, который выводил ее из себя тем, что подчеркнуто держал дистанцию, и своими грандиозными планами, которые обсуждал только с ее отцом. Они с Робби знали друг друга с семи лет, и ее тревожило, что в последнее время при разговоре они испытывали неловкость. Даже возлагая большую часть вины за это на него — неужели ему самому это не приходило в голову? — Сесилия твердо знала, что должна выяснить причину, прежде чем думать об отъезде.

В окна потянуло слабым запахом коровьего навоза, висевшим в воздухе всегда, за исключением самых морозных дней, но ощутимым лишь для тех, кто какое-то время отсутствовал. Положив на землю совок, Робби встал, чтобы свернуть самокрутку, отголосок пребывания в коммунистической партии — еще одна отброшенная причуда наряду с амбициями заняться антропологией и планами пройти пешком от Кале до Стамбула. Между тем сигареты Сесилии находились двумя лестничными пролетами выше, в каком-то из нескольких карманов в ее одежде.

Она вошла наконец в комнату и сунула цветы в вазу. Когда-то эта ваза принадлежала ее дядюшке Клему, чьи похороны, точнее, перезахоронение в конце войны она помнила очень хорошо: орудийный лафет установили во дворе сельской церкви, гроб был задрапирован полковым знаменем, взметнувшиеся вверх сабли, звук сигнальной трубы над могилой и — что пятилетней девочке запомнилось больше всего — плачущий отец. Клем был его единственным родственником. История о том, как к нему попала ваза, излагалась в одном из последних писем молодого лейтенанта домой. Во французском секторе он как офицер связи организовал спешную эвакуацию маленького городка к западу от Вердена, который должен был вот-вот подвергнуться артиллерийскому обстрелу. Было спасено около пятидесяти женщин, детей и стариков. Позднее мэр вместе с другими представителями городских властей провел дядюшку Клема обратно через город в полуразрушенный музей. Вазу вынули из разбитой витрины и преподнесли ему в знак глубокой благодарности. О том, чтобы отказаться, не могло быть и речи, хотя воевать с мейсенским фарфором под мышкой было чрезвычайно неудобно. Месяц спустя лейтенант Толлис оставил вазу какому-то фермеру на хранение, а потом вброд перешел реку, чтобы забрать свою вещь, и той же ночью вернулся в часть, пешком проделав обратный путь. В последние дни войны его перевели в караульную службу, и он отдал вазу другу, чтобы тот сберег ее. Ваза долго путешествовала, пока снова не оказалась в штабе полка, откуда ее отправили в дом Толлисов через несколько месяцев после похорон дядюшки Клема.

Составлять аккуратный букет из диких цветов не было никакого смысла. В их живописном беспорядке таилась скрытая симметрия, и искусственное распределение ирисов, олеандров и ивовых ветвей разрушило бы этот эффект. В течение нескольких минут Сесилия пыталась аранжировать цветы так, чтобы добиться впечатления естественного хаоса, и не переставала при этом размышлять о том, стоит ли выйти к Робби. Это избавило бы ее от необходимости подниматься к себе. Ей было жарко и неуютно, хотелось взглянуть на себя в большое зеркало в золоченой раме, висевшее над камином, чтобы проверить, как она выглядит. Однако если Робби обернется — сейчас тот стоял спиной к дому и курил, — он сможет увидеть, что происходит в гостиной. Покончив с букетом, Сесилия сделала шаг назад. Теперь друг ее брата Пол Маршалл наверняка подумает, что цветы сунули в вазу так же небрежно, как и сорвали. Она понимала, что бессмысленно составлять букет до того, как в вазу налита вода, но так уж получилось: помимо собственной воли Сесилия перебирала и передвигала

цветы, ведь далеко не все, что делает человек, особенно когда остается один, поддается логическому объяснению. Мама захотела, чтобы в комнате гостя стояли цветы, и Сесилия с радостью выполнила ее пожелание. За водой следовало пойти на кухню. Но там, поскольку Бетти приступала к приготовлению ужина, царила атмосфера террора, способная испугать не только таких маленьких мальчиков, как Джексон и Пьеро, но и помощников, нанятых в деревне. Даже в гостиной были слышны ее недовольные окрики и то, как она неестественно громко гремела кастрюлями. Если Сесилия сейчас появится в кухне, ей придется выполнять роль посредника между матерью с ее нечеткими распоряжениями и Бетти с ее воинственным настроем. В этой ситуации предпочтительнее было выйти из дома и наполнить вазу водой из фонтана.

Когда-то, когда она была еще подростком, отцовский друг, работавший в Музее Виктории и Альберта, приехал, чтобы осмотреть вазу, и объявил, что она ценная. Это оказался настоящий мейсенский фарфор, работа знаменитого мастера Херолдта, ваза была расписана им в 1726 году и, несомненно, давным-давно принадлежала королю Августу. Несмотря на то что считалось, будто ваза стоит больше, чем все остальные ценности дома Толлисов, то есть хлам, который коллекционировал дед Сесилии, Джек Толлис желал, чтобы в память о брате ею постоянно пользовались, а не держали за стеклом в каком-нибудь шкафу. Если эта ваза пережила войну, следовало пояснение, то уж Толлисов как-нибудь переживет. Его жена не возражала. Дело в том, что, какой бы ценной ни была эта ваза и какие бы воспоминания ни навевала, Эмилии Толлис она не слишком-то нравилась. Роспись — маленькие фигурки китайцев, торжественно восседающих за столом в саду с изящными декоративными растениями и неправдоподобной красоты птицами, — казалась ей аляповатой и претенциозной. Ее вообще угнетало китайское искусство. У Сесилии не было собственного мнения на этот счет, хотя иногда ей хотелось узнать, сколько могла бы стоить эта вещь на аукционе «Сотбис». Вазу почитали не из преклонения перед мастерством Херолдта в области изготовления многоцветной эмали, синезолотого плетения орнамента и искусного изображения листвы, а в память о дядюшке Клеме, спасенных им жизнях, отважной ночной переправе через реку и его гибели за неделю до Перемирия.^[1] Цветы, особенно дикие, смотрелись в ней достойной данью.

Сесилия обхватила холодный фарфор обеими руками и ногой широко распахнула стеклянную дверь на террасу. Выйдя на яркий свет, она ощутила дружеское объятие теплого воздуха, поднимавшегося от нагретого камня. Две ласточки кружили над фонтаном, а пеночки, прячась в густой

тени колоссального ливанского кедра, наполняли воздух звенящим пением. Легкий ветерок колыхал цветы, щекотавшие лицо Сесилии, пока она, пройдя через террасу, осторожно спускалась по трем щербатым ступенькам на гравиевую дорожку. Робби резко обернулся, лишь когда она приблизилась.

— Я задумался... — хотел было объяснить он, но она его перебила:

— Не скрутишь мне свою большевистскую папироску?

Он отшвырнул окурок, наклонившись, взял коробочку, лежавшую на пиджаке, брошенном на траву, и двинулся вслед за Сесилией к фонтану. Некоторое время они шли молча.

— Чудесный день, — вздохнув, произнесла она.

Он смотрел на нее с любопытством и подозрительностью. Что-то происходило между ними, и она сама понимала: замечание о погоде прозвучало многозначительно.

— Ну, как тебе «Кларисса»? — спросил он, уставившись на свои пальцы, утрамбовывавшие табак в бумажке.

— Скучная.

— Так нельзя говорить.

— Скорее бы уж она добилась своего.

— Добьется. Все будет хорошо.

Они замедлили шаг, потом остановились, чтобы он мог свернуть самокрутку.

— Я бы с большим удовольствием читала Филдинга, — сказала она и почувствовала, что сморозила глупость.

Робби, отвернувшись, смотрел вверх пасущихся в парке коров на дубовую рощу, окаймлявшую речную долину, рощу, через которую Сесилия пробегала сегодня утром. Он, должно быть, решил, что она изъясняется намеками, иносказательно желая донести до него свою жажду полнокровной и чувственной жизни. Разумеется, он ошибался, но она была смущена и не знала, как вывести его из заблуждения. У Сесилии промелькнула мысль, что ей нравятся его глаза — их радужки состояли из оранжевых и зеленых крапинок, удивительно отчетливых в солнечном свете. И еще ей нравилось, что он такой высокий. Редкое для мужчины сочетание ума и стати. Сесилия взяла у него самокрутку, он дал ей прикурить.

— Я знаю, что ты имеешь в виду, — сказал он, когда до фонтана оставалось несколько ярдов. — В Филдинге больше жизни, но психологически он грубее Ричардсона.

Она поставила вазу у подножия неровных ступенек, ведущих к

каменной чаше фонтана. Меньше всего ей хотелось бы сейчас вести с Робби схоластическую дискуссию о литературе восемнадцатого века. Филдинг вовсе не казался ей грубым, а Ричардсон — тонким психологом, но она не желала втягиваться в спор, защищаться, сыпать определениями, нападать. Она устала от всего этого, а Робби никогда не отступал. Решив сменить тему, она сказала:

— Ты знаешь, что сегодня приезжает Леон?

— Слышал. Это замечательно.

— Он везет с собой приятеля, того самого, Пола Маршалла.

— Шоколадного миллионера? О нет! И ты приготовила для него цветы!

Сесилия улыбнулась. Интересно, Робби притворяется, что ревнует, желая скрыть свою ревность? Она перестала его понимать. Отчуждение началось еще в Кембридже. Им стало слишком трудно общаться. Она снова сменила тему:

— Старик говорит, ты собираешься стать врачом.

— Я подумываю об этом.

— Должно быть, тебе очень нравится студенческая жизнь.

Робби снова отвернулся, но на сей раз лишь на какую-то долю секунды, а когда посмотрел на нее снова, ей показалось, что на его лице отразилось раздражение. Может, в ее замечании ему почудилась снисходительность? Сесилия снова отметила, что глаза у него испещрены оранжевыми и зелеными крапинками, как стеклянные шарики, в которые играют мальчишки. Но слова его звучали безупречно любезно:

— Я знаю, Си, что ты-то ее никогда не любила. Но как еще можно стать врачом?

— Вот именно, и я об этом: еще шесть лет. Зачем?

Робби не обиделся. Это она говорила с подтекстом, нервничала в его присутствии и сердилась на себя.

Он же воспринял ее вопрос совершенно серьезно.

— Мне никто не предлагает работу паркового дизайнера. Я не хочу преподавать или поступать на гражданскую службу. А медицина меня интересует... — Он запнулся, что-то вдруг сообразив. — Слушай, мы договорились, что я выплачу долг твоему отцу. Таково условие.

— Я вовсе не к тому вела...

Ее удивило, что Робби подумал, будто ее волнует вопрос о деньгах. Это было неблагородно с его стороны. Отец всю жизнь субсидировал образование Робби. Разве кто-нибудь против этого возражал? Раньше Сесилия думала, что ей это кажется, но теперь убедилась — она была

права: в последнее время в манерах Робби появилось нечто раздражающее. Он не упускал случая, чтобы поставить ее в дурацкое положение. Два дня назад позвонил во входную дверь, что само по себе было странно, поскольку ему позволялось входить в дом без спроса в любое время. Когда она спустилась, он, стоя на крыльце, неестественно громким голосом спросил, нельзя ли ему взять книгу из их библиотеки. Случилось так, что как раз в этот момент Полли, стоя на четвереньках, мыла пол в вестибюле. Робби устроил целое представление: снял ботинки, которые вовсе не были грязными, потом, подумав, снял еще и носки и на цыпочках с демонстративной осторожностью прошел по мокрому полу. Все, что он делал, делал так, чтобы подчеркнуть дистанцию между ними. Он нарочито играл роль сына уборщицы, пришедшего в господский дом с поручением. Они вместе прошли в библиотеку, и, когда он нашел нужную книгу, Сесилия пригласила его выпить кофе. Его смущенный отказ был притворством — она не знала человека, более уверенного в себе, чем Робби, и понимала: он над ней издевается. Отвергнутая, она вышла из комнаты, поднялась к себе, улеглась на кровать с «Клариссой» и стала читать, не понимая ни слова, так как в ней неотступно росли раздражение и чувство неловкости. То ли над ней насмеются, то ли наказывают за что-то — неизвестно, что хуже. Наказывают за то, что в Кембридже она вращалась в других кругах? За то, что ее мать не уборщица? Насмеются из-за плохих оценок, с которыми она окончила курс? А где, в каком учебном заведении женщину вознаграждают по заслугам?

Неуклюже, поскольку в руке у нее все еще была самокрутка, Сесилия подняла вазу и, придерживая, поставила на край фонтана. Было бы лучше предварительно вынуть из нее цветы, но она слишком нервничала. Руки у нее были горячими и сухими, вазу приходилось сжимать все крепче. Робби молчал, но по его виду — по сжатым губам, растянувшимся в вымученной улыбке, — было ясно: он сожалеет о сказанном. Это ее тоже не утешало. Вот так всегда в последнее время и кончались их разговоры — то один, то другой говорил лишнее, а потом пытался загладить неловкость. В их беседах не было легкости, спокойствия, они не позволяли себе расслабиться ни на минуту. Наоборот, их разговоры изобиловали шпильками, ловушками, странными поворотами, что заставляло Сесилию ненавидеть себя почти так же, как она ненавидела в эти минуты Робби, хотя, разумеется, большую часть вины она возлагала на него. Сама она несколько не изменилась, а вот он изменился безусловно. Он воздвиг преграду между собой и семьей, которая всегда хорошо относилась к нему и давала ему все. И только поэтому — опасаясь его отказа и собственного

недовольства собой — Сесилия не пригласила его на сегодняшний ужин. Хочет сохранять дистанцию — что ж, пожалуйста.

У одного из четырех дельфинов, поддерживавших раковину, в которой сидел Тритон, ближайшего к Сесилии, широко открытая пасть заросла мхом и водорослями. Его сферические каменные глаза размером с яблоко переливались самыми разными оттенками зеленого. И вся композиция с северной стороны покрылась голубовато-зеленой патиной, так что в определенных ракурсах и при слабом освещении мускулистый Тритон и впрямь казался погруженным в море на сотню лье. Замысел Бернини, должно быть, состоял в том, чтобы вода музыкально журчала, струясь и ниспадая в бассейн по широкой раковине с неровными волнистыми краями. Но здесь напор воды был слишком слаб, и вода лишь беззвучно скользила по внутренней поверхности раковины, с краев которой, наподобие сталактитов в известняковой пещере, свисали склизкие, сочащиеся каплями илистые косички. Чаша фонтана, правда, была глубокой, фута в три, и чистой. Над выложенным бледно-кремовым камнем дном плясали извивающиеся прямоугольники отраженного солнечного света, то наплывая друг на друга, то разделяясь.

Идея Сесилии состояла в том, чтобы, перегнувшись через край и придерживая цветы, боком погрузить вазу в воду, но в этот момент Робби, стараясь загладить вину, попытался ей помочь.

— Дай мне, — сказал он, протягивая руку. — Достань цветы, а я наберу воду.

— Спасибо, сама справлюсь, — ответила она, уже держа вазу над водой.

— Послушай, твоя папироса намокнет, давай я ее возьму. — Он действительно зажал папиросу между большим и указательным пальцами. — И достань цветы.

Это уже была команда, в которой прозвучала непререкаемая мужская властность. Она произвела на Сесилию прямо противоположный эффект и заставила лишь крепче сжать вазу. У нее не было ни времени, ни желания объяснять, что, если погрузить вазу в воду вместе с цветами, это придаст букету естественно-небрежный вид, чего она и добивалась. Крепче стиснув вазу, она всем телом отвернулась от Робби. Но от него не так просто было отделаться. Со звуком, напоминающим хруст треснувшей ветки, кусок фарфорового горлышка отломился под ее рукой и развалился на два треугольных осколка, которые упали в воду и, синхронно колеблясь, стали опускаться вниз, пока не легли на дно в нескольких дюймах один от другого, изгибаясь в преломляющей изображении воде.

Сесилия и Робби застыли. Их глаза встретились, и то, что она прочла в оранжево-зеленом меланже его мрачного взгляда, было не испугом, не чувством вины, а скорее своего рода вызовом или даже триумфом. У нее хватило присутствия духа поставить вазу с отбитым краем горлышка на ступеньку, прежде чем осмыслить значение случившегося. Она испытывала невыразимое удовольствие, даже восторг, потому что чем ужаснее было происшествие, тем хуже для Робби. О, ее покойный дядя, дражайший брат отца, о, опустошительная война, опасный переход через реку, о, реликвия, не имеющая цены, о, героизм и милосердие, о, долгая история вазы, насчитывающая не один век и восходящая не только к гению Херолдта, но еще дальше, к тайнам мастеров, возродивших искусство валяния из фарфора!

— Идиот! Смотри, что ты наделал!

Робби посмотрел на воду, потом снова перевел взгляд на Сесилию и, качая головой, прикрыл рот ладонью. Этим жестом он полностью признавал свою ответственность, но в тот миг она ненавидела его за неадекватность реакции. Снова взглянув на дно фонтана, он вздохнул. Ему показалось, что Сесилия собирается сделать шаг назад и при этом неизбежно наступит на вазу, поэтому он поднял руку и предостерег ее жестом. При этом он не произнес ни слова, а начал расстегивать рубашку, и она поняла, что он собирается делать. Этого она не допустит. Раз, приходя к ним в дом, он снимает ботинки и носки, она ему тоже покажет! Скинув босоножки, Сесилия расстегнула блузку, сбросила ее, затем расстегнула юбку и, переступив через нее, направилась к фонтану. Робби стоял, упершись руками в бедра, и наблюдал, как она, в одном белье, перелезает через край бассейна. Отказ от его помощи и любых попыток примирения был наказанием ему. Неожиданно холодная вода, от которой у нее захватило дух, тоже была наказанием ему. Задержав дыхание, Сесилия нырнула, волосы веером покрыли поверхность воды. Если бы она утонула, это тоже было бы наказанием ему.

Когда через несколько мгновений она вынырнула, держа в обеих руках по осколку вазы, он не решился предложить ей помощь. Хрупкая бледная нимфа, низвергающая каскады воды гораздо эффектнее, чем мясистый Тритон, аккуратно положила осколки рядом с вазой и быстро оделась, с трудом просунув мокрые руки в шелковые рукава, и, не застегивая, а лишь заткнув блузку за пояс юбки, подхватила босоножки, пристроила их под мышку, опустила осколки в карман и взяла вазу. Движения ее были свирепы и стремительны, она старательно избегала его взгляда. Он просто перестал существовать для нее, превратился в изгоя, и это тоже было наказанием

ему. Робби молчаливо наблюдал, как Сесилия босиком удаляется по лужайке и ее потемневшие волосы, тяжело облепившие плечи, пропитывают водой блузку. Потом, оглянувшись, проверил, не осталось ли в воде не замеченных ею осколков. Что-либо рассмотреть было почти невозможно, потому что взбаламученная вода не успела успокоиться — ее все еще тревожил витающий в воздухе гнев Сесилии. Он положил ладонь на поверхность, чтобы утихомирить воду. А Сесилия тем временем скрылась в доме.

III

Согласно выставленной в вестибюле афише, премьера «Злоключений Арабеллы» должна была состояться через день после первой репетиции. Однако драматургу-режиссеру было не так-то просто найти промежуток времени, когда все могли бы сосредоточиться на работе над пьесой. Так же как и в предыдущий день, ей долго не удавалось собрать всех исполнителей. Ночью неумолимый отец Арабеллы, Джексон, промочил постель, как это случается с нервными маленькими мальчиками, оказавшимися вдали от дома, и, согласно существующим правилам воспитания, был обязан отнести свои простыни и пижаму вниз, в прачечную, и лично выстирать их вручную под присмотром Бетти, которой было велено не вмешиваться. Мальчику объяснили, что это не наказание, просто в его подсознании отложится, что повторение подобной оплошности чревато неудобством и тяжелой работой; но Джексон все равно невольно воспринимал это как тяжкую повинность, стоя в глубокой каменной ванне, края которой доходили ему до груди; мыльная пена сползала по голым рукам и пропитывала подвернутые рукава рубашки, мокрые простыни были тяжелыми, как мертвая собака, и ощущение несчастья парализовало его волю. Брайони то и дело бегала вниз, чтобы проверить, как идет дело. Помогать Джексону ей запретили, а тот, разумеется, никогда в жизни ничего не стирал. Повторное намыливание, бесконечные полоскания и упорная борьба с отжимным катком, за который ему приходилось цепляться обеими руками, плюс пятнадцать минут, проведенные после этого на кухне, где он дрожащими руками подносил ко рту намазанный маслом хлеб, запивая водой, отняли два часа от репетиционного времени.

Бетти сказала Хардмену, когда тот пришел с утреннего зноя за своей пинтой эля, что с нее довольно и того, что приходится в такую погоду париться у плиты, готовя ужин для гостей, что она считает подобное обращение слишком жестоким и предпочла бы отшлепать провинившегося и собственноручно выстирать простыни. Для Брайони это тоже было бы куда лучше, поскольку время безвозвратно уходило. Когда мама спустилась, чтобы лично проверить, как выполнена работа, все испытали облегчение, а миссис Толлис — подсознательное чувство вины, вследствие чего, когда Джексон тоненьким голоском спросил, можно ли ему, а также его брату теперь поплавать в бассейне, просьба его была немедленно

удовлетворена, а возражения Брайони мягко отклонены. Причем мама говорила с таким видом, словно Брайони пыталась возложить непосильное бремя на хрупкие плечи беззащитного малыша. Итак, последовало плавание в бассейне, а затем предстоял обед.

Репетиции продолжались без Джексона, что не позволяло довести до совершенства очень важную первую сцену — отъезд Арабеллы. Пьеро же слишком тревожился за судьбу брата, заточенного где-то во чреве дома, чтобы справляться с ролью подлого графа-иностранца: что бы ни случилось с Джексоном, это неминуемо должно было отразиться и на Пьеро. Он то и дело бегал в туалет, расположенный в конце коридора.

Когда Брайони вернулась после очередного визита в прачечную, Пьеро спросил у нее:

— Его отшлепали?

— Пока нет.

Подобно брату, Пьеро умудрялся лишать свой текст какого бы то ни было смысла. Его реплики звучали монотонно, как одно длинное слово: «Ты-ду-маешь-что-можешь-вырваться-из-моих-когтей». Все на месте, все правильно, но...

— Это вопрос, — объясняла Брайони. — Разве ты не понимаешь? Интонация в конце поднимается вверх.

— Что это значит?

— Ничего. Просто повторяй за мной. Начинаешь низко, а заканчиваешь высоко. Это же *вопрос*.

Пьеро тяжело сглатывал, набирал полную грудь воздуха и предпринимал новую попытку, на сей раз воспроизводя ту же цепочку слов, но в более высокой тональности.

— В конце! Повышать интонацию нужно только в конце!

Джексон опять бубнил все в прежней тональности, но на последнем слоге изображал этаким тирольский йодль.

Лола утром явилась в детскую в образе взрослой девушки, каковой в душе себя и считала. На ней были фланелевые брюки со складками, пышные на бедрах и расклешенные книзу, и кашемировый свитерок с короткими рукавами. Другими знаками зрелости призваны были служить бархотка с мелкими жемчужинами, рыжие локоны, собранные на затылке и скрепленные изумрудно-зеленой заколкой, три серебряных браслета, свободно болтающиеся на хрупком запястье, и тот факт, что при каждом ее движении ощущался аромат розовой воды. Ее нарочито сдержанная снисходительность была заметна все сильнее. Лола равнодушно выполняла указания Брайони, произносила написанный той текст, который, судя по

всему, за ночь выучила наизусть, довольно выразительно и мягко подбадривала младшего брата, не посягая на авторитет режиссера. Это было похоже на то, как если бы Сесилия или даже мама согласились потратить некоторое время на малышей, исполняя одну из ролей в пьесе и стараясь не проявить при этом ни малейшего признака скуки. Чего здесь не хватало, так это непосредственного детского энтузиазма. Когда накануне Брайони показала кузенам и кузине кассовую будку и коробку для пожертвований, близнецы чуть не передрались друг с другом за роль кассира, а Лола лишь, сложив руки на груди, по-взрослому, с едва заметной улыбкой, слишком неопределенной, чтобы заподозрить в ней иронию, сделала вежливый комплимент:

— Как чудесно, Брайони. И как умно было с твоей стороны подумать об этом. Неужели ты все это сделала сама?

Брайони подозревала, что за безупречными манерами кузины таится какой-то губительный замысел. Возможно, Лола полагалась на то, что близнецы неизбежно провалят пьесу и ей останется лишь наблюдать, стоя в сторонке.

Эти недоказуемые подозрения, пленение Джексона в прачечной, жалкая декламация Пьеро и утренняя жара угнетали Брайони. Она рассердилась, заметив, что Дэнни Хардмен, стоя в дверях, наблюдает за репетицией. Пришлось попросить его уйти. Она не могла преодолеть отчужденность Лолы, не могла добиться от Пьеро нормальных модуляций голоса. И каким облегчением показалось ей одиночество, когда Лола заявила, что непременно хочет поправить прическу, а ее брат попросил разрешения в очередной раз сбегать в конец коридора, в туалет или куда-то еще.

Брайони уселась на пол, прислонившись спиной к дверце высокого встроенного шкафа для игрушек, и стала обмахиваться страничками с текстом пьесы. В доме царила полная тишина — снизу не доносилось ни голосов, ни звука шагов, даже урчания в водопроводных трубах не было слышно; пойманная между рамами окна муха, обессилев, прекратила попытки вырваться, и тягучее пение птиц растворилось в дневной жаре. Поджав ноги, Брайони уставилась на белые складки своего муслинового платья и привычную, чуть сморщенную кожу вокруг коленок. Надо было утром переодеться. Следовало бы, по примеру Лолы, вообще уделять больше внимания внешности. Пренебрегать ею — ребячество. Но каких это требовало усилий! Тишина звенела у Брайони в ушах, и все слегка искажалось перед глазами — руки, обхватившие колени, казались неестественно большими и одновременно удаленными, словно она

смотрела на них с огромного расстояния.

Подняв ладошку и согнув пальцы, Брайони, как уже случалось прежде, удивилась тому, что этот предмет, этот механизм для хватания, этот мускулистый паук на конце ее руки принадлежит ей и полностью подчиняется ее командам. Или все же у него есть и какая-то собственная жизнь? Она разогнула и снова согнула пальцы. Волшебство заключалось в моменте, предшествовавшем движению, когда мысленный посыл превращался в действие. Это напоминало накатывающую волну. «Если бы только удалось удержаться на гребне, — подумала она, — можно было бы разгадать секрет самой себя, той части себя, которая на деле за все отвечает». Она поднесла к лицу указательный палец, уставившись на него, приказала ему пошевелиться. Он остался неподвижен, потому что она притворялась, не была серьезна, а также потому, что приказать ему пошевелиться или намереваться пошевелить им не одно и то же. А когда Брайони наконец все же согнула палец, ей показалось, будто действие это исходит из него самого, а не из какой-то точки ее мозга. В какой момент палец понял, что нужно согнуться? И когда она поняла, что хочет его согнуть? Этот момент был неуловим. Вот палец прямой — а вот уже согнут. Не было видно никаких стежков, никаких швов на коже, и все же она знала, что под этой гладкой, сплошной поверхностью находится истинная сущность — может быть, душа? — которая приняла решение прекратить притворяться и дала окончательную команду.

Эти мысли были ей так же близки и так же успокаивали ее, как знакомая форма собственных коленок, таких похожих, но словно соревнующихся друг с другом, симметричных и взаимодополняемых. Одна мысль неизбежно тянет за собой другую, одно чудо рождает другое: интересно, все остальные чувствуют в себе жизнь так же, как она? Например, ощущает ли себя ее сестра так же, как она, оценивает ли она себя так же, как она? Является ли Сесилия таким же ярким сгустком жизни, как Брайони? Есть ли у ее сестры такая же истинная сущность, кроющаяся за набегающей волной, и размышляет ли она об этом, поднеся палец к лицу? Делают ли это все, включая отца, Бетти, Хардмена? Если да, то мир, мир людей, должен быть невыносимо сложным — ведь в нем два миллиарда голосов, и мысли каждого соревнуются в важности, и требования каждого к жизни у всех равно настоятельны, и каждый думает, что он неповторим, между тем как все одинаковы. Так можно утонуть в несоответствиях! Но если ответ — нет, тогда Брайони окружают механизмы, весьма умные и приятные внешне, но лишенные тех ярких и сугубо личных *внутренних* ощущений, какие есть у нее. Это было слишком

мрачно, тоскливо и не похоже на правду. Ибо, как бы это ни оскорбляло ее чувство порядка, она знала: вероятнее всего, остальные испытывают то же, что и она. Она понимала это, но только холодным рассудком, ее чувств это не затрагивало.

Репетиции тоже стали надругательством над ее чувством порядка. Самодостаточный мир, который она четко обрисовала ясными и совершенными линиями, был обезображен неряшливыми мазками потребностей и мыслей других людей; время, легко расчлененное на бумаге на акты и сцены, неуправляемо утекало, даже в этот самый момент. Вероятно, Джексон появится только после обеда. Леон с приятелем приедут в самом начале вечера или того раньше, представление назначено на семь часов, а у нее, в сущности, не было еще ни одной полноценной репетиции. Близнецы не только играть, но даже и говорить-то как следует не умели. Лола украла у нее по праву принадлежащую ей роль. Ничего не получается, к тому же жарко, одуряюще жарко. Все это подавляло Брайони, она поежилась и встала. В пыли паркетного бордюра она испачкала руки и юбку сзади. Все еще погруженная в свои мысли, она направилась к окну, по пути вытирая ладони о платье. Простейшим способом произвести впечатление на Леона было бы сочинить рассказ, вручить ему и понаблюдать, как он станет его читать. Красочная обложка, красиво написанное заглавие, страницы *сшиты* — в самом этом слове заключалась для нее магия порядка, ограниченной и управляемой формы, которой она лишила себя, решив писать пьесу.

Рассказ — прямая и простая форма, не терпящая никакого зазора между автором и читателем, никаких посредников с их амбициями и бесталанностью, никакого недостатка времени, никаких ограничений в аксессуарах. Когда речь идет о рассказе, нужно лишь захотеть, потом написать — и мир в твоих руках; с пьесой все по-другому — ты вынужден обходиться тем, что есть в наличии, никаких лошадей, деревенских улочек, никакого морского побережья. И занавеса тоже нет. Теперь это казалось столь очевидным: рассказ — разновидность телепатии. Но было поздно. Просто перенося буквы на бумагу, она могла непосредственно пересылать читателю свои мысли и чувства. Это был волшебный процесс, настолько банальный, что не перестаешь удивляться. Прочешь фразу и понять ее — одно и то же; это как со сгибанием пальца: нет ничего между. Никакого зазора для разгадывания букв. Видишь слово *замок*, и вот он перед тобой, в некотором удалении, а перед ним — летний лес, окутанный редким голубоватым дымком, поднимающимся над кузней, и петляющая мощеная дорога, убегаящая в зеленую тень...

Брайони подошла к створчатому окну детской и, должно быть, несколько минут стояла, слепо уставившись в него, прежде чем открывающийся перед ней вид начал проникать в сознание: глядя вдаль, можно было представить, что находишься в средневековом замке. В нескольких милях за поместьем Толлисов возвышались Суррейские холмы, поросшие недвижными купами дубов с густыми раскидистыми кронами, изумрудную яркость которых скрадывало молочное знойное марево. Чуть ближе простирался усадебный парк, казавшийся сейчас сухим, одичалым и выгоревшим, как саванна; разрозненные деревья отбрасывали коренастые, четко очерченные тени, а высокая трава уже подернулась львиной желтизной лета в зените. Перед ним, по эту сторону балюстрады, раскинулся розарий, а еще ближе виднелся фонтан «Тритон». У поддерживавшей его чашу опоры лицом к лицу стояли ее сестра и Робби Тернер. В их позах угадывалась некая торжественность: ноги слегка расставлены, головы гордо подняты. Предложение руки и сердца? Брайони это несколько не удивило бы. Она как-то написала сказку, в которой скромный дровосек спас тонущую принцессу и дело кончилось свадьбой. То, что происходило у фонтана, весьма напоминало сцену предложения. Робби Тернер, единственный сын бедной уборщицы и ее никому не ведомого мужа, Робби, который и в школе, и в университете учился за счет отца Брайони, Робби, еще недавно мечтавший стать ландшафтным дизайнером, а теперь решивший заняться медициной, имеет безрассудную смелость просить руки Сесилии. Идеальный сюжет — в подобном преодолении преград для Брайони и состоял смысл романтики.

Менее понятно, однако, было то, как надменно вдруг Робби вскинул руку, словно что-то повелевая Сесилии. Удивительно, но, судя по всему, сестра была не в состоянии противиться Робби. Вероятно, по его повелению она начала раздеваться, причем очень поспешно. Вот она уже сбросила блузку, вот соскользнула на землю ее юбка, через которую она быстро перешагнула, а он все стоял, упершись руками в бедра, и нетерпеливо смотрел на нее. Что за странная у него над ней власть? Шантаж? Угрозы? Всплеснув руками, Брайони отступила внутрь комнаты. «Надо закрыть глаза, — подумала она, — чтобы не видеть позора сестры». Но это было выше ее сил, потому что сюрпризы на этом не закончились. Покорная Сесилия, в одном белье, стала перелезать через край бассейна, вот она уже по пояс в воде, зажала нос... и исчезла. В поле зрения остался только Робби да еще одежда на гальке, а вдали — парк, замерший на фоне голубоватых холмов.

Развитие событий казалось совершенно нелогичным — сцена

спасения утопающей героини должна предшествовать брачному предложению. Это последнее, о чем успела подумать Брайони, прежде чем отдала себе отчет в том, что ничего не понимает и нужно просто наблюдать за происходящим. Никем не замеченная, с высоты второго этажа, имея преимущество ясного, освещенного солнцем обзора, она неожиданно получила доступ к тому, от чего ее еще отделяли годы: к действиям взрослых, определяемым ритуалами и условностями, о которых она пока не имела понятия. Очевидно, между взрослыми случается и такое. Несмотря на то что голова ее сестры — слава богу! — наконец показалась над водой, Брайони посетила смутная догадка: волшебная сказка с замками и принцессами для нее закончилась, пришло время реальности. А в этой реальности между людьми, обычными, знакомыми ей людьми, происходит много странного: одни имеют необъяснимую власть над другими, и очень легко воспринять увиденное в неверном, совершенно превратном свете.

Сесилия, выбравшись из фонтана, уже застегивала юбку и с трудом натягивала блузку на мокрое тело. Потом она резко повернулась, подняла со ступеньки, утопающей в глубокой тени, вазу с цветами, которую Брайони прежде не заметила, и бросилась к дому. Она не обмолвилась с Робби ни словом, даже не взглянула в его сторону. А он постоял, глядя на воду, и, несомненно, довольный, тоже зашагал прочь, свернув в конце аллеи за угол дома. Сцена внезапно опустела, единственным напоминанием о том, что там вообще что-то произошло, осталось мокрое пятно на месте, где Сесилия вылезла из бассейна.

Прислонившись к стене, Брайони невидящим взором уставилась в противоположный конец детской. Каким искушением было придать всему волшебнo-драматический поворот, взглянуть на то, чему она оказалась свидетельницей, как на живую картинку, разыгранную для нее одной, как на окутанную тайной поучительную сценку! Но она прекрасно понимала, что, не оказись она там, где оказалась, все произошло бы и без нее, поскольку это была не ее пьеса. Слепой случай привел ее к окну. Это не волшебная сказка, это реальность, взрослый мир, в котором лягушки не разговаривают с принцами, а словами обмениваются одни лишь люди. Ее подмывало побежать в комнату Сесилии и попросить объяснений. Но Брайони медлила — ей хотелось задержать еще хоть на миг то волнение от приоткрывшейся неизвестности, которое она только что испытала, то неуловимое возбуждение, смысл которого она должна была вот-вот уловить, хотя бы эмоционально. Этот смысл прояснится только через годы. Надо признать, здесь требуются неторопливость и глубина размышлений, едва ли доступные тринадцатилетней девочке. В тот момент она просто не

могла найти точных слов и, вполне вероятно, лишь остро испытывала безотлагательную потребность снова засесть за свои писания.

В ожидании возвращения кузенов Брайони думала, что может сочинить сцену у фонтана, подобную той, что недавно наблюдала, включив в нее тайного соглядатая, коим явилась сама. Она отчетливо представила, как спешит к себе в комнату, к стопке чистых разлинованных листов бумаги и бакелитовой авторучке, расписанной под мрамор. Мысленным взором она видела простые предложения, цепочку многозначительных символов, остающихся за скользящим пером. Она могла написать эту сцену в трех вариантах, с трех разных точек зрения; ее возбуждало предвкушение полной свободы, избавления от обременительной необходимости сталкивать добро со злом, героев со злодеями. Ни один из трех персонажей не был ни плохим, ни особо хорошим. И от нее не требовалось судить их. Рассказ не предполагал морали. Ей было необходимо просто показать разные способы мышления, такого же яркого, как ее собственное, еще противившееся признанию того, что у каждого — своя живая ментальность. Несчастливыми людей делают не только порочность и интриги, недоразумения и неправильное понимание, прежде всего таковыми их делает неспособность понять простую истину: другие люди так же реальны. И только сочиняя рассказ, можно проникнуть в иной образ мышления и показать, что он равноценен всем прочим. Вот единственная мораль, которая может заключаться в рассказе.

Шестьдесят лет спустя Брайони опишет, как в тринадцатилетнем возрасте прошла в своих писаниях весь путь развития литературы: от рассказов, основанных на европейской традиции народных сказок, через бесхитростные нравоучительные пьески к беспристрастному психологическому реализму, который открыла для себя однажды знойным утром 1935 года. Она будет отдавать себе полный отчет в некоторой мифологизации собственных воспоминаний и придаст повествованию оттенок самоиронии. Ее проза будет славиться отсутствием нравоучительности, и, как все писатели, одолеваемые одним и тем же вопросом, она будет чувствовать себя обязанной выстроить сюжет своей жизни, цепочку собственного развития, в которой присутствовало сакраментальное звено — момент, когда она обрела себя самое. Она будет понимать, что неуместно говорить о ее драматических опытах во множественном числе, что ирония создает дистанцию между ней и той серьезной, много думавшей девочкой, какой она была в детстве, и что воспоминание, так часто ее посещающее, есть не столько собственно воспоминание о том давнем утре, сколько ее последующие размышления о

нем. Вполне вероятно, что созерцание согнутого пальца, попытки осознания невыносимой идеи о существовании отличных образов мышления и заключение о превосходстве рассказа над драмой — все это восходит к разным дням. Она будет также понимать: независимо от того, какие события произошли в действительности, их значимость отныне проистекает только из ее опубликованного произведения, вне связи с которым о них никто и не вспомнит.

Тем не менее чистой выдумкой это быть не могло; без сомнения, некое откровение в то утро на нее действительно снизошло. Когда Брайони снова подошла к окну и посмотрела вниз, мокрое пятно уже испарилось. Больше ничего не осталось от немой сцены у фонтана, сохранившейся лишь в памяти, в самостоятельных, перекрывающих друг друга воспоминаниях трех действующих лиц. Истина превратилась в такой же мираж, как выдумка. Принимая вызов и описывая все так, как увидела, Брайони могла уже не осуждать сестру за шокирующую полунаготу, в какой та предстала средь бела дня в двух шагах от дома. Потом можно будет показать эту сцену по-иному, с точки зрения Сесилии, а еще позже — с точки зрения Робби. Но теперь не время для писаний. Чувство долга и привычка Брайони к порядку оказались непобедимы; она должна завершить начатое — предстояло закончить репетицию, ведь Леон уже в пути и домашние ожидают вечернего представления. Нужно еще раз спуститься в прачечную и посмотреть, позади ли зловещие Джексона. С сочинительством можно повременить до той поры, когда она освободится.

IV

Лишь к вечеру Сесилия решила, что реставрацию вазы можно считать завершённой. Всю вторую половину дня ваза сушилась в библиотеке, на столе возле окна, выходящего на юг, и теперь на эмали виднелись лишь три тонкие извилистые линии, сливающиеся, как речные притоки в географическом атласе. Никто никогда ничего не узнает. Проходя через библиотеку с вазой, которую сжимала обеими руками, Сесилия слышала из-за двери звук, напоминающий шлепанье босых ног по кафельным плитам. Вот уже несколько часов она заставляла себя не думать о Робби Тернере и теперь рассердилась, решив, что тот явился в дом и снял носки. Она вышла в холл, полная решимости на сей раз не спустить ему нахальства, а может, и издевательства, но внезапно столкнулась с сестрой, явно пребывавшей в отчаянии. Веки Брайони вспухли и покраснели, и она пощипывала большим и указательным пальцами нижнюю губу, что всегда было у девочки предвестием слез.

— Милая! Что случилось?

На самом деле глаза у Брайони пока были сухими; покосившись на вазу, она прошла мимо, туда, где на мольберте стояла афиша с выписанными разноцветными красками весело пляшущими буквами и разбросанными вокруг них акварельными картинками в стиле Шагала, представлявшими эпизоды из ее пьесы: машущие руками вслед дочери родители с глазами, полными слез, устремившиеся к морскому побережью героиня в лунном сиянии, героиня на смертном одре, свадьба... Брайони с минуту постояла перед афишей, а потом одним яростным движением по диагонали рванула лист, отхватив больше половины, и бросила обрывок на пол. Поставив вазу, Сесилия подбежала, опустилась на колени и быстро подняла кусок афиши, прежде чем сестра успела истоптать его. Ей не впервой было спасать Брайони от саморазрушительных порывов.

— Сестренка! Это что, из-за кузенов?

Ей хотелось утешить Брайони, Сесилия вообще любила ласкать младшую сестренку. Когда та была маленькой и страдала ночными кошмарами — ох, как же она кричала по ночам! — Сесилия прибегала к ней в комнату и будила. «Проснись, — шептала она малышке. — Это всего лишь сон. Проснись». Потом переносила ее в свою кровать. Вот и теперь она попыталась обнять Брайони за плечи, но та, перестав пощипывать губу, решительно направилась к двери и положила руку на большую медную

ручку в виде львиной головы, которую миссис Тернер только утром надраила до блеска.

— Кузены — дураки. Но это не из-за них. Это... — Она запнулась, сомневаясь, стоит ли делиться с сестрой своим недавним открытием.

Расправляя скомканный бумажный треугольник, Сесилия подумала: как изменилась ее маленькая сестренка. Ей было бы проще, если бы Брайони заплакала и позволила увести себя в гостиную, усадить на шелковый шезлонг и успокоить. Глядя сестру по головке и шепча слова утешения, Сесилия и сама, быть может, немного успокоилась бы после неудачного дня, изобиловавшего массой противоречивых чувств, о которых она предпочитала не думать. Занявшись проблемами Брайони, осыпая ее нежными словами и ласками, она могла бы снова ощутить уверенность в себе. Однако в том, как переживала свое несчастье младшая сестра, была и значительная доля самостоятельности. Повернувшись к Сесилии спиной, Брайони уже открывала входную дверь.

— Но тогда в чем же дело? — воскликнула Сесилия, поймав себя на том, что вопрос прозвучал немного заискивающе.

Поверх головы сестры, далеко за озером, там, где дорога сворачивала в парк, сужаясь и на подъеме сходясь в одной точке, показался движущийся предмет, очертания которого искажались в знойном мареве: он то увеличивался в размерах, то, сверкнув на солнце, уменьшался. Должно быть, Хардмен, заявивший в свое время, что слишком стар, чтобы учиться водить автомобиль, вез гостей в двуколке.

Передумав, Брайони повернулась к Сесилии:

— Все это изначально было ошибкой. Это был неправильный... — Глубоко вдохнув, она отвела взгляд в сторону.

«Сигнал, — поняла Сесилия, — сейчас прозвучит еще одно книжное слово».

— Это был неправильный *жанр*! — Брайони выговорила слово, как ей казалось, с французским прононсом: в нос и почти полностью проглотив конечное «р».

— Жан? — переспросила Сесилия. — Что ты имеешь в виду?

Но Брайони уже удалялась, неуклюже ставя мягкие белые ступни на раскаленный гравий.

Сесилия отправилась в кухню, наполнила вазу водой и отнесла к себе в спальню, где в умывальнике плавали цветы. Когда она сунула их в вазу, букет снова отказался принять форму естественного беспорядка, какого она добивалась, а вместо этого образовал аккуратный круг: высокие стебли ровно распределились по краям. Она вынула букет и снова небрежно

бросила его в вазу, цветы опять выстроились упорядоченно. Впрочем, это было не так уж и важно. Трудно представить, чтобы мистер Маршалл выразил неудовольствие по поводу излишней симметричности букета. Сесилия понесла вазу с цветами по скрипучим половицам длинного коридора в комнату, которую все называли комнатой тетушки Венеры, и поставила на комод рядом с кроватью, выполнив, таким образом, маленькое поручение, данное ей матерью утром, восемь часов назад.

Однако покинула она комнату не сразу, ибо не загроможденное личными вещами помещение производило весьма приятное впечатление, — если не считать комнаты Брайони, это была единственная прибранная спальня в доме. И здесь царила прохлада, потому что солнце уже зашло за дом. Ящики комода пустовали, и ни на одной свободной поверхности не виднелось следов пальцев. Под покрывалом из набивного индийского ситца наверняка были застелены накрахмаленные чистые простыни. Сесилии захотелось сунуть руку под покрывало и пощупать их, но она сдержалась и стала медленно обходить комнату, предназначенную для мистера Маршалла. Стоявшая у изножья кровати с балдахинном чиппендейловская софа была такой гладкой, что сесть на нее представлялось кощунством. В воздухе витал запах воска, и мерцающая в медовом освещении мебель, казалось, дышала. При приближении Сесилии к старинному сундуку для приданого изображенные на его крышке бражники, увиденные ею в необычном ракурсе, словно изогнулись в танце. Должно быть, миссис Тернер прибрала здесь только сегодня утром. Сесилия постаралась отогнать мысли о Робби. То, что она задержалась здесь, было своего рода нарушением правил, поскольку будущий обитатель комнаты находился уже в нескольких сотнях ярдов от дома.

Выглянув из окна, Сесилия увидела, что Брайони, перейдя мостик, идет по острову вдоль заросшего травой берега и вот-вот исчезнет среди деревьев, окружающих храм. А чуть поодаль в двуколке позади Хардмена она рассмотрела две фигуры в шляпах. Потом Сесилия заметила третьего человека, широким шагом шедшего по дороге навстречу двуколке. Это, несомненно, был Робби Тернер, который возвращался домой. Поравнявшись с двуколкой, он остановился, и его силуэт слился с силуэтами гостей. Сесилия представила происходившую там сцену: мужчины хлопают друг друга по плечам, а лошадь нетерпеливо приплясывает. Сесилия рассердилась, что ее брат радуется встрече с Робби, не зная, что тот в немилости у нее, и, с тяжелым вздохом отвернувшись от окна, отправилась к себе в комнату за сигаретой.

У нее еще оставалась пачка, но, чтобы найти ее в кармане синего

шелкового платья, валявшегося на полу ванной, пришлось несколько минут раздраженно рыться в вещах, разбросанных в чудовищном беспорядке. Спускаясь по лестнице в холл, она закурила, отдавая себе отчет в том, что никогда не посмела бы этого сделать, будь дома отец. У него было четкое представление о том, где и когда женщине категорически запрещено курить: на улице или в ином общественном месте, входя в комнату или стоя там. И делать это можно только тогда, когда женщине предлагают, курить собственные сигареты для нее недопустимо. Эти правила были непреложны, как законы природы. И даже три года, проведенные среди снобов Гертон-колледжа, не придали Сесилии смелости перечить отцу. Беззаботность и ирония, свойственные ей теперь в общении с друзьями, улетучивались без следа в его присутствии, и голос становился тонким, когда она — изредка — совсем робко пыталась ему возразить. Нужно сказать, Сесилия испытывала неловкость от того, что ее взгляды, даже касающиеся незначительных домашних дел, всегда расходились с отцовскими. И никакие примеры, почерпнутые из классической литературы, не помогали подавить обиду, и никакие уроки полезной критики не могли сподвигнуть ее на неповиновение. Курение на лестнице в те моменты, когда отец пребывал в министерстве на Уайтхолле, было единственной формой протеста, которую допускало ее воспитание, да и такой «бунт» требовал от нее немалой храбрости.

Когда она достигла широкой площадки, нависавшей над холлом, Леон как раз входил в дом с Полом Маршаллом через широко распахнутую дверь. Позади маячил Дэнни Хардмен с чемоданами. Старый Хардмен стоял снаружи, уставившись на зажатую в руке пятифунтовую бумажку. Косые солнечные лучи, отражавшиеся от гравия и преломленные сквозь стекла веерообразного окна над дверью, окрашивали холл в желтовато-оранжевый цвет и делали его похожим на рисунок, выполненный сепией. Сняв шляпы и улыбаясь, брат и его друг остановились, ожидая, когда спустится Сесилия. Как часто случалось при первой встрече с незнакомым еще мужчиной, она подумала: не за него ли ей суждено выйти замуж и не тот ли это момент, который ей предстоит помнить всю оставшуюся жизнь — то ли с благодарностью судьбе, то ли с глубоким прискорбием?

— Сес-илия! — воскликнул Леон.

Когда он обнял ее, она почувствовала сквозь ткань его пиджака вдавившуюся ей в ключицу авторучку, уловила запах трубочного табака, исходивший от его одежды, и с щемящим чувством припомнила свои визиты в мужское общежитие на чай, которые были, скорее всего, лишь утешительными визитами вежливости, но доставляли радость, особенно

зимой.

Пол Маршалл, слегка склонив голову, пожал ей руку. Было нечто комичное в многозначительном выражении его лица. А первые слова прозвучали уныло-тривиально:

— Много о вас слышал.

— А я — о вас, — ответила Сесилия, хотя единственное, что ей припомнилось, был телефонный разговор с братом, состоявшийся несколько месяцев назад. Тогда они пытались вспомнить, приходилось ли им когда-нибудь есть шоколад «Амо», и обсуждали, доведется ли им его когда-нибудь попробовать.

— Эмилия лежит.

Едва ли была необходимость оповещать об этом. В детстве они уже с дальнего конца парка по затемненным окнам безошибочно угадывали, что у мамы приступ мигрени.

— А старик в городе?

— Он, может быть, приедет позже.

Сесилия ощущала на себе взгляд Маршалла, но, прежде чем взглянуть на него, ей нужно было придумать, что сказать.

— Дети готовили для вас театральное представление, но, судя по всему, затея сорвалась.

— Наверное, это вашу сестру я видел по дороге, у озера, — сказал Маршалл. — Ну и задала она жару крапиве!

Леон отступил в сторону, пропуская младшего Хардмена с вещами.

— Где мы устроим Пола?

— На втором этаже. — Сесилия чуть повернула голову в сторону Хардмена, как бы отдавая ему распоряжение.

Тот, держа в каждой руке по кожаному чемодану, достиг подножия лестницы и остановился, повернувшись к хозяевам, собравшимся в центре холла, пол которого был выложен черно-белой плиткой. Его лицо выражало смирение и непонимание. В последнее время Сесилия замечала, что он часто слоняется вокруг детей. Может, он неравнодушен к Лоле? В свои шестнадцать лет Дэнни, разумеется, уже не был ребенком. Исчезла детская округлость щек, и младенчески пухлые губы вытянулись, придав лицу выражение невинной жестокости. Созвездие прыщей на лбу выглядело только что отчеканенной монетой, яркость которой слегка скрадывало сейчас желтовато-оранжевое освещение. Сесилия осознала, что весь день чувствует себя странно и видит все так, будто происходящее стало достоянием далекого прошлого, задним числом окрашенного иронией, суть которой она не совсем улавливала.

— В большой комнате рядом с детской, — терпеливо пояснила она молодому Хардмену.

— В комнате тетушки Венеры, — уточнил Леон.

Почти полвека тетушка Венера служила няней где-то на севере Канады. В сущности, она не приходилась теткой никому, вернее, была седьмой водой на киселе — тетей покойной троюродной сестры мистера Толлиса, но никто не подвергал сомнению ее право на комнату на втором этаже, где, став инвалидом и уйдя на пенсию, она, прикованная к постели, мирно жила, когда Сесилия и Леон были детьми, и, не высказав ни единой жалобы, тихо угасла, когда Сесилии было десять лет. Через неделю после ее смерти родилась Брайони.

Сесилия повела вновь прибывших через стеклянную дверь гостиной в розарий, а оттуда — к плавательному бассейну, находившемуся позади конюшни и со всех сторон окруженному густыми зарослями бамбука. В бамбуковых зарослях был прорублен узкий коридор для входа, через него они и проследовали, опуская головы, чтобы не задеть низко склонявшиеся стебли, и вышли на террасу, выложенную ослепительно белым камнем, от которого волнами исходили потоки знойного воздуха. Там, в глубокой тени, на приличном расстоянии от воды, стоял обитый железом и выкрашенный белой краской стол, а на нем — чаша, наполненная пуншем со льдом и прикрытая марлей.

Леон расставил полукругом складные парусиновые стулья, и все уселись лицом к воде. Маршалл, оказавшийся между Леоном и Сесилией, начал разговор десятиминутным монологом. Он разглагольствовал о том, как замечательно оказаться вдали от города, в деревенской тиши, на свежем воздухе. Он купил огромный дом в Клэпем-Коммон, так у него даже нет времени туда съездить. Вот уже девять месяцев каждую минуту, пока он метался между главным управлением, залом заседаний совета директоров и фабричными складами, его неотступно преследовало предчувствие. Проект «Радуга „Амо“» в конце концов обернулся фантастическим успехом, однако этому предшествовали разные неприятности, связанные с торговлей, которые теперь благополучно улажены; рекламная кампания возмутила некоторых престарелых епископов, поэтому пришлось все придумывать заново. Потом начались проблемы, явившиеся следствием самого успеха и связанные с невероятным уровнем продаж, новыми квотами на производство, необходимостью сверхурочных работ и поисками места для строительства новой фабрики, — последнее вызвало недовольство четырех вовлеченных в проект профсоюзов, так что пришлось их ублажать и уговаривать, как детей. И вот теперь, когда желанная цель, казалось бы,

окончательно достигнута, забрезжила перспектива нового, военного проекта — выпуска плиток в обертках цвета хаки с лозунгом «Дорогу „Амо“!». Проект основан на предположении или предчувствии, что расходы на вооруженные силы будут увеличиваться, если мистер Гитлер в ближайшее время не заткнется; вполне вероятно даже, что этот шоколад станет обязательной составляющей стандартного солдатского пайка. В случае всеобщей мобилизации понадобится еще пять фабрик; в совете директоров кое-кто считает, что с Германией нужно договариваться и такая договоренность рано или поздно будет достигнута, поэтому, мол, военный проект «Амо» — пшик. Нашелся даже один, который обвинил его, Маршалла, в разжигании войны. Но как бы он ни устал и как бы ни старались его опорочить, он не свернет с пути и будет верить в свою интуицию. В заключение он повторил, как замечательно отвлечься от всего этого, оказавшись на природе, где можно перевести дух.

В течение нескольких первых минут его пламенной речи Сесилия испытывала приятное томление, представляя, как убийственно прекрасно, почти эротично было бы выйти замуж за мужчину, почти красавца, немыслимого богача и непроходимого дурака. Он бы наградил ее круглолицыми детьми, такими же громогласными, как он сам, тупоголовыми мальчишками, обожающими ружья, футбол и самолеты. Она обозрела его профиль, когда он, продолжая вещать, повернулся к Леону: длинная мышца вдоль скулы подергивалась. Над бровью торчало несколько выбившихся из нее черных завитков, в ушной раковине виднелась такая же черная поросль, забавно курчавая, как лобковый кустик. Ему бы следовало обратить на это внимание своего парикмахера.

Она чуть-чуть перевела взгляд, и в поле ее зрения попало лицо Леона — тот вежливо внимал другу, старательно избегая взгляда сестры. В детстве они любили «пытать» друг друга взглядами во время обедов, которые их родители по воскресеньям устраивали для пожилых родственников. Это были торжественные мероприятия, по случаю которых стол сервировали старинным серебром; почтенные двоюродные бабушки и дедушки, а также прадедушки и прабабушки с материнской стороны были истинными викторианцами, людьми суровыми и не от мира сего, потерянное племя в черных одеждах, уже лет двадцать к тому времени с брюзжанием тащившееся по чуждому им фривольному веку. На десятилетнюю Сесилию и ее двенадцатилетнего брата они наводили благоговейный ужас, в любой момент способный превратиться в приступ неконтролируемого нервного смеха. Тот из них, кто не сумел избежать взгляда другого, был беззащитен, тот, кто гипнотизировал, — неуязвим.

Обычно победителем оказывался Леон, умевший принять издевательски страдальческий вид, опустив уголки губ и закатив глаза. Он мог невиннейшим тоном попросить Сесилию передать ему соль, и, как бы она ни отводила при этом взгляд, как бы ни отворачивалась, как бы ни задерживала дыхание, все равно отчетливо представляла его гримасу. Это часа на полтора повергало ее в корчи, сопровождавшиеся сдавленным кваканьем. Все это время Леон мог ощущать себя в безопасности, следовало лишь подзаводить сестру время от времени, когда ему казалось, что она начинает справляться с приступом смеха. Лишь изредка и ей удавалось спровоцировать его, изобразив надменную напыщенность. Поскольку иногда детей сажали за стол вместе со взрослыми, возникала серьезная опасность — за гримасничанье во время обеда можно было схлопотать взбучку и раньше времени отправиться в постель. Хитрость заключалась в том, чтобы успеть скорчить рожу между, скажем, облизываньем губ и широкой улыбкой, перехватив при этом взгляд другого. Однажды они одновременно подняли голову и состроили друг другу такие физиономии, что у Леона суп брызнул изо рта и ноздрей прямо на запястье двоюродной бабушки. Обоих детей выгнали из-за стола и до конца дня каждого заперли в своей комнате.

Сесилии безумно хотелось подсесть к брату и сообщить ему, что у мистера Маршалла из ушей растут лобковые кудряшки. Тот как раз рассказывал о ссоре во время заседания совета директоров с человеком, назвавшим его поджигателем войны. Сесилия приподняла руку, будто хотела поправить прическу, это движение привлекло внимание Леона, и тут-то она изобразила гримасу, какой он не видел больше десяти лет. Бедный Леон стиснул губы, отвернулся и, наклонившись, сделал вид, что рассматривает что-то на земле возле своей туфли. Когда Маршалл снова повернулся к Сесилии, Леон прикрыл лицо ладонью, однако от сестры не укрылось, как судорожно вздрагивали его плечи. К счастью для Леона, Маршалл уже подходил к заключительной части монолога:

— ...на природе, где можно перевести дух.

Леон мгновенно вскочил, подошел к краю бассейна и стал внимательно разглядывать мокрое красное полотенце, забытое кем-то возле доски для прыжков в воду. Через некоторое время, полностью овладев собой, он зашагал обратно, сунув руки в карманы.

— Угадай, кого мы встретили по дороге сюда, — сказал он Сесилии.

— Робби.

— Я пригласил его сегодня на ужин.

— Леон! Нет!

Брату явно хотелось подразнить ее — может, из чувства мести, — и он сказал, обращаясь к другу:

— Этот парень, сын уборщицы, оканчивает местную классическую школу, учится в Кембридже, заметь, одновременно с Си, а она все эти три года едва разговаривает с ним! Она на пушечный выстрел не подпускает его к своим роудинским^[2] подружкам.

— Нужно было сначала меня спросить.

Она не могла скрыть раздражение, и, видя это, Маршалл примирительно заметил:

— Я знал в Оксфорде нескольких выпускников классических школ, некоторые были чертовски умны. Но порой они бывают излишне обидчивы, что выглядит немного смешно.

— У вас есть сигареты? — спросила Сесилия.

Маршалл протянул ей серебряный портсигар, потом достал одну сигарету для Леона и одну — для себя. Теперь все трое стояли, и, когда Сесилия наклонилась, чтобы прикурить от предложенной Маршаллом зажигалки, Леон сказал:

— У Робби первосортные мозги! Не понимаю, какого черта он копается в клумбах.

Усевшись на доску для прыжков в воду, Сесилия изо всех сил старалась продемонстрировать полное спокойствие, но голос ее звучал натянуто:

— Он подумывает о медицинском образовании. Леон, я не хотела бы, чтобы он приходил.

— И старик согласился? — Ее последнюю реплику Леон проигнорировал.

Она пожала плечами:

— Слушай, мне кажется, ты должен пойти сейчас к нему в бунгало и отменить приглашение.

Отошедший на противоположный конец бассейна, Леон смотрел на нее поверх мерно колыхавшейся маслянисто-голубой воды.

— Как, по-твоему, я могу это сделать?

— Мне все равно — как. Придумай благовидный предлог.

— Между вами что-то произошло?

— Нет, ничего.

— Он тебе докучает?

— Ради бога!

Сесилия раздраженно встала, направилась к павильону — открытому сооружению с тремя ребристыми колоннами — и, прислонившись к

средней, стала наблюдать за братом, продолжая курить. Еще две минуты назад они были вместе, как заговорщики, и вот уже сцепились — детство и впрямь возвращается. Пол Маршалл стоял на полпути между ними, то и дело, как на теннисном матче, поворачивая голову то вправо, то влево, в зависимости от того, кто произносил фразу. Вид у него был безразличный, разве что чуть-чуть любопытствующий. Казалось, перепалка брата и сестры его ничуть не волновала. «Хоть это, по крайней мере, говорит в его пользу», — подумала Сесилия.

— Ты что, думаешь, он не умеет пользоваться ножом и вилкой? — спросил Леон.

— Леон, прекрати. Это было не твое дело — приглашать его.

— Что за чушь!

Напряженность наступившей тишины разряжало лишь урчание насоса, фильтровавшего воду. Сесилия ничего не могла поделать, не могла заставить Леона что-нибудь предпринять, спорить было бесполезно, она это понимала. Она стояла в ленивой позе, опершись спиной на теплый камень, докуривала сигарету и смотрела на усеченный в перспективе квадрат хлорированной воды, черную резиновую камеру колесного трактора, прислоненную к садовому стулу, двоих мужчин в льняных костюмах почти не отличавшихся кремовых оттенков, голубовато-серый сигаретный дымок на фоне бамбуковой зелени... Картина была четко прорисованной, неподвижной, и Сесилии снова показалось, что все это уже было, происходило давным-давно, и все последствия этого — от самых незначительных до грандиозных — предопределены. Что бы ни случилось в будущем, какими бы неестественно странными и шокирующими ни оказались грядущие события, они не покажутся ей удивительными и неожиданными, она всегда сможет сказать — самой себе, разумеется: «Ну да, конечно. Я так и знала».

— Знаешь, что я думаю? — тихо спросила она брата.

— Что?

— Нужно вернуться в дом, и ты приготовишь нам что-нибудь вкусненькое выпить.

Пол Маршалл радостно хлопнул в ладоши — звук, отразившись от задней стены павильона, повторился эхом между колоннами.

— Это то, в чем я действительно мастер! — провозгласил он. — Колотый лед, ром и расплавленный черный шоколад.

Сесилия и Леон при этом предложении быстро переглянулись, и ссора была забыта. Леон первым двинулся в сторону дома, Сесилия с Маршаллом — за ним. Когда они вместе проходили сквозь коридор в

бамбуковых зарослях, Сесилия сказала:

— Вообще-то я предпочла бы что-нибудь более горькое или даже кислое.

Он, шедший первым, улыбнулся, протянул ей руку и остановился, пропуская ее вперед, словно они по всем правилам этикета входили в дверь. Поравнявшись с ним, она ощутила легкое прикосновение его пальцев к своему предплечью.

А может, по руке просто скользнул бамбуковый лист.

Ни близнецы, ни Лола точно не знали, что заставило Брайони отменить репетицию. Поначалу они вообще не поняли, что она отменена. Лола и мальчики проигрывали сцену болезни, в которой Арабелла впервые знакомится на чердаке с принцем, скрывающимся под маской доброго доктора. Причем все шло вовсе не плохо, во всяком случае не хуже, чем обычно, близнецы произносили свой текст не более бессмысленно, чем всегда. Что касается Лолы, то, не желая ложиться на пол и опасаясь испачкать кашемировый свитер, она опустилась в кресло, что едва ли могло вызвать возражения режиссера. Старшая участница спектакля так упивалась собственным гордым смирением, что не допускала мысли о чем-либо недовольстве. Брайони, терпеливо объяснявшая Джексону, как нужно играть эту сцену, в какой-то момент замолчала, будто вдруг решила изменить что-то в своей трактовке, нахмурилась и неожиданно вышла из комнаты. Не было никаких кардинальных творческих расхождений между ними, никакого взрыва эмоций, никаких резких движений. Она просто повернулась и вышла, можно было подумать — в туалет. Остальные, не осознавшие, что всей затее пришел конец, ждали. Двойняшки старались изо всех сил, особенно Джексон, опасавшийся, что он все еще в немилости у Толлисов, и пытавшийся реабилитировать себя хотя бы перед Брайони.

В ожидании мальчики играли в футбол деревянным брусом, а их сестра смотрела в окно, тихо что-то напевая. Так прошло неизвестно сколько времени, и Лола решила наконец выйти. Пройдя до конца коридора, она увидела открытую дверь в пустую спальню. Из окна комнаты были видны подъездная аллея и озеро, за которым вздымался дрожащий столб света, добела раскаленного беспощадным дневным зноем. На фоне этого свечения рядом с островным храмом она заметила Брайони, стоявшую у кромки воды. Вполне вероятно, что она стояла даже в самой воде — из-за слепящего света трудно было сказать точно. Не похоже было, чтобы она собиралась возвращаться. Уже выходя из комнаты, Лола увидела стоявший рядом с кроватью мужской чемодан из дубленой кожи, опоясанный широкими ремнями и облепленный вылинявшими багажными наклейками паровозных компаний. Это смутно напомнило ей об отце, и, замешкавшись возле чемодана, она уловила легкий запах паровозной гари. Нажав большим пальцем на один из замков, она сдвинула его. Отшлифованный металл был холодным, и от ее прикосновения на нем

остались едва заметные следы быстро исчезающей влаги. Раздался короткий громкий щелчок, испугавший Лолу, и замок открылся. Она быстро нажала на него, чтобы закрыть снова, и поспешила прочь из комнаты.

Пауза затянулась, делать было нечего. Лола послала братьев вниз посмотреть, не свободен ли бассейн, — в присутствии взрослых мальчики чувствовали себя там неловко. Вернувшись, близнецы доложили, что там Сесилия с двумя взрослыми дядями. К этому времени Лола была уже не в детской, а в своей маленькой спальне — поправляла прическу перед зеркалом, прислоненным к стеклу на подоконнике. Плюхнувшись на ее узкую кровать, мальчики с громкими завываниями начали щекотать друг друга и бороться. Она не стала утруждать себя замечаниями и отсылать шалунов в их комнату. Поскольку репетиция прервалась, а бассейн был занят, они оказались неприкаянными. Их внезапно обуяла тоска по дому — Пьеро заявил, что голоден, до ужина оставалось еще несколько часов, но пойти попросить что-нибудь означало проявить невоспитанность. Кроме того, мальчики ни за что не решились бы даже заглянуть в кухню, поскольку суровый вид Бетти, которую они незадолго до того встретили на лестнице (она несла красные банные полотенца к ним в комнату), напугал их до полусмерти.

Чуть позже все трое снова очутились в детской — единственном месте, если не считать отведенных им спален, где они чувствовали себя уверенно. Обшарпанный синий брусок лежал там, где его оставили, и вообще все здесь было по-прежнему.

Близнецы праздно слонялись по комнате, пока Джексон наконец не заявил:

— Мне здесь не нравится.

Расстроенный этим открытием, Пьеро подошел к стене и ковырнул носком плинтус, словно заметил там нечто интересное.

Обняв его за плечи, Лола сказала:

— Все хорошо. Скоро мы поедем домой.

Рука сестры оказалась гораздо тоньше и легче, чем мамина, и мальчик захлюпал носом, но совсем тихо, помня о том, что они в чужом доме, где правила приличий превыше всего.

У Джексона на глаза тоже навернулись слезы, но он пока мог говорить:

— Еще не скоро. Ты так говоришь, чтобы нас утешить. Мы не можем поехать домой, потому что... — Он сделал паузу, набираясь храбрости, и выпалил: — Потому что они разводятся!

Пьеро и Лола замерли. Это слово никогда не произносилось в

присутствии детей, а тем более ими самими. В твердости его согласных заключалась какая-то немислимая непристойность, а свистящее окончание словно оповещало весь мир о семейном позоре. Джексон и сам был смущен, но слово вылетело, и, как бы он теперь ни оправдывался, поступок его квалифицировался как преступление, равное чуть ли не самому разводу, что бы это понятие ни означало. А этого никто точно не знал, в том числе и Лола. По-кошачьи прищулив зеленые глаза, она стала надвигаться на брата:

— Как ты посмел это сказать!

— Но это ж правда, — пробормотал тот, отводя взгляд в сторону. Он уже понял, что попал в беду, что действительно виноват и придется поплатиться.

Сестра, схватив его за ухо, наклонилась к нему.

— Если ты меня ударишь, я расскажу родителям, — быстро проговорил мальчик, но тут же сам почувствовал бесполезность магического прежде слова, поверженного тотема утраченного золотого века.

— Никогда, слышишь, никогда больше не смей говорить это. Ты меня понял?

Сгорая от стыда, он кивнул, и сестра отпустила его.

От потрясения мальчики даже не могли плакать, и Пьеро, всегда стремившийся побыстрее загладить неловкость, бодро спросил:

— Что будем делать?

— Сама хотела бы знать, — ответила Лола.

Только теперь они заметили высокого мужчину в белом костюме, который, должно быть, стоял в дверях уже давно и мог слышать, как Джексон произнес запретное слово. Скорее всего, именно это, а не сам шокирующий факт присутствия незнакомца не позволил Лоле сказать что-либо еще. Оставалось лишь молча гадать, знает ли он о том, что происходит у них в семье. Мужчина вошел в комнату и протянул руку.

— Пол Маршалл, — представился он.

Пьеро, стоявший ближе всех, пожал протянутую руку первым, потом — его брат. Когда настала очередь Лолы, она произнесла:

— Лола Куинси. А это Джексон и Пьеро.

— Какие у вас замечательные имена. Но как прикажете различать этих двоих?

— Меня принято считать более обаятельным, — сказал Пьеро. Это была семейная шутка, к которой прибегал их отец, желая рассмешить тех, кто задавал подобный вопрос.

Но этот господин даже не улыбнулся, а только спросил:

— Вы, должно быть, те самые двоюродные братья и сестра с севера?

Они молча напряженно наблюдали за ним, пытаясь понять, что еще ему известно. Мужчина прошел в самый конец детской, подобрал брусок, подбросил его и ловко поймал. Брусок с легким шуршанием лег ему в руку.

— Моя комната — в конце коридора.

— Я знаю, — сказала Лола. — Это комната тетушки Венеры.

— Абсолютно верно. Это ее бывшая комната.

Пол Маршалл опустился в кресло, на котором еще недавно страдала Арабелла, и положил ногу на ногу.

У него было забавное лицо: все черты словно сбегались к бровям, оставляя пустым крупный подбородок, как у Отчаянного Дэна.^[3] Это было жестокое лицо, но при безупречности манер его обладателя эффект получался приятным, как показалось Лоле. Переводя взгляд с одного Куинси на другого, Пол Маршалл поправил стрелки на брюках. От его внимания не ускользнуло, с каким интересом Лола смотрела на его черно-белые кожаные спортивные ботинки, и он намеренно покачивал ногой в такт какой-то звучащей у него в голове мелодии.

— Мне очень жаль, что ваш спектакль сорвался.

Близнецы начали незаметно сближаться, подсознательно готовые сомкнуть ряды: если этому человеку о спектакле известно больше, чем им, наверняка он знает и еще много чего. Выражая общую тревогу, Джексон спросил:

— Вы знакомы с нашими родителями?

— С мистером и миссис Куинси?

— Да!

— Я читал о них в газетах.

При этом известии мальчики уставились на него, потеряв дар речи, потому что знали: газеты пишут о важных событиях — о землетрясениях, железнодорожных катастрофах, о том, что делает правительство, что происходит в разных странах, будет ли тратиться больше денег на вооружение, если Гитлер нападет на Англию. Они испытали благоговейный трепет от того, что их личное несчастье стоит в одном ряду со всеми этими высокими материями. Впрочем, это казалось вполне правдоподобным.

Чтобы обрести уверенность в себе, Лола подбоченилась, но ее сердце слишком сильно билось в груди, и она не решалась заговорить, хотя понимала: молчание нарушить нужно. Ей казалось, что с ними играют в игру, смысла которой она не могла постичь, однако была уверена: во всем этом кроется нечто неприличное, а может, и оскорбительное. Когда она заговорила, голос выдал ее, пришлось откашляться и начать снова:

— И что же вы о них читали?

Он вскинул брови, густые и сросшиеся посередине, и издал протяжное неопределенное:

— Ну-у... — Потом замолчал. — Я не знаю, — сказал он наконец. — Ничего особенного. Глупости всякие.

— Тогда я была бы вам исключительно признательна, если бы вы не говорили об этом при детях.

Должно быть, она где-то слышала это выражение и теперь с бессознательной убежденностью повторила его, как ученик — заклинание мага.

Похоже, это сработало. Маршалл поморщился, признавая, что совершил ошибку, и, повернувшись к близнецам, сказал:

— А теперь, вы двое, послушайте меня. Все прекрасно знают, что ваши родители — замечательнейшие люди, которые вас очень любят и постоянно о вас думают.

Джексон и Пьеро закивали в торжественном согласии. Заявив это, Маршалл снова обратил внимание на Лолу. Выпив незадолго до этого два крепких коктейля в гостиной с Леоном и его сестрой, он поднялся наверх, чтобы распаковать вещи у себя в комнате и переодеться к ужину, но прежде, не снимая башмаков, растянулся на своей необъятной кровати под балдахин и, убаюканный деревенской тишиной, коктейлями и вечерним теплом, задремал. Ему приснились его сестры, все четыре, они стояли вокруг кровати и, щебеча, толкали и тянули его за рукава. Он проснулся, неуместно возбужденный, со вспотевшей грудью и шеей, и не сразу понял, где находится. Когда, опустив ноги на пол, он пил воду, до него донеслись голоса, которые, судя по всему, его и разбудили. Пройдя по скрипучим половицам коридора и войдя в детскую, он увидел трех детей. Впрочем, девочка была уже почти юной женщиной, полной достоинства, даже надменной — ни дать ни взять маленькая принцесса с картины какого-нибудь прерафаэлиты, со всеми этими браслетами, локонами, накрашенными ногтями и бархоткой на шее.

— Вы удивительно стильно одеты, — сказал он ей. — Особенно, мне кажется, вам идут эти брюки.

Комплимент скорее доставил Лоле удовольствие, чем вызвал смущение, и она легко провела пальцами по ткани там, где были сборки над ее узкими бедрами.

— Мы купили их в «Либертиз»,^[4] когда ездили с мамой в Лондон, в театр.

— И что же вы смотрели?

— «Гамлета».

На самом деле брюки были приобретены после утреннего представления в «Палладиуме»,^[5] где Лола пролила на платье клубничный сок, а «Либертиз» очень кстати оказался как раз напротив.

— Это один из моих любимых магазинов, — заметил Пол. Ей повезло, что он тоже никогда не читал этой пьесы и не видел спектакля, — его стихией была химия. Тем не менее он с глубокомысленным видом произнес: — «Быть или не быть...»

А она с готовностью подхватила:

— «...вот в чем вопрос». А мне нравятся ваши туфли.

Он повертел ступней, любуясь произведением сапожного искусства.

— Да. Мне их сшили у Дакера, на Терл-стрит. Там изготавливают деревянную колодку с вашей ноги и хранят вечно. У них в полуподвалах на полках тысячи таких колодок, многие их владельцы давно умерли.

— Потрясающе.

— Я есть хочу, — снова пожаловался Пьеро.

— Очень кстати. — Пол Маршалл похлопал себя по карману. — У меня кое-что есть, и я вам это дам, если вы угадаете, чем я зарабатываю на жизнь.

— Вы певец, — предположила Лола. — Во всяком случае, у вас очень приятный голос.

— Спасибо за комплимент, но вы ошиблись. Знаете, вы мне напоминаете одну из моих любимых сестер...

— Вы делаете шоколадки на фабрике, — перебил его Джексон.

Не желая допустить, чтобы на брата обрушилась слишком громкая слава, Пьеро поспешил добавить:

— Мы слышали, как вы рассказывали об этом возле бассейна.

— Тогда это не считается.

Тем не менее Пол вынул из кармана обернутую жиронепроницаемой бумагой прямоугольную плитку размером четыре дюйма на дюйм, положил ее на колено, аккуратно развернул и поднял над головой, чтобы близнецы могли ее как следует рассмотреть. Мальчики вежливо подошли. Плитка была закована в грязновато-зеленый панцирь, который Пол поскреб ногтем.

— Сахарная оболочка, видите? А внутри — молочный шоколад. Очень удобно в любых условиях, даже если шоколад растает.

Маршалл еще выше поднял руку и крепко сжал плитку — было видно, как подрагивают его пальцы.

— Такая плитка будет находиться в вещевом мешке каждого английского солдата. Она входит в стандартный набор.

Близнецы переглянулись. Они знали, что взрослые безразличны к сладостям.

— Солдаты не едят шоколада, — заметил Пьеро.

— Они любят сигареты, — со знанием дела добавил его брат.

— И вообще, почему это им, а не детям будут бесплатно раздавать шоколад?

— Потому что они будут сражаться за родину.

— Папа говорит, что войны не будет.

— Он ошибается.

В голосе Маршалла послышалось раздражение, и Лола поспешила всех примирить:

— Может, какая-нибудь и будет.

Он улыбнулся ей:

— Это называется «Армейский „Амо“».

— *Амо*, *amas*, *amat*^[6], — prospрягала Лола.

— Вот именно.

— Интересно, почему все, что продается, кончается на «о»? — поинтересовался Джексон.

— Это даже скучно, — подхватил Пьеро. — «Поло»,^[7] «Аэро»...^[8]

— «Оксо»,^[9] «Брилло»,^[10] — продолжил Джексон.

— Полагаю, они хотят сказать, — пошутил Пол Маршалл, передавая плитку шоколада Лоле, — что их это не интересует.

Она с серьезным видом взяла в руки шоколад и бросила на братьев взгляд, говоривший: «Так вам и надо». Теперь им едва ли было удобно попросить кусочек «Амо». Они видели, как позеленел язык сестры, когда она лизнула край шоколадной оболочки. Пол Маршалл, сложив пальцы домиком и откинувшись на спинку кресла, внимательно наблюдал за Лолой.

Он то правую ногу укладывал на левую, то левую на правую. Потом глубоко вздохнул.

— Откусите, — посоветовал он. — Все равно придется откусить.

Шоколад громко хрустнул под ее безукоризненными резцами, и между белыми краями сахарной оболочки обнаружился темный шоколад. Именно в этот момент они услышали женский голос — их звали снизу; вскоре зов повторился, на сей раз более настойчиво и уже из коридора. Теперь близнецы узнали этот голос и переглянулись в замешательстве.

Лола рассмеялась с полным ртом «Амо»:

— Это Бетти вас ищет. Пора принимать ванну. Бегите. Ну, давайте же,

бегите, быстро!

VI

Вскоре после обеда, убедившись, что Брайони и дети ее сестры плотно поели, и взяв с них обещание держаться подальше от бассейна, по крайней мере ближайшие два часа, Эмилия Толлис укрылась от яркого света и полуденного зноя в своей прохладной затененной спальне. Голова пока не болела, но Эмилия заблаговременно принимала меры предосторожности. Перед глазами уже появились яркие точки величиной с булавочную головку — словно ветхую, всю в прорехах ткань видимого мира подвесили против более яркого источника света. Где-то в правой половине головы ощущалась тяжесть, как будто там, свернувшись калачиком, притаился спящий зверек; но когда Эмилия надавила на это место пальцами, ощущение из координат реального пространства переместилось куда-то вверх. Она могла представить, что, встав на цыпочки и протянув руку, достает до него пальцами. Однако было очень важно не спровоцировать зверька; если только это ленивое существо переберется с периферии в центр, режущая боль пронзит ее насквозь и она не сможет присутствовать на ужине в честь приезда Леона. Этот зверек не желал Эмилии зла, но был безразличен к ее страданиям. Он мотался туда и обратно, как пантера в клетке, просто потому, что не спал и не был уставшим, двигался, чтобы двигаться или вообще без всякой причины и цели. Она лежала на спине, без подушки, стакан воды стоял рядом с кроватью, под рукой, там же лежала книга, которую, как стало очевидно, она читать не будет. Мрак прорезала только длинная расплывчатая полоска света, отражавшаяся на потолке над ламбрекеном. Ее тело сковал страх, словно на нее было направлено острие ножа, она понимала, что этот страх не даст ей уснуть и единственное спасение в неподвижности.

Эмилия представляла зной, словно необъятное облако дыма поднимающийся над домом и парком, над ближайшими графствами, удушающий фермерские усадьбы и города, видела раскаленные рельсы, по которым поезд везет Леона с его другом, поджаривающуюся на солнце двуколку с черным верхом, в которой те будут сидеть чуть позже, открыв окна. Она велела приготовить на ужин жаркое — слишком тяжелая еда для такой погоды. Было слышно, как дом потрескивает и взбухает. Или это стропила и опоры ссыхаются и съеживаются внутри кирпичной кладки? Скукоживается, все скукоживается. Например, планы Леона неумолимо мельчают с тех пор, как он отказался от верного шанса с помощью отца

занять приличную должность на государственной службе и предпочел стать ничтожным чиновником в частном банке; теперь он жил лишь в ожидании выходных, когда можно было с удовольствием снова усесться в свою гребную восьмерку. Она сердилась бы на сына еще больше, если бы он не был столь добродушен и абсолютно доволен в окружении преуспевающих друзей. Он слишком хорош собой и пользуется слишком большой популярностью, ему и в голову не приходит считать себя неудачником, он не тщеславен. Может, когда-нибудь он привезет домой погостить друга, за которого Сесилия выйдет замуж, если, конечно, три года в Гертоне не превратили ее в старую деву с претензией на одиночество, курением в спальне, необъяснимой ностальгией по совсем недавним временам и своим толстым подружкам в очках из Новой Зеландии, с которыми она училась в одной группе, — или это были служанки? Девчачий кембриджский мирок Сесилии — все эти холлы, танцклассы для девушек, снобистская тяга к людям, стоящим ниже на социальной лестнице, трикотажные панталоны, разложенные для просушки перед электрокамином, одна расческа на двоих — все это немного сердило Эмилию, но не вызывало ревности.

Сама она до шестнадцати лет обучалась дома, потом была отправлена на два года в Швейцарию, правда, в целях экономии срок ее пребывания там пришлось несколько сократить, но она точно знала, что все эти шоу университетских барышень, в сущности, были ребячеством, невинной забавой — вроде участия в команде женской гребной восьмерки, — своего рода позерством на фоне братьев, приговоренных к импозантности ради продвижения по общественной лестнице. А девушкам даже заслуженные ими высокие оценки не ставили.

Когда в июле Сесилия вернулась домой с экзаменационными результатами, которые ее до глубины души разочаровали, у нее не было ни работы, ни навыков, ей предстояло найти мужа и познать материнство. Но что могли рассказать ей обо всем этом синие чулки, ее педагоги, — женщины с дурацкими кличками и «строгой» репутацией, самодовольные дамы, увековечившие себя в местных кругах робкими потугами на эксцентричность; самое большее, что они себе позволяли, это водить кошек на собачьих поводках, разъезжать повсюду на мужских велосипедах и открыто есть сэндвичи на улице. Поколение спустя, когда этих невежественных, глупых женщин уже давно не будет на свете, за профессорским столом в университетской столовой о них все еще будут приглушенно судачить.

Почувствовав, что черный пушистый зверек зашевелился, Эмилия

мысленно переключилась со старшей дочери на младшую, протянув к той щупальца своего беспокойного духа. Бедная милая Брайони, нежнейшее существо! Она выбивается из сил, чтобы заинтересовать своих нестигаемых строптивых кузенов пьесой, в которую вложила всю душу. Каким утешением было любить ее! Но как защитить девочку от провала, от Лолы — воплощения младшей сестры Эмилии, которая была так же расчетлива и осмотрительна в этом возрасте и которая недавно задумала побег от брака в нечто такое, что все, по ее замыслу, должны были считать нервным срывом? Нет, Гермionу в круг размышлений допускать нельзя. Вместо этого Эмилия, лежа в полумраке и стараясь дышать размеренно, решила оценить состояние хозяйства и прислушалась к тому, что происходило в доме. В ее теперешнем положении это было единственным, что она могла сделать. Прижав ладонь ко лбу, она снова услышала треск — зал еще немного скукожился. Снизу донесся отдаленный металлический лязг — наверное, упала крышка от кастрюли; неуместное жаркое находилось в начальной стадии приготовления. Сверху слышался топот и детские голоса — не меньше двух или трех одновременно, они то взмывали вверх, то опускались, а потом снова поднимались: вероятно, там шла дискуссия и все были очень взволнованы. Детская находилась над спальней Эмилии, чуть наискосок. «Злоключения Арабеллы». Если бы Эмилия не чувствовала себя так плохо, то поднялась бы и поруководила репетицией, может быть, чем-нибудь помогла, потому что понимала: детям самим справиться с таким делом трудно. Из-за болезни она давно не дает детям всего того, что требуется от матери. Словно чувствуя это, они всегда называют ее по имени. Могла бы им помочь и Сесилия, но та слишком поглощена собой и слишком мнит себя интеллектуалкой, чтобы снисходить до ребяческих забав... Эмилия снова отмела мысли, связанные со старшей дочерью, и не то чтобы задремала, но впала в полузабытье. Прошло немало минут, прежде чем она услышала шаги на лестнице, ведущей в коридор перед спальней, и по шлепающему звуку догадалась, что человек идет босиком, а следовательно, это Брайони. В жаркую погоду девочка никогда не носила обуви. Еще через несколько минут из детской донесся шум драки, что-то твердое грохнулось на пол. Репетиция расстроилась, Брайони мрачно замкнулась в себе, близнецы начали дурачиться, а Лола, если она действительно так похожа на мать, как думает Эмилия, тихо торжествует.

Привычка суетиться вокруг детей, мужа, сестры, всем помогать обострила чувствительность Эмилии. Материнская любовь, мигрень, а в последние годы долгие часы вынужденной неподвижности в постели вызвали к жизни какое-то шестое чувство, способность некими

невидимыми щупальцами осязать дом, двигаться по нему посвященной во все невидимкой. Она схватывала только суть происходящего, поэтому что знала, то знала наверняка. Неразборчивое бормотанье, пробивающееся сквозь толщу ковра, превращалось перед ее мысленным взором в четкую машинопись; разговор, проникавший через стену — а еще лучше, через две, — очищался от обертонов и воспринимался в его сущностных параметрах. То, что другим казалось лишь глухим шепотом, Эмилия со своей обостренной чувствительностью улавливала чутко, как кошачьи усики антенны старого радиоприемника, и видела в почти невыносимом увеличении. Она лежала в темноте и знала все. Чем меньше она была способна сделать, тем больше понимала. Но как бы ни хотелось Эмилии порой встать и вмешаться, особенно когда она считала, что нужна Брайони, страх перед болью удерживал ее на месте. Если не сдерживать боль, она могла целым набором острых кухонных ножей полоснуть по зрительному нерву, потом снова, с еще большей силой, и тогда Эмилия оказалась бы одна, в полной изоляции. Потому что даже стоны усиливали и без того нестерпимую боль.

День шел на убыль, а она все лежала неподвижно в постели. Открылась и закрылась входная дверь. Должно быть, расстроенная Брайони вышла из дома. Вероятно, захотела побыть у воды — возле бассейна или озера, а может, отправилась еще дальше, к реке. Тихий звук на лестнице — наконец-то Сесилия несет цветы в гостевую комнату, выполняя простейшее поручение, о котором ей пришлось напоминать несколько раз за сегодняшний день. Потом — голос Бетти, зовущей Дэнни, шуршание колес по гравию, шаги Сесилии, спускающейся навстречу гостям... Вскоре после этого в темноте потянуло едва заметным запахом табачного дыма — сколько раз ее просили не курить на лестнице, но ей, наверное, захотелось произвести впечатление на друга Леона, а это само по себе может быть и недурно. Эхо голосов в холле, Дэнни с трудом тащит чемоданы наверх, потом сбегает вниз. Теперь наступает тишина — Сесилия повела Леона и мистера Маршалла к бассейну пить пунш, который Эмилия сама приготовила утром. Цокот четырехногого существа, скатывающегося по лестнице, — это близняшки бегут проверить, свободен ли бассейн, они еще не знают, что их ждет разочарование: бассейн занят.

Она задремала и была разбужена гудением мужского голоса в детской, дети что-то отвечали. Конечно же, это не Леон — тот ни на шаг не отходит от сестры теперь, когда они снова воссоединились. Это может быть мистер Маршалл, чья комната выходит в тот же коридор, что и детская, и

разговаривает он скорее с близнецами, чем с Лолой. Вероятно, мальчики дерзят, ведь каждый ведет себя так, будто на его долю приходится лишь половина требований соблюдать правила приличий. Вот Бетти поднимается по лестнице, на ходу подзывая мальчиков. Утром она, надо признать, отнеслась к Джексону с излишней строгостью. Пора принимать ванну, пора пить чай, пора ложиться спать... Обычная рутина. Обычные «святые дары» детства — вода, пища и сон — никуда не делись из дневного распорядка. Благодаря позднему и незапланированному рождению Брайони все это оставалось с Эмилией, когда ей было далеко за сорок, и действовало на нее умиротворяюще и дисциплинирующе. Ланолиновое мыло и пушистая белая банная простыня, детский лепет, эхом отдающийся от стен наполненной паром ванной комнаты; обернутая полотенцем девочка у нее на коленях, младенческая беспомощность, которой Брайони бессознательно наслаждалась еще совсем недавно... Теперь дитя укрывалось за запертой дверью ванной, хотя и не всегда: девочке нередко требовалось, чтобы кто-то потер ей спинку или принес чистое белье. Гораздо чаще она пребывала в своем внутреннем неприкосновенном мире, ее сочинительство было не более чем его видимой оболочкой, защитным панцирем, сквозь который не могла проникнуть даже любящая мать. В мыслях ее дочь всегда витала где-то далеко, озабоченная какими-то невысказанными, ею самой придуманными проблемами, словно пыталась силой детского воображения изменить этот скучный самоочевидный мир, создать его заново. Спрашивать Брайони, о чем она думает, было бесполезно. В жизни каждого человека существует период, когда он жаждет ярких и нетривиальных ответов, в свою очередь рождающих новые наивные, но кажущиеся жизненно важными вопросы. Эмилия старалась как можно точнее отвечать на них дочери и, хотя обсуждение замысловатых гипотез потом трудно было восстановить в подробностях, точно знала, что никогда не говорила так хорошо, как во время бесед со своим одиннадцатилетним поскребышем. Никогда, ни за одним обеденным столом, ни на одной тенистой обочине теннисного корта, речь Эмилией не была столь свободной и столь богатой ассоциациями. Но теперь демоны застенчивости и таланта запечатали уста Брайони, и, хотя девочка не стала менее любящей дочерью — за завтраком она по-прежнему тайком прижималась к матери и под столом сплетала пальцы с ее пальцами, — Эмилия тосковала о минувших временах красноречия. Она больше никогда и ни с кем не сможет так говорить, и это означает, что она мечтает еще об одном ребенке. А ведь ей скоро сорок семь.

Приглушенный рокот водопроводных труб, начавшийся незаметно для

нее, вдруг прекратился, напоследок взбудоражив воздух бурной вибрацией, — мальчики Гермियोны уже в ванне, их тощие тельца прилепились к ее противоположным концам, а на вылинявшем голубом плетеном стуле все так же покоятся аккуратно сложенные белые полотенца и рядом с ванной — большой пробковый коврик с объединенным давно умершей собакой уголком. Но теперь в ванной — никакого детского лепета, только пугающая тишина, и никакой мамы — только Бетти, чью сердечную доброту никогда не заметит ни один ребенок. Как могла Гермiona решиться на «нервный срыв» — эвфемизм, коим принято было именовать ее друга, работавшего на радио, — как могла она обречь своих детей на тишину, страх и печаль? Эмилия подумала, что ей самой следовало присмотреть за купанием детей. Но она понимала: даже если ножи не полоснули бы при этом по ее зрительному нерву, она оставалась бы там только из чувства долга. Потому что — да, все очень просто! — это были не ее дети, к тому же мальчики — существа совершенно некоммуникабельные, не имеющие дара душевной близости, хуже того, лишенные для нее всякой индивидуальности, поскольку ей всегда будет нехватать этого треугольничка плоти. Она могла воспринимать их лишь в общем.

Опершись на локоть, Эмилия поднесла к губам стакан с водой. Ощущение присутствия зверька — ее мучителя — начинало ослабевать, теперь она могла попытаться прислонить к изголовью кровати две подушки, чтобы сесть, откинувшись на них. Этот маневр она проделывала медленно и неуклюже, боясь совершить резкое движение; скрипевшие при этом пружины заглушали мужской голос. Перевалившись на бок, она замерла с зажатым в руке уголком подушки и сосредоточила свое обостренное внимание на укромных уголках дома. Было тихо, но вдруг, будто кто-то в темноте быстро включил и выключил лампочку, раздался и тут же смолк короткий сдавленный смешок. Лола с Маршаллом в детской. Эмилия закончила обустраивать себе гнездо, откинулась на подушки и отпила глоток тепловатой воды. Этот молодой богатый предприниматель, должно быть, не так уж плох, если способен немало времени посвятить детям. Еще немного, и она рискнет зажечь ночник возле кровати, а еще минут через двадцать присоединится к домашним и проверит все, что требует ее надзора. Прежде всего нужно будет пойти на кухню посмотреть, не поздно ли заменить жаркое на холодное мясо с салатами, потом — поприветствовать сына, познакомиться с его другом и проявить гостеприимство по отношению к нему. После этого она должна удостовериться, что о близнецах заботятся должным образом, и, возможно, побаловать их каким-нибудь лакомством. Затем настанет время позвонить

Джеку, который мог забыть предупредить ее, что не приедет сегодня домой. Придется сначала поговорить с телефонисткой и напыщенным юнцом в приемной, потом заверить мужа, что ему не стоит винить себя. Далее — найти Сесилию, удостовериться, что она составила букет так, как ей было велено, и потрудиться сделать над собой усилие, чтобы вечером принять на себя часть обязанностей хозяйки дома, а также что она надела что-нибудь приличное и не курит в каждой комнате. И наконец — это самое важное, — Эмилия отправится на поиски Брайони, поскольку срыв спектакля — ужасный удар для девочки и ребенку понадобится самое теплое материнское утешение. Искать Брайони значит выйти на открытый солнечный свет, а даже косые лучи клонящегося к закату солнца могут спровоцировать приступ. Нужно найти солнцезащитные очки, прежде чем отправляться на кухню, ведь снова идти за ними наверх будет утомительно, а они где-то здесь, в комнате, — то ли в ящике стола, то ли заложены в какую-нибудь книгу, то ли в каком-то кармане. Нужно также надеть туфли без каблуков на тот случай, если Брайони ушла далеко вдоль берега реки...

Так, уже после того как выкинула недоношенного зверька, Эмилия пролежала, опершись на подушки, еще несколько минут, строя и перестраивая свои планы, уточняя порядок действий. Придется навести порядок в доме, из скорбного мрака спальни представлявшегося взбудораженным, неравномерно заселенным континентом, с просторов которого, из разных поросших дубравами уголков конкурирующие стихии заявляли о своих противоречивых претензиях на ее неусыпное внимание. Она не тешила себя иллюзиями: все планы, даже если удастся удержать их в памяти, с течением времени имеют тенденцию неумолимо меняться под влиянием лихорадочной и сверх меры оптимистической хватки событий. Эмилия могла простереть свои щупальца во все помещения дома, но не в будущее. Знала она также и то, что при любых обстоятельствах первое, о чем она будет печься, это собственный душевный покой; эгоизм и доброту лучше всего не противопоставлять друг другу. Эмилия осторожно оторвалась от подушек, спустила ноги на пол и сунула их в тапочки. Предпочтя пока не раздвигать шторы, она включила лампу на тумбочке и медленно отправилась на поиски солнцезащитных очков. Она уже решила, где следует посмотреть в первую очередь.

VII

Храм на острове был построен в стиле Николаса Риветта в конце восемнадцатого столетия как украшение, приятная взору деталь пейзажа — чтобы усилить впечатление пасторальной идиллии — и никакого религиозного назначения не имел. Он стоял близко к воде, возвышаясь на откосе и красиво отражаясь в озере, его колонны, поддерживавшие фронтон, откуда ни взгляни, прелестно затенялись вязами и дубами, окружавшими строение. Однако с более близкого расстояния храм являл собой весьма печальное зрелище: из-за влаги, просачивавшейся сквозь поврежденную гидроизоляцию, большие пласты штукатурки отвалились. После небрежного ремонта, сделанного в конце девятнадцатого века, в облицовке остались обширные участки некрашеного цемента, со временем они потемнели, стали коричневыми и придавали теперь зданию неряшливый рябой вид. В других местах сквозь стены проглядывала обнажившаяся гниющая дранка, напоминая ребра умирающего от голода животного. Двойные двери, когда-то открывавшиеся в круглый зал под куполом, давным-давно исчезли, каменный пол был густо покрыт заплесневевшими листьями и испражнениями птиц и животных, находивших здесь приют. В великолепных георгианских окнах не осталось ни одного стекла — в конце двадцатых годов их повыбивали Леон и его друзья. Высокие ниши, где некогда стояли статуи, опустели и затянулись паутиной. Каким-то образом тут сохранилась скамейка, много лет назад принесенная с деревенской крикетной площадки тем же юным Леоном и его беспокойными одноклассниками. Ее ножки, отломанные и использовавшиеся для сокрушения окон, выросли теперь в землю среди крапивы и нетленных осколков стекла.

Так же как павильон у бассейна позади конюшни имитировал архитектуру храма, сам храм, судя по всему, должен был вызывать ассоциации с подлинным домом Адама, хотя никто из Толлисов понятия не имел, как тот дом выглядел. Возможно, сходство следовало искать в расположении колонн, форме фронтона или в пропорциях окон. Время от времени, чаще всего под Рождество, когда люди особенно охотно строят планы, Толлисы, гуляя по мосткам, клятвенно обещали докопаться до истины, но, как только наступал новый суматошный год, никто об этом больше не вспоминал. И утрата памяти об исторической родословной храма гораздо больше окрашивала печалью образ бесполезного маленького

строения, чем его физическое обветшание. Храм напоминал отпрыска великосветской дамы, оставшегося после ее смерти беспризорным сиротой, состарившегося до срока и махнувшего на себя рукой. Только конусообразное пятно сажы высотой в человеческий рост на внешней стене, там, где двое бродяг когда-то нахально разожгли костер, чтобы зажарить карпа, не было на совести Толлисов. В течение долгого времени в траве перед входом лежал сморщенный башмак, который постепенно объедали кролики. Сегодня Брайони его уже не увидела — всему приходит конец. Мысль о том, что храм надел черную повязку в знак траура по сгоревшему дому, что он оплакивает давнее величественное прошлое, рождала смутно религиозное ощущение. Призрак трагедии, витавший над храмом, спасал его от того, чтобы считаться чистой фальшивкой.

Трудно долгое время хлестать палкой по крапиве и не сочинить какую-нибудь историю. Вскоре Брайони, поглощенная своими мыслями, уже испытывала зловещее удовольствие, хотя со стороны казалась обычной девочкой, пребывавшей в плохом настроении. Она нашла гибкую ореховую веточку и ободрала с нее кору. Предстояла работа, за которую она и принялась. Высокая самодовольная крапива с жеманно склоненной головкой и нижними листьями, простертыми, словно руки ищущей защиты невинности, была Лолой, и, как бы она ни молила о пощаде, изогнувшийся дугой свистящий трехфутовый прут скосил ее, заставив опуститься на колени. Брайони ощутила слишком большое удовлетворение, чтобы остановиться на этом, и несколько следующих стеблей крапивы тоже были назначены Лолой. Одна, склонявшаяся к уху соседки и что-то ей нашептывавшая, получила сильнейший удар по губам; вторая стояла отдельно от других, склонив голову набок, и явно замышляла какую-то коварную интригу; еще одна корчила из себя аристократку перед кучкой юных обожателей и рассказывала им всякие небылицы про Брайони. Очень жаль, но обожателям придется умереть вместе с ней. Каждая следующая крапивина наделялась одним из многочисленных пороков Лолы: гордыней, обжорством, корыстолюбием, упрямством — и была обречена пасть. В последнем припадке злобы все они валились Брайони под ноги, сияясь ужалить. Когда «Лола» получила сполна и умерла окончательно, три пары молодых крапивных побегов поплатились за актерскую бесталанность близнецов — возмездие было хладнокровным, без снисхождения к нежному возрасту. Потом несколько кустов крапивы воплотили в себе сам акт написания пьесы. Опустошенность, зря потраченное время, неразбериха, царящая в головах других людей, безнадежность

притворства — в саду искусств это были семена, подлежащие уничтожению.

Расквитавшись с драматургией и почувствовав себя от этого значительно бодрее, Брайони осторожно, чтобы не наступить на битое стекло, стала обходить храм по кругу там, где трава беспорядочно росла вперемешку с проклюнувшимися семенами ближайших деревьев. Расправа с крапивой символизировала самоочищение, и теперь Брайони переключилась на детство, в котором больше не нуждалась. Какое-то хилое растеньице стало для нее символом всего, чем она жила до сих пор. Но этого было мало. Для устойчивости чуть расставив ноги, она избавилась от себя прежней, один за другим нанеся тринадцать — по числу прожитых лет — сокрушительных ударов по растеньицу. Девочка гневно обрушивалась на жалкую несамостоятельность младенчества и раннего детства, на школярское желание показать себя и заслужить похвалу, на глупую гордость, испытанную в одиннадцать лет от написания первого рассказа, на зависимость от маминого одобрения. Ошметки листьев и стеблей летели через ее левое плечо и ложились у ее ног за спиной. Гибкий кончик прута, рассекая воздух, издавал сопряженный звук двух тонов, словно взвизгивал: «Хва-тит! Кон-чено! Вот тебе!»

Вскоре действие так захватило Брайони, что она стала мысленно произносить в такт ударам текст несуществующей газетной статьи: «Никто в мире не может сравниться с Брайони Толлис, которая в будущем году будет представлять свою страну на Берлинской олимпиаде и, несомненно, завоюет там золото. Специалисты с восхищением изучают ее технику: она предпочитает фехтовать босиком, поскольку это позволяет лучше удерживать равновесие, что так важно в столь сложном виде спорта. Положение каждой ступни играет важную роль — взгляните, как она управляет запястьем, как точно направляет рапиру, как распределяет вес тела и меняет положение ног, чтобы вложить в удар максимум силы. Обратите внимание на ее отличительную особенность вытягивать пальцы свободной руки — рядом с ней некого поставить. Младшая дочь высокого государственного чиновника — самоучка. Посмотрите, как сосредоточенно она вычисляет угол удара, никогда не промахивается, поражая каждый крапивный куст с нечеловеческой точностью. Только посвятив этому жизнь, можно добиться подобного мастерства. Страшно подумать, что она чуть было не потратила жизнь на написание пьес!»

Вдруг Брайони услышала, как на первом мосту позади нее громыкает двуколка. Леон — наконец-то! Она представила взгляд брата: неужели это его маленькая сестренка, которую он всего три месяца назад видел на

вокзале Ватерлоо? И вот пожалуйста, теперь она член международной спортивной элиты. Из какого-то странного упрямства Брайони не позволила себе оглянуться и тем самым дать понять, что видит его; он должен знать, что отныне она независима от чьего бы то ни было мнения, даже от его. Она — признанный мастер, полностью поглощенный премудростями своего искусства. К тому же никуда он не денется, ему придется остановить двуколку и подбежать к ней, а она со страдальческим смирением простит ему то, что он ей помешал.

Затухающий на втором мосту шорох колес и цокот копыт Брайони истолковала как уважение брата к ее профессиональным занятиям и умение соблюдать дистанцию. Тем не менее, рубя на ходу траву и продолжая огибать храм, пока дорога не исчезла из виду, она испытала легкую грусть. Оставленный позади путь был отмечен неровными контурами поверженной крапивы и запечатлелся на ее ступнях и щиколотках зудящими белыми волдырями. Кончик орехового прута пел, извиваясь, листья и стебли разлетались в стороны, но различать восторженные возгласы толпы становилось все труднее. Картина, нарисованная воображением, блекла, удовольствие от движения и балансирования собственным телом притуплялось, уставшая рука начинала болеть. Брайони снова превращалась в одинокую девочку, прутиком сбивавшую крапивные головки, и наконец остановилась, отбросила прут к деревьям и осмотрелась.

Этот момент возвращения, приспособления заново ко всему, что было прежде и что каждый раз казалось чуть хуже, чем в прошлый раз, неизменно был расплатой за временное забвение в фантазиях. Грезы, еще недавно казавшиеся такими яркими, исполненными таких правдоподобных деталей, перед лицом тяжелого монолита реальности оборачивались мимолетной глупостью. И вернуться в них было чрезвычайно трудно. «Проснись», — бывало, шептала ей сестра, чтобы пробудить от дурного сна. Брайони утрачивала божий дар творения, но безжалостно очевидной эта утрата становилась именно в такие моменты возвращения. Отчасти очарование ее оков наяву заключалось в иллюзии, будто она беззащитна перед их логикой: в силу международной конкуренции она вынуждена на самом высоком уровне соревноваться с лучшими спортсменами мира, к этому обязывает ее собственное превосходство в своем виде спорта — сбивании крапивы прутом. Она должна из кожи вон лезть, чтобы не обмануть ожиданий ревушей толпы, чтобы быть лучшей и — что важнее всего — неповторимой. Но конечно же, от себя не уйдешь, и вот она уже снова в этом мире, не в том, который создала сама, а в том, который создал

ее, и чувствует, как невольно съезживается под гаснущим в преддверии вечера небом. Ей надоело бродить по парку, но и вернуться в дом она еще не готова. Неужели в жизни больше нигде существовать — только «в доме» или «вне дома»? Неужели человеку больше нигде быть? Брайони повернулась спиной к храму и медленно направилась к мосту по лужайке, идеально «подстриженной» кроликами. Перед ней, подсвеченное заходящим солнцем, висело облако мошек, и каждая из них непредсказуемо дергалась в его пределах, словно привязанная невидимой эластичной нитью, — таинственный танец ухаживания или безудержное буйство насекомых, смысл которого ей не дано постичь? В мятежном порыве чувств Брайони вскарабкалась по крутому поросшему травой склону на мост и, остановившись на его проезжей части, решила, что не пошевелится, пока не получит какого-нибудь знака. Это был вызов, который она бросала жизни, — она не двинется с места, чтобы успеть к ужину, пусть даже ее позовет мама. Брайони просто останется здесь, на мосту, спокойно и трезво ждать, пока события, реальные события, а не ее фантазии не ответят на вызов и не развеют миф о ее собственной незначительности.

VIII

К концу дня высокие облака образовали в западной части неба тонкий желтоватый накат, который еще через час окрасился в более интенсивный цвет и уплотнился, повиснув чистым оранжевым свечением над гигантским гребнем парковых деревьев; листья стали орехово-коричневыми, между ними мерцали маслянисто-черные ветви, а высохшая трава впитала краски неба. Такой пейзаж — особенно когда небо и земля приобрели красноватый оттенок, а неохватные стволы старых дубов почернели настолько, что начали отливать синевой, — мог бы придумать только фовист, приверженный невероятному смещению ярких цветов. Хотя закатное солнце теряло силу, температура, казалось, даже повысилась, потому что ветер, весь день приносивший хоть какое-то облегчение, стих, а воздух стал неподвижным и тяжелым.

Если бы Робби Тернер потрудился вылезти из ванны, присесть и изогнуть шею, ему сквозь запечатанное слуховое окошко был бы виден этот пейзаж, по крайней мере небольшая его часть. Весь день крохотная спальня Робби, ванная и зажатая между ними каморка, которую он называл своим кабинетом, жарились под южным скатом крыши бунгало. Вернувшись после работы, он больше часа лежал в чуть теплой ванне, пока его кровь и раскаленные мысли не согрели воду. Небо, заключенное в квадрат окна над головой, постепенно меняло цвет в пределах определенного отрезка спектра: от желтого до оранжевого; точно так же одни чувства самого Робби плавно перетекали в другие, прежде незнакомые, а воспоминания последовательно чередовались. Ему это не надоедало. Время от времени, по мере того как он припоминал ту или иную подробность, мускулы его живота под слоем воды в дюйм толщиной непроизвольно напрягались. Капля у нее на плече. Мокром плече. Цветок, простая ромашка, вышитая между чашечками лифчика. Грудь, маленькие и широко расходящиеся. На спине, полуприкрытая бретелькой, — родинка. Когда она вылезла из воды, сквозь ткань проступил темный треугольник, который скрывали сухие панталоны. Мокрый треугольник. Он отчетливо видел его, снова и снова прокручивая в памяти эту сцену. Ткань, под которой просвечивала кожа, обтягивавшая бедра, изящный изгиб талии, пугающая бледность. Когда она наклонилась, чтобы подхватить юбку, и приподняла ступню, на подушечках обворожительно маленьких пальчиков обнаружилось пятнышко земли. На бедре — еще одна родинка, размером с

фартинг, а на голени — что-то красное. Пятно от клубники, шрам? Это не портило ее. Украшало.

Он знал ее с детства, но никогда не разглядывал. В Кембридже она как-то раз зашла к ним в общежитие с девушкой в очках из Новой Зеландии и какой-то школьной подругой; у него в гостях как раз был друг из Даунинг-колледжа. Все празднично просидели около часа, передавая по кругу сигареты и немного настороженно шутя. Время от времени они встречались на улице и улыбались друг другу. Казалось, она испытывала при этом неловкость и, может быть, пройдя мимо, шептала на ухо подруге: «Это сын нашей уборщицы». Робби хотел, чтобы все знали: ему это безразлично. Однажды он даже сказал приятелю: «Вон дочь хозяина моей матери». Робби служили защитой его политические убеждения, научно обоснованная теория классов, а также несколько преувеличенное чувство уверенности в себе. Я — то, что я есть! Она была ему вроде сестры, с которой редко видишься. Продолговатое узкое лицо, маленький рот — если бы он когда-нибудь о ней вообще думал, то мог бы сказать, что в ее облике есть что-то от лошади. Теперь он видел: это своеобразная красота — нечто резкое, застывшее, особенно вокруг скошенных скул, и трепетные ноздри; пухлые, блестящие, как розовый бутон, губы. Глаза темные и задумчивые. Статная, но движения быстрые и порывистые — если бы она так внезапно не выхватила вазу у него из рук, вещь была бы целехонька. Она здесь мается, это очевидно, домашний уклад Толлисов ее раздражает и душит, долго она не выдержит, уедет.

Скоро ему придется с ней поговорить. Наконец Робби дрожа вылез из ванны с полным осознанием того, что его ждут большие перемены. Без одежды он проследовал через кабинет в спальню. Неубранная постель, беспорядочно разбросанная одежда, полотенце на полу, тропическая жара в комнате — во всем этом ощущалась некая изломанная чувственность. Он ничком растянулся на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и застонал. Милая, грациозная подруга детства — теперь она может оказаться для него недостижимой. Раздеться вот так, вызывая откровенно — да, в этом была подкупающая попытка вести себя эксцентрично, но кустарный пароксизм ее отваги выглядел несколько нарочитым. Теперь она будет мучиться раскаянием, ей не понять, что она с ним сделала. Все бы ничего, все можно было бы спасти, если бы она не была так сердита из-за вазы, горлышко которой откололось прямо у него в руках. Но Сесилия нравилась ему даже в гневе. Он перевернулся на бок, уставился в одну точку и предался фантазиям, напоминавшим кадры из фильма: вот Сесилия барабанит кулачками по лацканам его пиджака, но уже в следующий миг, тихо

всхлипнув, падает в его крепкие объятия, и они сливаются в поцелуе. Не то чтобы она его прощает — сдается. Робби мысленно прокрутил эту сцену несколько раз, прежде чем вернуться к реальности: Сесилия на него злится и будет злиться еще сильнее, когда узнает, что его позвали на сегодняшний ужин. Там, на слепящем свете, он не успел сообразить, что следует отказаться от приглашения Леона. Он автоматически пробормотал «спасибо», а в результате придется терпеть ее раздражение. Представив снова, как Сесилия разделась перед ним — невозмутимо, словно он был ребенком, — Робби опять застонал, не заботясь о том, что его услышат внизу. Ну разумеется. Теперь он отчетливо это понимал, и мысль об этом была унижительной. Вот он, факт, не подлежащий сомнению: унижение. Она хотела его унижить. В ней есть не только обаяние, и он не может позволить себе унижаться перед ней, потому что в этой девушке заключена сила, которая может выбросить его на поверхность, а может и потянуть ко дну.

Но возможно — он перевернулся на спину, — не следует принимать ее гнев за чистую монету? Разве этот гнев не был театрально-показным? Наверняка, даже демонстрируя ему ярость, она имела в виду что-то другое. Даже в ярости она хотела напомнить ему, как она хороша, вызвать его восхищение. Или он выдает желаемое за действительное, потакая своим надеждам и желаниям? А что еще ему остается делать? Скрестив ноги и заложив руки за голову, Робби наслаждался прохладой, ощущавшейся высыхающей кожей. Что бы сказал в этом случае Фрейд? Ну, например: прячась за маской гнева, она подсознательно хотела разоблачиться перед ним. Жалкая надежда! Скорее это было демонстрацией того, что Сесилия не считает его мужчиной. Приговор. И муки, которые он теперь испытывает, — наказание за то, что он испортил дурацкую вазу. Ему вообще не следовало бы больше встречаться с Сесилией, но придется, причем сегодня вечером. У него нет выбора — он пойдет. И она будет его за это презирать. Да, конечно, следовало отказаться от приглашения Леона, но в тот момент у него заколотилось сердце, и «спасибо» само собой сорвалось с языка. Вечером они окажутся в одной комнате, и он будет знать, что под одеждой скрывается тело, которое он видел, бледная кожа, родинки и то клубничное пятно... Лишь он один, ну и Эмилия, разумеется, будут это знать. Но думать об этом будет только он. А Сесилия не станет с ним разговаривать и смотреть на него. Все же и это лучше, чем лежать тут и стонать. Нет, не лучше. Хуже, но он все равно этого жаждет. Он должен через это пройти. Он хочет, чтобы было хуже.

Наконец Робби встал, кое-как оделся, отправился к себе в кабинет,

уселся за пишущую машинку и стал думать: что же ему ей написать. Так же как спальня и ванная, приплюснутый кабинет располагался под южным скатом крыши и представлял собой лишь узкий проход между ними, не более шести футов в длину и пяти в ширину. Так же как два других помещения, он освещался через слуховое окно в грубой сосновой раме. В углу была свалена альпинистская амуниция Робби — ботинки, альпеншток, кожаный рюкзак. Большую часть комнатки занимал иссеченный ножом кухонный стол. Откинувшись на задних ножках стула, Робби обозрел поверхность стола, как обозревают прожитую жизнь. На одном конце, прислоненная к скошенной стене, лежала стопка папок и тетрадей, оставшаяся там с тех пор, как он несколько месяцев назад готовился к выпускным экзаменам. Записи ему больше не пригодятся, но в них вложено слишком много труда и слишком много успехов связано с ними, чтобы он мог уже сейчас равнодушно выкинуть их. Наискосок от папок лежали его туристские карты — карта Северного Уэльса, Гэмпшира, Суррея и еще карта, по которой он прокладывал маршрут несостоявшегося похода в Стамбул. Там же находился компас со смотровой щелью, им Робби пользовался, когда без карты совершал поход в бухту Лалворт.

Еще дальше — томик стихотворений Одена и «Парень из Шропшира» Хаусмена. На другом конце стола были сложены книги по истории, теоретические трактаты и практические руководства по парковому дизайну. Поверх листов с десятью напечатанными на машинке стихотворениями лежал официальный отказ, присланный из журнала «Критерион». Он был подписан лично мистером Элиотом. Поближе к тому месту, где сидел Робби, были собраны книги, отражавшие его нынешние интересы. «Анатомия» Грея была заложена стопкой листов с его собственными рисунками. Робби поставил себе цель зарисовать и выучить наизусть все кости руки и сейчас попытался отвлечься, просматривая их и бормоча названия костей: головчатая, крючковатая, трехгранная, полулунная... Лучшие из сделанных им пока чернилами и цветными карандашами рисунков изображали сечение пищеварительного тракта и дыхательных путей и были прикреплены кнопками к балке над столом. Из высокой оловянной пивной кружки с отломанной ручкой торчали перья и карандаши. Пишущую машинку, новейшую модель «Олимпия», ему подарил и вручил в библиотеке перед обедом Джек Толлис в день, когда ему исполнился двадцать один год. Леон, так же как его отец, произнес тогда речь. Сесилия, разумеется, при том присутствовала, но Робби не помнил, что она тогда сказала. Не злится ли она теперь именно потому, что он много лет не обращал на нее внимания? Жалкая надежда.

На дальнем конце стола — фотографии: участники спектакля «Двенадцатая ночь» на лужайке перед колледжем, он сам — в роли Мальволио, с перекрещенными подвязками. Весьма кстати. Был там еще один групповой снимок: Робби и тридцать французских школьников, которым он преподавал в интернате неподалеку от Лиля. В выкрашенной ярь-медянкой металлической рамке — фотография родителей, Грейс и Эрнеста, сделанная на третий день после их свадьбы. На заднем плане переднее крыло автомобиля — разумеется, им не принадлежавшего, а еще дальше на фоне кирпичной стены сушиллка для хмеля. Грейс любила рассказывать, как чудесно они провели медовый месяц: две недели вместе с семьей мужа собирали хмель и спали в цыганском таборе, расположившемся во дворе фермы. На отце была рубашка без воротничка. Шейный платок и веревочный поясик на фланелевых брюках должны были, вероятно, шутливо символизировать романский колорит. У него была круглая голова и круглое лицо, но он отнюдь не казался веселым, улыбке перед объективом, лишь слегка тронувшей губы, не хватало добродушия. Отец не держал за руку молодую жену, а стоял, сложив руки на груди. Мать же, напротив, склонилась к нему, положив голову на плечо и неловко вцепившись обеими руками в его рукав. Всегда задорная и добродушная, Грейс улыбалась за двоих. Но жаждущих рук и доброго нрава оказалось недостаточно. Казалось, уже тогда Эрнест в мыслях был где-то далеко, там, куда семь лет спустя он отправился без вещей, презрев должность садовника Толлисов и свое бунгало, не оставив даже прощальной записки на кухонном столе, бросив жену и шестилетнего сына гадать о причинах его поступка.

Среди листков с проверочными упражнениями по парковому дизайну и анатомии валялись письма и почтовые открытки: конверты официальных учреждений, послания от наставников и друзей, поздравлявших Робби с первым местом по итогам экзаменов, — их он до сих пор любил перечитывать — и более поздние, в которых они интересовались его дальнейшими планами. Самое последнее, написанное коричневыми чернилами на бланке одного из департаментов Уайтхолла, было от Джека Толлиса и уведомляло о согласии оплатить его учебу в медицинском колледже. Там же лежали бланки приемных документов — целых двадцать страниц — и толстые, с плотным текстом справочники для абитуриентов, присланные из Эдинбурга и Лондона. Педантичный, занудный стиль изложения наводил на мысль о ранее неведомом Робби академическом ригоризме. Сегодня эти книги сулили ему не приключение и новое начало, но изгнание. Думая о будущем, он представлял унылую улицу,

находившуюся далеко отсюда, с рядом стандартных домов, келью со стенами, обклеенными обоями в цветочек, кровать, застеленную вышитым «фитильками» покрывалом, серьезных новых приятелей, гораздо более молодых, чем он, ванночки с формальдегидом, гулкие лекционные залы — все совершенно чуждое Сесилии.

С полки, где стояли книги по парковой архитектуре, Робби достал том о Версале, позаимствованный в библиотеке Толлисов в тот день, когда он впервые заметил, что неловко чувствует себя в присутствии Сесилии. Наклонившись, чтобы снять грязные рабочие башмаки, он обратил внимание на свои носки, продырявленные на пальцах и пятках, дурно пахнувшие, и не раздумывая стянул их. Каким же идиотом он выглядел, шлепая за ней босиком в библиотеку через холл! Единственным его желанием было тогда убраться оттуда как можно скорее. Уходя, он прошмыгнул через кухню и вынужден был позднее послать Дэнни Хардмена к парадному входу за башмаками и носками.

Наверняка Сесилия не читала этого трактата по гидравлике Версаля, написанного в восемнадцатом веке неким Даном, восхвалявшим на латыни это гениальное творение рук человеческих. С помощью словаря Робби одолел утром пять страниц, потом сдался и ограничился просмотром иллюстраций. Эта книга не во вкусе Сесилии, да и вообще ни в чьем, но именно ее, стоя на стремянке, она достала и вручила ему, и, следовательно, на книге есть отпечатки ее пальцев. Приказывая себе не делать этого, Робби тем не менее поднес книгу к лицу и вдохнул. Запах пыли, старой бумаги, мыла, которым он мыл руки, — ничего, что принадлежало бы ей. И почему это он незаметно погрузился в трясину фетишизации предмета обожания? Несомненно, у Фрейда в «Трех этюдах о сексуальности» об этом что-то сказано. А также у Китса, Шекспира, Петрарки и прочих, и в «Романе о розе» тоже. Три года Робби хладнокровно изучал симптомы болезни, казавшиеся ему не более чем литературным вымыслом, и вот как какой-нибудь длинноволосый рыцарь в шляпе с плюмажем, в одиночестве бродящий по опушке леса и созерцающий объект мечтаний, он сам теперь боготворит любимые следы — даже не платок, а отпечатки пальцев! — и чахнет, не замечаемый своей прекрасной дамой.

При всем при том, заправляя бумагу в пишущую машинку, Робби не забыл о копирке. Поставив дату и напечатав приветствие, он немедленно приступил к светским извинениям за свое «неловкое и необдуманное поведение». Потом остановился. Следует ли ему открыть свои чувства, и если да, то до какой степени?

«Если это может служить хоть каким-то оправданием, то в последнее

время я стал замечать, что в твоём присутствии теряю голову. Никогда прежде я и помыслить не мог войти в чей-то дом босиком. Должно быть, у меня был жар!»

Как беспомощно выглядели эти оправдания! Робби напоминал себе человека, тяжело больного туберкулезом, но притворяющегося, будто у него лишь простуда. Дважды нажав на рычаг перевода строк, он начал заново:

«Знаю, это едва ли меня оправдывает, но в последнее время рядом с тобой я впадаю в какое-то умственное расстройство. Чего стоит один проход босиком по твоему дому! И разве когда-нибудь раньше я разбивал старинные вазы?»

Прежде чем опять напечатать её имя, он посидел немного, положив пальцы на клавиатуру.

«Си, не думаю, чтобы дело было в высокой температуре!»

Теперь вместо шутки получалась мелодрама или жалоба. Риторический вопрос звучал холодно, а за восклицательными знаками обычно прячется тот, кто не может выразиться яснее. Подобную пунктуацию Робби прощал только матери, в чьих письмах частокол из пяти восклицаний обозначал очень веселую шутку. Сдвинув валик назад, он забил последнюю фразу:

«Сесилия, не думаю, что во всем виновата лихорадка».

Теперь предложение оказалось лишенным всякого юмора и приобрело жалостливый оттенок. Восклицательный знак, пожалуй, следовало вернуть на место. Очевидно, его роль не сводится исключительно к тому, чтобы усиливать интонацию.

Робби ещё с четверть часа пытался усовершенствовать текст с помощью мелких поправок, потом вставил в машинку чистую бумагу и начал печатать набело. Ключевые фразы выглядели так:

«Никто не осудил бы тебя, если бы ты сочла меня сумасшедшим за то, что я разулся при входе в твой дом или выхватил у тебя из рук старинную вазу. Дело в том, что в твоём присутствии я глупею и становлюсь почти безумным. Си, не думаю, что причиной тому — жар! Можешь ли ты простить меня? Робби».

Потом, балансируя на задних ножках стула, он несколько минут поразмышлял о том, что его «Анатомия» в последние дни неизменно открыта на одной и той же странице, придвинулся к столу и быстро застучал:

«В мечтах я целую твою промежность, твою сладостную влажную промежность. Мысленно я дни напролет предаюсь с тобой любви».

Ну вот — испортил. Испортил страницу. Робби выдернул лист из машинки, отложил в сторону и написал письмо от руки, сочтя, что это придаст посланию личностный оттенок, более соответствующий задаче. Взглянув на часы, он вспомнил, что нужно еще успеть начистить туфли, и встал из-за стола, не забыв пригнуть голову, чтобы не стукнуться о балку.

Он никогда не испытывал неловкости из-за своего социального положения. Как-то во время ужина в Кембридже во внезапно наступившей за круглым столом тишине некто, не симпатизировавший Робби, громко спросил его о родителях. Глядя прямо в глаза вопрошавшему, тот со всей любезностью ответил, что отец бросил их много лет назад, а его мать служит уборщицей и иногда подрабатывает в качестве ясновидящей. Его тон был исполнен спокойной терпимости к невежеству человека, задавшего вопрос. Робби детально изложил обстоятельства своей жизни, после чего вежливо поинтересовался родителями собеседника. Кое-кто считал, что такое поведение объяснялось невинностью или стремлением игнорировать существующее мироустройство, попыткой защититься от болезненных ударов судьбы. Некоторые даже полагали, что Робби был своего рода блаженным, который может пройти по враждебной гостинной, как маг по горячим углям, не причинив себе вреда. Но Сесилия знала: правда много проще. Все свое детство Робби свободно курсировал между бунгало и хозяйским домом. Джек Толлис был его покровителем, Леон и Сесилия — лучшими друзьями, по крайней мере в школьные годы. В университете, поняв, что он гораздо умнее большинства окружающих, Робби окончательно избавился от комплексов. Там даже заносчивость была ни к чему.

Грейс Тернер с радостью обстирывала его — как еще, если не считать горячих обедов, могла она выказать материнскую любовь двадцатитрехлетнему сыну? Но чистить обувь Робби предпочитал сам. В белой майке и брюках от костюма он сбежал по короткому лестничному маршу в одних носках, держа в руках черные спортивные башмаки. Перед гостинной был узкий коридорчик, заканчивавшийся входной дверью. В нее было вставлено «морозное» стекло, через которое с улицы проникал красновато-оранжевый свет. Этот свет делал неожиданно выпуклыми бежево-оливковые обои, разрисованные огненными сотами. Удивленный подобным эффектом, Робби, уже взявшись за дверную ручку, задержал на них взгляд, потом вошел в гостиную. Воздух в комнате был влажным, теплым и чуть соленым. Должно быть, только что кончился сеанс. Мать лежала на диване, положив ноги на валик, на кончиках пальцев болтались ковровые тапочки.

— Молли приходила, — сказала она и села, чтобы продемонстрировать готовность к беседе. — Рада тебе сообщить, что у нее все будет хорошо.

Поставив принесенный из кухни ящик с обувными принадлежностями, Робби сел в ближайшее к матери кресло и разложил на полу «Дейли скетч» трехдневной давности.

— Ты молодец, — сказал он. — Я слышал, ты занята, поэтому прошел прямо в ванную.

Он знал, что скоро нужно будет уходить, а до этого еще предстояло начистить туфли, но откинулся на спинку кресла, вытянулся во весь свой немалый рост и зевнул:

— Пора отделить зерна от плевел! Что я делаю со своей жизнью?

В его тоне было больше иронии, чем горечи. Сложив руки на животе, он уставился в потолок.

Мать посмотрела куда-то поверх его головы.

— Слушай, я чувствую, что-то происходит. Что с тобой творится? Только не вздумай этого отрицать.

Грейс Тернер начала служить у Толлисов через неделю после того, как сбежал Эрнест. У Джека Толлиса даже мысли не возникло выселить молодую женщину с ребенком из бунгало. Он нашел в деревне нового садовника и мастера, который не нуждался в жилье. Поначалу было решено, что домик останется за Грейс еще на пару лет, пока она не надумает переехать или снова не выйдет замуж. Ее добрый нрав и мастерство в полировке мебели — пристрастие Грейс именно к этой работе даже стало предметом семейных шуток — снискали ей популярность, но истинным спасением и возможностью вывести в люди Робби стала для нее пылкая любовь к шестилетней Сесилии и восьмилетнему Леону. Во время каникул Грейс разрешалось приводить с собой шестилетнего сына. Робби позволяли играть в детской и прочих комнатах, доступных детям, а также в саду. В лазанье по деревьям компанию ему составлял Леон, Сесилия была сестренкой, которая доверчиво держалась за его руку и для которой он был кладезем знаний. Несколько лет спустя, когда Робби завоевал стипендию на обучение в местной классической гимназии, Джек Толлис сделал первый шаг на пути долгосрочного патронажа, оплатив школьную форму и учебники юного Тернера. В том самом году родилась Брайони. Роды были трудными, и Эмилия долго хворала. Как незаменимая помощница в доме Грейс еще более укрепила свои позиции. На утро Рождества 1922 года Леон в высокой шляпе и брюках для верховой езды по поручению отца протопал по снегу к бунгало, держа в руках зеленый конверт. Поверенный мистера

Толлиса уведомлял, что отныне бунгало официально принадлежит Грейс, независимо от того, будет ли она и дальше служить у Толлисов. Но Грейс не захотела уходить, просто теперь, когда дети выросли, вернулась к хозяйственным заботам, особое внимание уделяя безупречной полировке мебели.

Что касается Эрнеста, то ее легенда гласила, будто он отправился на фронт под чужим именем и не вернулся с войны. Иначе полное отсутствие у бывшего мужа Грейс желания узнать хоть что-то о собственном сыне выглядело бы бесчеловечным. Каждое утро, направляясь из своего бунгало в большой дом, Грейс размышляла о милостях, которые даровала ей судьба. Эрнеста она всегда немного побаивалась. Возможно, с ним она и не была бы так счастлива, как счастлива теперь, живя в собственном маленьком домике со своим гениальным сыном. Конечно, если бы мистер Толлис оказался другим человеком... Среди женщин, которые приходили к ней за шиллинг заглянуть в будущее, было немало таких, которых бросили мужья, еще больше — потерявших мужей на войне. Они вели весьма скромную жизнь, нуждались, и сама она легко могла бы оказаться на их месте.

— Ничего, — вопреки ее просьбе ответил Робби. — Со мной ничего не происходит. — Он смазал туфли гуталином и взял в руки щетку. — Значит, будущее Молли обещает быть радужным?

— В течение пяти лет ей предстоит снова выйти замуж. Она встретит мужчину с Севера, имеющего профессию, и будет очень счастлива.

— Меньшего она и не заслуживает.

В мирной тишине Грейс наблюдала, как Робби полирует свои туфли желтой бархоткой. Мышцы его красивых скул подергивались в такт движениям, а на руках то взбухали, то опадали, играя под кожей. Должно быть, есть высшая справедливость в том, что Эрнест подарил ей такого сына.

— Стало быть, ты уходишь?

— Леон приехал, я встретил его, когда он въезжал в поместье. Он уговорил меня прийти на ужин. С ним его друг, ну, тот, шоколадный магнат, знаешь?

— Конечно, я ведь полдня начищала серебро и убирала в его комнате.

Робби встал с туфлями в руке.

— Глядя на свое отражение в серебряной ложке, я буду видеть тебя.

— Да ладно тебе. Твои рубашки висят в кухне.

Он сложил в ящик обувные принадлежности, отнес его на место, в кухню, там же из трех висевших на плечиках рубашек выбрал льняную, кремовую. Когда Робби снова проходил через гостиную, ей захотелось еще

немного задержать его:

— Эти маленькие Куинси... Бедные овечки. Один из мальчиков даже промочил постель.

Замешкавшись в дверях, Робби пожал плечами. Сегодня утром он видел их у бассейна. Визжа и хохоча, мальчишки пытались закатить на глубину его тачку и сделали бы это, не помешай он им. А Дэнни Хардмен, которому положено было работать, околачивался рядом, пялясь на их сестру.

— Ничего, они как-нибудь выживут, — сказал Робби.

Ему не терпелось поскорее уйти. Взбежав по лестнице через три ступеньки к себе в комнату, чтобы наскоро завершить туалет, он, наклонившись и глядя в зеркало на внутренней стенке дверцы гардероба, напмадил и причесал волосы, фальшиво при этом насвистывая. У него не было музыкального слуха, он не мог отличить одну ноту от другой, но, окончательно решившись идти на ужин, чувствовал себя взволнованным и, как ни странно, свободным. Хуже, чем есть, все равно быть не может. Методично, словно готовясь к рискованному путешествию или воинскому подвигу и наслаждаясь своей сноровистостью, он привычно положил в карман ключи, проверил бумажник — там лежала банкнота в десять шиллингов, почистил зубы, прикрыл рот ковшиком ладони и выдохнул, чтобы проверить чистоту дыхания, схватил со стола письмо, вложил его в конверт, набил портсигар, нащупал в кармане зажигалку. В последний раз осмотрел себя в зеркале: широко улыбнулся, приоткрыв зубы, повернулся в профиль, потом спиной — обозрел вид сзади через плечо. Наконец, хлопав карманы, ринулся вниз по лестнице, снова прыгая через три ступеньки, крикнул матери «пока» и вышел на узкую, мощенную кирпичом дорожку, бежавшую меж цветочных бордюров к воротцам в заборе из штакетника.

В последующие годы он нередко будет мысленно возвращаться к этим минутам, вспоминать, как, срезая угол, шагал через дубовую рощу по тропинке, потом вышел на дорогу там, где она сворачивала к озеру и вела дальше — к дому. Он не опаздывал, но с трудом сдерживал шаг. В насыщенности тех минут сплеталось множество отчетливых и смутных приятных ощущений: красноватая догорающая заря, неподвижный теплый воздух, напоенный ароматами высохших трав и разогретой земли, расслабленные после дневной работы в саду ноги и руки, кожа, гладкая от долгого лежания в ванне, ощущение прикосновения к ней рубашки и ткани костюма — его единственного костюма. Предвкушение и страх увидеть ее были тоже своего рода чувственным наслаждением. И надо всем этим,

словно осеняя все вокруг, царил душевный подъем. Это могло причинять боль, рождать чувство страшной неловкости, из этого могло ничего хорошего не выйти, но Робби открыл для себя, что значит быть влюбленным, и испытывал приятное возбуждение. Радость вливалась в него и по другим притокам: он все еще гордился тем, что оказался лучшим в своем выпуске. А теперь вот и от Джека Толлиса пришло подтверждение: он готов субсидировать продолжение учебы Робби. Нет, впереди вовсе не изгнание, а новое приключение — внезапно Робби это отчетливо понял. Хорошо и правильно, что он решил изучать медицину. Он не мог бы объяснить причину своего оптимизма, просто был счастлив и, следовательно, обречен на успех.

Одно-единственное слово заключало в себе все, что он чувствовал, и объясняло, почему впоследствии он будет так часто вспоминать именно эти минуты. Свобода. Свобода в жизни, свобода в мышцах. Давным-давно, когда он еще ничего не слышал ни о какой классической гимназии, его записали на экзамен, который вскоре предстояло сдать. Как бы ни нравился ему Кембридж, этот университет тоже был не его выбором, а выбором честолобивого классного наставника. Даже профессию predetermined Робби харизматический учитель. Но теперь наконец начинается самостоятельная взрослая жизнь. Робби словно сочинял рассказ, героем которого был сам, и начало истории немного шокировало его друзей. Парковый дизайн был не более чем богемной фантазией, равно как и сомнительная амбиция — так он сам анализировал свои психологические мотивы по Фрейду — заменить или превзойти отсутствующего отца. Школьное наставничество — через пятнадцать лет должность руководителя секции английского языка и литературы и табличка «М-р Р. Тернер, магистр искусств в области педагогики, Кембридж» — не находило отражения в сюжете, не было там и преподавания в университете. Несмотря на первое место в выпуске, изучение английской литературы казалось ему теперь лишь увлекательной интеллектуальной игрой, а чтение книг и рассуждения о них — не более чем желательным атрибутом цивилизованного существования. Но оно не было стержнем жизни, что бы ни говорил на лекциях доктор Ливис. Оно не являлось объектом священного поклонения, смыслом жизненно важных исканий пытливого ума, и даже не было первой и последней линией защиты перед лицом варварских орд, оно ничем не отличалось от изучения живописи, музыки или естественных наук.

В последний год учебы, посещая всевозможные собрания и лекции, Робби слышал, как психоаналитик, представитель коммунистического

профсоюза и физик ратовали за свою область деятельности с той же страстью и убежденностью, что Ливис — за свою. Вероятно, то же делали медики, но для Робби все имело личный характер: его склонной к практицизму натуре и неосуществленным научным устремлениям нужен был выход, занятия гораздо более изощренные, чем те, каким он предавался на ниве практической литературной критики. Кроме всего прочего, это будет его собственный выбор. Он снимет квартиру в чужом городе — и все начнет сначала.

Выйдя из рощи, Робби дошел до того места, где тропинка вливалась в главную дорогу. Гаснущий день укрупнял сумеречное пространство парка, и мягкий желтоватый свет в окнах на дальнем конце озера делал дом почти величественным и красивым. Она была там, возможно, в своей комнате, одевалась к ужину — ее окна отсюда не видно, оно на другой стороне дома, на третьем этаже, и выходит на фонтан. Он отогнал от себя пылкие мысли о ней, не желая являться в дом в возбужденном состоянии. Толстые подошвы его туфель громко шлепали по щебню — словно тикали гигантские часы, — и он обратился мыслями ко времени, его колоссальным запасам, к роскошеству неистраченного будущего. Никогда прежде он не чувствовал себя столь трепетно молодым и никогда не ощущал такой жажды, такого нетерпения начать новую жизнь. В Кембридже были преподаватели, обладавшие живым умом и все еще мирно игравшие в теннис и занимавшиеся греблей, хотя были на двадцать лет старше его. По крайней мере еще двадцать лет он сможет разворачивать свою жизненную историю, находясь приблизительно в такой же хорошей физической форме, — это почти столько же, сколько он уже прожил. Двадцать лет перенесут его вперед, к футуристической дате: 1955 год. Что важное, что не дано ему понять сейчас, откроется тогда? Суждено ли ему после этого прожить еще лет тридцать, отмеченных большей вдумчивостью?

Робби представил себя в 1962 году, в возрасте пятидесяти лет, то есть стариком, но не настолько дряхлым, чтобы стать бесполезным. К тому времени он будет опытным врачом, хранящим секреты многих трагедий и успехов в шкафах своего кабинета. В этих же шкафах будут собраны тысячи книг. Кабинет будет огромным, освещенным приглушенным светом, с развешанными по стенам трофеями, знаменующими этапы его жизни: редкие травы из тропических лесов, стрелы с отравленными наконечниками, несостоявшиеся изобретения в области электричества, фигурки из мыльного камня, ссохшиеся скальпы... На полках — медицинские справочники и, разумеется, собственные заметки и размышления Робби, а также книги, переполняющие сейчас его каморку в

мансарде, — поэзия восемнадцатого века, почти убедившая его стать парковым дизайнером, третье издание Джейн Остин, его Элиот, Лоренс, Уилфред Оуэн, полное собрание сочинений Конрада, бесценное издание «Деревни» Крабба 1783 года, его Хаусмен, экземпляр «Танца смерти» Одена с автографом автора. В этом весь фокус: будучи столь начитанным, он станет гораздо лучшим врачом, чем другие. Какие глубокие толкования его обостренная чувствительность сможет извлечь из человеческого страдания, саморазрушительного безрассудства или простого невезения, подталкивающих человека к болезням! Рождение, смерть, а между ними — бренность бытия. Восхождение и падение — это сфера ответственности врача, но и литературы тоже. Робби думал о романе девятнадцатого века: безграничная терпимость и широта взглядов, неназойливая душевная теплота и холодность суждений. Обладающий подобными качествами врач сможет противостоять чудовищным ударам судьбы и тщетным, смехотворным попыткам отрицать неизбежное; он уловит едва заметный пульс, услышит затухающее дыхание, почувствует, как начинает холодеть рука мечущегося в горячке больного, и осмыслит все, как умеют лишь литературные и религиозные учителя, ничтожество и благородство человечества...

В тишине летнего вечера мерный стук его шагов ускорился в такт бегу ликующих мыслей. Ярдах в ста впереди появился мост, а на нем — что-то белое, что поначалу показалось ему частью светлого каменного парапета. От усилий рассмотреть предмет очертания его расплывались, но, когда Робби подошел на несколько шагов ближе, они обрели абрис человеческой фигуры. С того расстояния, где он теперь находился, невозможно было определить, стоит человек к нему лицом или спиной. Фигура была неподвижна, но Робби чувствовал, что за ним наблюдают. Минуту-другую он тешил себя мыслью о привидении, хотя никогда не верил ни во что сверхъестественное, даже в то исключительно нетребовательное существо, которое осеняло старую церковь в деревне. Теперь он рассмотрел, что это ребенок в белом платье, стало быть, Брайони — он встречал ее сегодня в этом наряде. Да, вот она уже отчетливо видна. Он поднял руку и, помахав, крикнул:

— Это я, Робби.

Девочка осталась неподвижной.

Подходя, он вдруг подумал, что было бы лучше, если бы письмо предвосхитило его появление в доме. Иначе ему придется вручать его Сесилии в присутствии посторонних, быть может, при ее матери, которая относилась к нему прохладно с тех пор, как он вернулся домой. А может,

ему и вовсе не удастся передать письмо, потому что Сесилия постарается держаться от него подальше. Если письмо принесет Брайони, Сесилия успеет прочесть его и поразмыслить над ним в одиночестве. За эти несколько минут она, бог даст, смягчится.

— Не могла бы ты сделать мне одолжение? — спросил Робби, приблизившись.

Брайони молча кивнула.

— Беги вперед и отдай эту записку Сесилии. — Он вложил конверт девочке в руку, она приняла его, не произнеся ни слова. — Я приду через несколько минут, — продолжил он, но Брайони уже повернулась и побежала по мосту.

Облокотившись на парапет и наблюдая, как маленькая фигурка, подпрыгивая, удаляется, постепенно растворяясь в сумерках, Робби достал сигарету. Трудный у нее сейчас возраст, сочувственно подумал он. Сколько ей — двенадцать, тринадцать? Через несколько секунд Брайони скрылась из виду, потом он снова заметил ее, когда она бежала через остров — светлое пятно на фоне чернеющей массы деревьев, — потом снова потерял из виду и увидел опять лишь тогда, когда, миновав второй мост, она свернула с дорожки, чтобы срезать путь по траве. И вот тут-то его, внезапно пронзенного догадкой, охватил ужас. Неопределенный крик невольно вырвался у него. Он сделал несколько быстрых шагов, споткнулся, побежал, но вскоре снова остановился, поняв, что погоня бессмысленна. Сложив ладони рупором, он громко позвал Брайони, но и это уже не имело смысла. Робби пристально вглядывался в сгустившиеся сумерки, словно это могло помочь, и напрягал память, отчаянно пытаясь убедить себя, что ошибся. Но ошибки не было. Рукописный текст он оставил на «Анатомии» Грея, раскрытой на главе «Внутренние органы», страница тысяча пятьсот сорок шестая, раздел «Влагалище». А в конверт вложил печатный текст, лежавший рядом с машинкой. Здесь не требовалось даже никакого фрейдистского умствования — объяснение было предельно простым: текст безобидного письма чуть прикрывал рисунок номер тысяча двести тридцать шесть, изображавший бесстыдно распластанный венчик лобковых волос, а непристойное лежало на столе под рукой... Он еще раз выкрикнул имя Брайони, хотя понимал, что она должна быть уже у дома. И точно, через две секунды вдали обозначился прямоугольник бледно-желтого света, на фоне которого маячила ее фигурка, прямоугольник чуть расширился, на мгновение застыл, потом сузился и вовсе исчез — девочка вошла в дом, и дверь за ней закрылась.

IX

Дважды в течение получаса Сесилия выходила из своей комнаты, чтобы осмотреть себя в висевшем над лестницей зеркале с позолоченной рамой, и, недовольная собой, тут же возвращалась к гардеробу, чтобы выбрать другой наряд. Сначала она решила надеть черное крепдешиновое платье, которое, если верить зеркалу туалетного столика, после умелой подгонки обещало придать облику некоторую суровость. Благодаря темным глазам вид у нее в этом платье должен быть неприступным. Вместо того чтобы смягчить эффект с помощью нитки жемчуга, она достала из шкатулки ожерелье из блестящего гагата. Форму губ удалось изменить с помощью помады с первого же раза. Окинув взглядом свое отражение во всех трех створках трюмо в разных ракурсах, Сесилия с удовлетворением отметила, что лицо у нее не такое уж и длинное, во всяком случае сегодня. В кухне ее ждала мать, а в гостиной — Леон, она это знала. Тем не менее потратила еще несколько минут на то, чтобы вернуться к туалетному столику и игриво, в соответствии с настроением, смазать духами локотки, после чего вышла и закрыла за собой дверь.

Но, взглянув на себя в зеркало над лестницей, она увидела женщину, направляющуюся на похороны, печальную, более того — суровую. Этот черный панцирь делал ее похожей на какое-то насекомое, живущее в спичечном коробке. На жука-рогача. Она словно прозрела свое будущее, когда станет восьмидесятипятилетней тощей вдовой, и, без всяких колебаний быстро повернувшись, поспешила обратно в комнату.

Сесилия не слишком огорчилась, что ей пришлось переодеваться. Ни на минуту не забывая о том, что предстоит ей сегодня вечером, понимала: чувствовать себя она должна уверенно. Черное платье упало на пол, она переступила через него, оставшись в черных туфлях и нижнем белье, и стала обзирать все, что висело в гардеробе, не забывая об утекающих минутах. Появляться в суровом обличье она никак не желала. Она хотела чувствовать себя свободно и в то же время выглядеть сдержанной. А более всего ей хотелось выглядеть так, словно она и минуты не потратила на размышления о том, как одеться. В кухне, должно быть, уже сгущается атмосфера нетерпения, и время, которое она собиралась провести с братом наедине, уходит безвозвратно. Скоро появится мама, чтобы обсудить вопрос о том, как рассадить гостей, спустится вниз Пол Маршалл, а там и Робби подойдет. Ну как тут не спеша выбрать наряд?

Она провела рукой по ряду вешалок, запечатлевших краткую историю развития ее вкуса. Вот подростковые наряды — теперь они кажутся ей нелепыми, бесформенными, бесполоыми, но, хотя на одном из них красовалось винное пятно, а другой был прожжен ее первой сигаретой, выбросить их у нее не поднималась рука. Вот платье с первыми робкими намеками на подкладные плечи, в более поздних эта деталь будет выражена увереннее; старшая сестра стряхивает с себя беззаботные отроческие годы, обретает выпуклости, заново открывает в собственном теле линию талии и прочие изгибы, представляя взорам свои формы с полным равнодушием к мужским чаяниям. Последним и лучшим из ее нарядов, купленным для выпускного бала до того, как она узнала о своих жалких академических результатах, было облегающее, темно-зеленое, скроенное по диагонали вечернее платье без спинки, с завязками на шее. Слишком роскошно для домашнего выхода. Она прошла рукой в обратном направлении и остановилась на муаровом платье с плиссированным лифом и зубчатым подолом — прекрасный выбор, цвет увядающей розы как нельзя лучше подходил для вечера. Трельяж был того же мнения. Сесилия переобулась, сменила гагат на жемчуг, подправила макияж, по-другому заколола волосы, подушила шею, теперь открытую, и меньше чем через пятнадцать минут снова была в коридоре.

Незадолго до того Сесилия видела, как старый Хардмен ходил по дому с плетеной корзинкой и вкручивал новые лампочки вместо перегоревших. Быть может, все дело в том, что свет на лестнице стал ярче, — ведь прежде у нее никогда не было проблем с этим зеркалом. С расстояния футов в сорок Сесилия поняла, что оно опять не даст ей пройти: розовый цвет оказался наивно-бледным, линия талии — слишком высокой, и платье полоскалось вокруг ног, как выходной наряд восьмилетней девочки. Недоставало лишь пуговиц в виде кроличьих головок. Когда она подошла ближе, из-за неровной поверхности старого зеркала изображение укоротилось, и теперь перед ней предстала девочка пятнадцатилетней давности. Сесилия остановилась и в порядке эксперимента, подняв руки, собрала волосы в два хвостика. Сколько раз это самое зеркало видело, как она спускалась по лестнице, чтобы отправиться на очередной день рождения к какой-нибудь подруге. Нет, предстать перед всеми похожей — так по крайней мере ей казалось — на Ширли Темпл... Это не добавит ей уверенности в себе.

Скорее со смирением, чем с раздражением или в панике, она снова вернулась в комнату. Никакой неясности больше не было: слишком яркие, но не заслуживающие доверия впечатления, ее сомнения в себе, назойливо

четкая и пугающая непохожесть, окутавшая знакомое окружение, были лишь продолжением, вариацией того, что она видела и чувствовала весь день. Чувствовала, но предпочитала об этом не думать. Кроме того, она понимала, что нужно сделать, в сущности, знала это с самого начала. У Сесилии был только один наряд, который ей по-настоящему нравился, его-то и следует надеть. Розовое платье упало поверх черного, она небрежно перебрала вешалки в гардеробе и сняла зеленое выпускное, без спинки. Надев его, она даже сквозь нижнюю юбку ощутила ласкающее прикосновение косого шелкового полотна и моментально почувствовала себя хорошо одетой, неуязвимой и безмятежной; теперь из зеркала на нее смотрела наядя. Жемчужное ожерелье Сесилия снимать не стала, снова обула черные туфли на высоких каблуках, еще раз поправила волосы и макияж, провела надушенным пальцем по шее, открыла дверь и... вскрикнула от ужаса. В дюйме от себя она увидела чье-то лицо и поднятый кулак. В первый момент видение представилось ей картиной радикального художника вроде Пикассо, на которой слезы, набрякшие веки, красные глаза, мокрые губы и распухший от влаги нос смешались в малиновом тумане печали. Придя в себя, она положила руки на худенькие плечи и ласково повернула стоявшего перед ней мальчика, чтобы рассмотреть его левое ухо. Это был Джексон, как раз собиравшийся постучать в ее дверь. В другой руке он держал серый носок. Немного отступив, она увидела, что мальчик был в отутюженных шортах и белой рубашке, но босой.

— Малыш! Что случилось?

Кузен был не в состоянии говорить. Он лишь поднял носок и показал им куда-то в конец коридора. Сесилия наклонилась вперед и увидела в некотором отдалении Пьеро, тоже босого и тоже державшего в руке носок.

— Значит, у каждого из вас есть по носку.

Мальчик кивнул, громко сглотнув при этом, и ему наконец удалось произнести:

— Мисс Бетти сказала, что отшлепает нас, если мы немедленно не спустимся вниз к чаю, но у нас только одна пара носков.

— И из-за нее вы поссорились.

Джексон выразительно потрянул головой.

Сесилия повела мальчиков в их комнату. Они оба так доверчиво держали ее за руки, что Сесилия испытала истинное удовольствие, не переставая, однако, думать о своем платье.

— Вы не просили сестру помочь вам?

— Она с нами сейчас не разговаривает.

— Почему же?

— Она нас ненавидит.

В комнате был страшный кавардак: одежда, мокрые полотенца, апельсиновые корки, клочки разорванного комикса на бумажном листе, валяющиеся стулья, наброшенные на них одеяла, перевернутые матрасы. На ковре между кроватями темнело мокрое пятно, в центре которого лежали кусок мыла и мокрые шарики из туалетной бумаги. Одна штора, сорванная с крючков, криво свисала из-под ламбрекена, и, несмотря на открытые окна, воздух в комнате был спертый, словно здесь побывало множество людей. Все ящики были выдвинуты из комода и пусты. Создавалось впечатление, будто запертые в чулане люди от скуки развлекались состязаниями и веселыми эскападами — прыгали по кроватям, строили лагерь, начинали играть в настольные игры, но, не доиграв, бросали. Никто из домашних не обращал внимания на близнецов Куинси, и, чтобы хоть как-то загладить вину перед ними, Сесилия бодро сказала:

— В такой комнате мы никогда ничего не найдем.

Она принялась наводить порядок, заправлять постели, потом, скинув туфли на высоких каблуках, взобралась на стул, чтобы закрепить штору. При этом она давала посильные поручения и близнецам. Мальчики слушались ее беспрекословно, но были тихими и подавленными, выполняли поручения так, словно это было не избавлением и проявлением доброты, как рассчитывала Сесилия, а скорее карой, нагоняем. Им было стыдно за беспорядок в комнате. Стоя на стуле в облегающем темно-зеленом платье и глядя на мелькавшие внизу ярко-рыжие головки занятых уборкой мальчиков, она поймала себя на простой мысли: какими же отчаявшимися и напуганными должны чувствовать себя эти дети, лишенные любви и вынужденные из ничего выстраивать свою жизнь в чужом доме.

С трудом, поскольку в узком платье трудно было согнуть колени, Сесилия спрыгнула со стула, села на кровать и похлопала по ней руками, приглашая кузенов сесть рядом. Те, однако, остались стоять, выжидательно глядя на нее. Чуть нараспев, тоном учительницы младших классов, которым так любила когда-то разговаривать с Брайони, Сесилия сказала:

— Ну не будем же мы плакать из-за потерянных носков, правда?

— Вообще-то нам хотелось бы уехать домой, — невпопад ответил Пьеро.

Это ее отрезвило, и, обращаясь к ним уже как к взрослым, Сесилия объяснила:

— Сейчас это невозможно. Ваша мама теперь в Париже с... она

поехала немного отдохнуть. А ваш отец занят в колледже, поэтому вам придется какое-то время побыть здесь. Простите, что вам уделяют мало внимания. Но вы ведь хорошо повеселились в бассейне...

— Мы хотели участвовать в спектакле, но Брайони вдруг ушла и до сих пор не вернулась, — перебил ее Джексон.

— В самом деле?

Ну вот, еще одна забота, Брайони должна была вернуться давным-давно. Сесилия вспомнила о тех, кто ждал ее внизу: матери, поварихе, Леоне, госте, Робби. Даже вечернее тепло, струившееся через открытые окна позади нее, налагало некоторую ответственность; о таком летнем вечере люди мечтают целый год, и вот он наконец наступил, напоенный густыми ароматами, чреватый удовольствиями, а она слишком озабочена всякими обязанностями и сбита с толку тревогами, чтобы ответить на его зов. Но это нужно сделать. Не сделать этого было бы просто неправильно. Райским наслаждением будет выпить джина с тоником на террасе в обществе Леона. Она ведь не виновата, что тетушка Гермiona сбежала с мерзавцем, который каждую неделю ведет по радио душеспасительные беседы. Хватит грустить! Сесилия встала и хлопнула в ладоши:

— Да, жаль, что спектакль не состоится, но ничего не поделаешь. Давайте-ка найдем вам какие-нибудь носки и отправимся вниз.

В результате поисков выяснилось, что носки, в которых мальчики приехали, — в стирке, а тетушка Гермiona в ослеплении страстью положила им всего одну запасную пару. Сесилия пошла в комнату Брайони, порылась в ее комодe и выбрала наименее девчачьи носочки — белые, по щиколотку, с красно-зеленым клубничным орнаментом по краю. На обратном пути она подумала, что теперь наверняка возникнет ссора из-за серых носков, и, чтобы избежать ее, вернулась в комнату Брайони и достала из комода еще одну пару. Заодно выглянула из окна: куда могла запропасться ее сестра? Утонула в озере, похищена цыганами, сбита мотоциклистом?.. Все эти сакраментальные опасения перекрывались здравым смыслом: никогда не случается то, что ты воображаешь, и это умозаключение — самое эффективное средство, чтобы исключить худшее.

Вернувшись к мальчикам, Сесилия причесала Джексона гребешком, выловленным из вазы с цветами; держа мальчика за подбородок большим и указательным пальцами, сделала ровный пробор. Пьеро терпеливо ждал своей очереди. Потом близнецы, не сказав ни слова, побежали вниз, чтобы предстать перед Бетти.

Сесилия медленно отправилась следом. Проходя мимо критически настроенного зеркала, заглянула в него и осталась абсолютно довольна

увиденным. Вернее, теперь это ее меньше заботило, потому что после общения с кузенами настроение у нее изменилось, круг мыслей стал шире и включил в себя некое смутное решение, которое приобрело форму, не имевшую конкретного содержания и не предполагавшую определенного плана: нужно уезжать. Эта мысль успокаивала и приносила удовлетворение, в ней не было ни грана отчаяния. Дойдя до площадки второго этажа, Сесилия остановилась. Там, внизу, мама, испытывая чувство вины за то, что надолго оставила семью без присмотра, наверняка создает вокруг себя атмосферу волнения и неловкости. К этому следует прибавить еще и исчезновение Брайони, если, конечно, та действительно исчезла. Чтобы ее найти, потребуется немало времени и душевных терзаний. Из департамента позвонят, чтобы сообщить, что мистер Толлис задерживается на службе и останется ночевать в городе. Леон, обладающий поразительным даром избегать любой ответственности, конечно, не возьмет на себя роль отсутствующего отца. Формально она должна перейти к миссис Толлис, но в конце концов о том, чтобы вечер удался, придется позаботиться Сесилии. Это совершенно очевидно, и бессмысленно пытаться что-либо изменить; она не сможет насладиться этим ласковым летним вечером, ей не удастся посидеть и поговорить с Леоном наедине, она не вырвется на волю, чтобы босиком прогуляться по траве под звездным небом. Ее рука покоилась на черных лакированных сосновых перилах, непоколебимо надежных и фальшивых, имитирующих неоготический стиль. Над головой у Сесилии на трех цепях висела кованая люстра, которую никогда на ее памяти не зажигали. Лестница освещалась двумя украшенными кисточками бра, затененными абажурчиками в четверть круга из поддельного пергамента. В их желтовато-мутном свете она подошла к краю площадки и перегнулась через перила, чтобы взглянуть на дверь маминой комнаты. Дверь была приоткрыта, из комнаты в коридор падала полоска света. Это означало, что Эмилия Толлис встала после дневного отдыха. Сесилия вернулась на прежнее место, но продолжала колебаться: ей совершенно не хотелось идти вниз. Однако выбора не было.

В приготовлениях к ужину не замечалось ничего нового, но ее это не огорчало. Два года назад отец с головой окунулся в подготовку документов для министерства внутренних дел, касающихся неких таинственных консультаций. Мама всегда скрывалась под сенью болезни. Брайони искала материнской заботы у старшей сестры. Леон постоянно пребывал в свободном плавании, за что она его и любила. Сесилия не думала, что все домочадцы так легко вернутся к старым ролям. Кембридж основательно

изменил ее, и ей казалось, что она приобрела иммунитет. Но никто из членов семьи не заметил произошедшей в ней перемены, а она не могла противиться их привычным ожиданиям. Она никого за это не винила, но все лето околачивалась дома, поддерживая себя мыслью, будто восстанавливает столь важную связь с семьей. Однако связь эта, как она теперь понимала, никогда не прерывалась. Так или иначе, ее родители, каждый по-своему, где-то отсутствовали, Брайони полностью ушла в фантазии, а Леон жил в городе. Пора было уезжать и ей. Она нуждалась в приключении. Дядюшка с тетушкой приглашали ее составить им компанию и отправиться в Нью-Йорк. Тетушка Гермiona была в Париже. Сесилия могла также поехать в Лондон и там найти работу — этого хотел отец. Она испытывала волнение, но не беспокойство и не должна была допустить, чтобы нынешний вечер ее разочаровал. Будут и другие вечера, но, чтобы наслаждаться ими, нужно оказаться в другом месте.

Вдохновленная этими мыслями — правильный выбор платья, несомненно, тоже улучшил ей настроение, — она пересекла холл, раздвинула портьеры и оказалась в выложенном кафельными шашечками коридоре, который вел в кухню. Здесь лишенные туловищ лица плавали в облаке пара на разной высоте, словно эскизы в альбоме у студента-художника, и все взоры были обращены на что-то стоявшее на столе и скрытое от Сесилии широкой спиной Бетти. Расплывчатое красное свечение на уровне щиколоток было раскаленными углями в печной топке, дверцу которой как раз в тот момент кто-то захлопнул с диким лязгом и раздраженным восклицанием. Густой пар поднимался от котла с кипящей водой — за котлом никто не приглядывал. Долл, помощница поварихи, тоненькая деревенская девушка с собранными в строгий пучок волосами, в дурном расположении духа отчищала в раковине крышки кастрюль, но тоже стояла вполоборота, желая видеть то, что поставила на стол Бетти. Одно лицо принадлежало Эмили Толлис, другое — Дэнни Хардмену, третье — его отцу. А над всеми ними плавали серьезные лица Джексона и Пьеро, очевидно стоявших на табуретках. Сесилия почувствовала на себе взгляд юного Хардмена, гневно посмотрела на него и успокоилась, лишь когда тот отвернулся. Усердная работа в кухонном пекле продолжалась весь день, и всюду были видны ее результаты: каменный пол стал скользким от растоптанных очистков и жира, брызгавшего со сковороды, на которой жарилось мясо; вымокшие полотенца, как дань неизвестным героям труда, свисали с веревки наподобие обветшалых войсковых знамен. Сесилия подбородком уперлась в корзину с овощными очистками, которую Бетти заберет домой для своей глостерской старой пятнистой,^[11] которую

откармливала к декабрю. Повариха взглянула через плечо, чтобы увидеть, кто пришел, и Сесилия успела заметить ярость в ее глазах, подпираемых толстыми щеками так, что они превращались в узкие желатиновые чешуйки.

— Сыми ж ты его наконец! — завопила Бетти.

Без сомнения, гнев был направлен на миссис Толлис, но Долл отскочила от раковины, поскользнувшись, чуть не упала, схватила две тряпки и стала стаскивать котел с огня. Сквозь несколько рассеявшуюся паровую завесу стала видна Полли, горничная, которую все считали недотепой и которая всегда задерживалась в доме, если была хоть какая-то работа. Ее широко поставленные доверчивые глаза тоже были устремлены на стол. Обойдя Бетти, Сесилия приблизилась к столу и увидела то, на что смотрели все: огромный почерневший противень, только что вынутый из печи, на котором неровными золотистыми рядами лежало огромное количество печеной картошки, еще тихонько шипевшей. Картофелин было не меньше сотни, и Бетти металлической лопаткой отковыривала их и переворачивала. Нижние поверхности картофелин были клейкими, блестящими, кое-где желтая корочка приобрела перламутрово-коричневатый оттенок, а в лопнувших местах края трещин оказались оторочены кружевной филигранью. Картофель пропекся идеально.

Перевернув последний ряд, Бетти спросила:

— И вы, мэм, хотите это — в картофельный салат?

— Именно. Срежьте зажаренную корку, промокните от жира, нарежьте, переложите в большой тосканский салатник, сбрызните оливковым маслом, а потом... — Эмилия сделала неопределенный жест рукой в сторону корзины с фруктами, стоявшей возле двери в кладовку, где мог быть лимон, а могло и не быть.

Бетти воззвала к потолку:

— Может, вы захотите еще и салат из брюссельской капусты?

— Послушайте, Бетти...

— Или салат из цветной капусты? А может, салат с чесночным соусом?

— Вы делаете из мухи слона.

— Или салат из хлебно-масляного пудинга?

Кто-то из близнецов прыснул.

Не успела Сесилия представить, что сейчас произойдет, как это началось. Бетти повернулась к ней, схватила за руку и взмолилась:

— Мисс Си, сначала мне велели приготовить жаркое, и я весь день простояла у плиты, у меня чуть кровь не закипела...

Сцена была новой, непривычным элементом стало присутствие зрителей, но проблема оставалась неизменной: как установить мир и при этом избавить мать от унижения? Сесилия решила все же посидеть с братом на террасе до ужина, поэтому ей было важно примкнуть к побеждающей фракции, но при этом предложить быстрое, устраивающее всех решение. Она приняла сторону матери, а Бетти, которая прекрасно знала правила игры, приказала всем разойтись. Эмилия и Сесилия Толлис отошли к открытой двери, ведущей в огород.

— Милая, сейчас слишком жарко, и я не намерена менять свое решение относительно салата.

— Эмилия, я знаю, что сейчас слишком жарко, но Леон до смерти любит жаркое Бетти. Он его ждет не дождется. Я даже слышала, как он хвастал им перед мистером Маршаллом.

— О господи! — воскликнула Эмилия.

— Я полностью разделяю твое мнение. Я тоже против жаркого. Но лучше, чтобы у всех был выбор. Пошли Полли нарвать латука. В кладовке есть свекла. Бетти может сварить еще картошки и остудить ее.

— Дорогая, ты права. Знаешь, мне бы очень не хотелось подвести Леона.

Таким образом, решение было принято, а жаркое спасено. Животлики, откликнувшись на новое задание, Бетти велела Полли начистить картошки, и та с ножом в руке отправилась в огород.

Когда они вышли из кухни, Эмилия надела солнцезащитные очки и сказала:

— Я рада, что здесь все устроилось, потому что на самом деле меня больше всего волнует Брайони. Знаю, она расстроена и бродит где-то. Пойду приведу ее.

— Отличная идея. Я тоже волнуюсь за нее, — сказала Сесилия. Она не собиралась отговаривать мать, желая, чтобы та оказалась как можно дальше от террасы.

Гостиная, утром ошеломившая Сесилию солнечными параллелограммами, была теперь погружена в сумерки и освещалась лишь одной лампой, горевшей возле камина. Створки французских дверей обрамляли зеленеющее небо, на фоне которого в отдалении вырисовывался знакомый силуэт Леона. Проходя через комнату, Сесилия услышала позвякивание льдинок в стакане, а выйдя на террасу, уловила еще более пьянящий, чем утром, запах растоптанных мяты, ромашки и пиретрума. Никто не помнил ни имени, ни даже лица недолго проработавшего у них садовника, несколько лет назад решившего засадить этими растениями

щели между напольными плитами террасы. Тогда никто не понял, зачем он это делает. Быть может, поэтому его и уволили.

— Сестренка! Я жду тебя уже минут сорок, почти изнемог.

— Прости. Где мой стакан?

На низком столике, придвинутом к стене дома и освещенном керосиновой лампой, был устроен простенький бар. В руках у Сесилии оказался желанный стакан джина с тоником. Она прикурила от сигареты брата, и они чокнулись.

— Красивое платье.

— Ты заметил?

— Ну-ка повернись. Грандиозно. А я и забыл об этой твоей родинке.

— Как тебе в банке?

— Скучно и исключительно приятно. Живем ожиданием вечеров и выходных. Когда же ты наконец приедешь?

Они спустились с террасы на гравиевую дорожку, проложенную между шпалерами роз. Перед ними маячил фонтан «Тритон» — чернильно-темный монолит с четкими очертаниями, запечатленными на фоне неба, зеленеющего по мере захода солнца. Слышалось журчание воды, Сесилия почувствовала даже ее запах — острый, отдающий серебром. Впрочем, возможно, запах исходил из стакана, который она держала в руке. Немного помолчав, она ответила:

— У меня тут скоро мозги съедут набекрень.

— Неудивительно — ты опять исполняешь роль всеобщей мамочки. Известно ли тебе, что теперь многие девушки работают? Даже сдают экзамены для поступления на государственную службу. И старика это поразовало бы.

— Куда меня возьмут с такими отметками!

— Ты попробуй — увидишь, что это не имеет никакого значения.

Дойдя до фонтана, они повернулись к дому, прислонились к парапету и некоторое время молча стояли там, на месте ее позора. Как же все это получилось — безрассудно, смешно, а главное, стыдно. Только пуританская завеса сумерек не позволила Леону увидеть, в каком Сесилия состоянии. Но утром от Робби ее ничто не скрывало, он видел ее во всей красе и запомнит такой навсегда, даже когда время поизотрет память и превратит случившееся просто в забавную историю. Она все еще немного сердилась на брата за то, что он пригласил Робби. Но Леон был ей нужен сейчас, она хотела подпитаться от его свободы. Стремясь снискать его расположение, она попросила рассказать, что у него новенького.

В мире Леона, вернее в его восприятии, не существовало людей

недоброжелательных, плетущих интриги, людей лживых и способных на предательство. Сам факт, что такие люди вообще существуют, приводил его в недоумение. Леона окружали лишь замечательные, по крайней мере в некоторых отношениях, персонажи. Он видел в друзьях только хорошее. Когда он говорил о них, собеседник должен был преисполниться теплотой к человечеству со всеми его слабостями. Все были у него как минимум «славными парнями» или «порядочными людьми», причем в своих суждениях он никогда не основывался на поверхностных наблюдениях. Если в поведении приятеля было что-то непонятное или противоречивое, Леон, поразмыслив, всегда находил тому положительное объяснение. Литература и политика, наука и религия его не трогали — в его мире им, равно как и другим предметам, вызывавшим серьезные споры, просто не находилось места. Получив диплом юриста, Леон тут же забыл о нем. Его трудно было представить страдающим от одиночества, скучающим или унылым; выдержка его была беспредельной, так же как отсутствие тщеславия, и он считал, что все остальные люди — такие же, как он. Но его непробиваемость, несмотря ни на что, не раздражала, даже успокаивала.

Его рассказ начался с яхт-клуба. До недавнего времени Леон был загребным во второй восьмерке, и, хотя все члены команды были им довольны, он предпочел, чтобы лидером стал кто-нибудь другой. Точно так же и в банке: ходили слухи о его повышении, но когда ничего из этого не вышло, он испытал облегчение. Потом разговор зашел о девушках: Мэри, актриса, так очаровательно игравшая в «Частных жизнях», без каких бы то ни было объяснений вдруг переехала в Глазго, никто не знал почему. Леон предполагал, что ей пришлось взять на себя заботу об умирающем родственнике. С Франсин, прекрасно говорившей по-французски и шокировавшей окружающих своим моноклем, они на прошлой неделе ходили на одну из опер Гилберта и Салливана и там в антракте видели короля, который, как им показалось, посмотрел в их сторону. Милая, надежная, происходившая из знатной семьи Барбара, на которой, как надеялись Джек и Эмилия, Леону предстояло жениться, пригласила его погостить недельку в замке ее родителей на севере Шотландии. Не поехать туда было бы проявлением неблагодарности.

Как только Сесилии начинало казаться, что брат иссякает, она подбадривала его новыми вопросами. Непонятно почему квартирная плата в Олбани^[12] снизилась. Его старый друг встретил шепелявую девушку в положении, женился на ней и теперь совершенно счастлив. Другой покупает мотоцикл. Отец еще одного приятеля приобрел фабрику по производству пылесосов и утверждает, будто это все равно что купить

лицензию на печатание денег. У кого-то там бабка, старая чудачка, мужественно прошагала полмили со сломанной ногой. Разговор, приятный как вечерний ветерок, обтекал Сесилию и создавал волшебный мир добрых намерений и славных результатов. Полусидя, плечом к плечу, они смотрели на дом своего детства, смутно средневековые архитектурные очертания которого казались в тот момент причудливо-легкомысленными; мамины мигрени представлялись комичной опереточной интерлюдией; горе двойняшек — сентиментальной блажью, а кухонный инцидент — не более чем веселой суетой оживленных домочадцев.

Когда настала очередь Сесилии отчитаться о последних месяцах, она не могла отрешиться от заданного Леоном тона, но ее рассказ невольно получился скорее саркастичным. Она высмеивала собственные попытки воссоздать генеалогическое древо — оно оказалось заледеневшим и голым, а также лишенным корней. Дедушка Хэрри был сыном неквалифицированного сельскохозяйственного рабочего, по какой-то причине изменившего фамилию с Картрайт на Толлис. И в церковных книгах не нашлось записей ни о его рождении, ни о женитьбе. Что же касается «Клариссы», которую Сесилия читала все эти дни, уютно устроившись в постели, то книга, без сомнения, являлась перевернутой версией «Потерянного Рая» — по мере того как расцветают добродетели заикленной на смерти героини, сама она вызывает все большее отвращение. Леон кивал, поджав губы; он не пытался делать вид, что понимает, о чем говорит Сесилия, но и не прерывал. В жанре фарса она описала недели тоски и одиночества дома, куда приехала, чтобы побыть с семьей, восстановить то, что было утрачено за время ее отсутствия, и где нашла родителей и сестру — каждого по-своему — отсутствующими. Поощряемая великодушным вниманием брата и веселой реакцией на ее болтовню, она рассказывала комические истории о том, как ей с каждым днем требовалось все больше сигарет, как Брайони разорвала свою афишу, о близнецах под дверью ее комнаты, о проблеме с носками, о чуде, которого требовала их мать от Бетти, заставляя ту приготовить салат из печеной картошки. Леон не улавливал никаких библейских аналогий. Между тем во всем, что говорила Сесилия, было какое-то глубинное отчаяние, внутренняя пустота или недоговоренность, и это заставляло ее тараторить все быстрее и все менее искусно преувеличивать подробности. Приятная ничтожность жизни Леона казалась теперь изящным артефактом, хотя его свобода была обманчивой, границы этой свободы определялись тяжелой, невидимой глазу работой и свойствами характера, которых она постичь не могла. Сесилия продела руку под локоть брата и прижалась к нему. Еще

одна особенность Леона: в компании он был мягок и обворожителен, но сквозь ткань пиджака ощущалась твердь тропического дерева. Сесилия ощущала себя мягкой и прозрачной с головы до ног. Он ласково посмотрел на нее:

— Что случилось, Си?

— Ничего. Абсолютно ничего.

— Тебе бы в самом деле следовало приехать, пожить у меня и осмотреться.

По террасе кто-то ходил, в гостиной зажигали свет. Брайони позвала брата и сестру.

— Мы здесь! — крикнул в ответ Леон.

— Нужно идти, — сказала Сесилия, и, не расцепляя рук, они направились к дому. Проходя по розовой аллее, она мысленно задалась вопросом: есть ли действительно что-то, что она хотела бы поведать брату? Но признаться в том, как она повела себя сегодня утром, было немыслимо. — Я бы очень хотела поехать в Лондон. — Даже произнося эти слова, она представила, как ее тянет назад, как она не может заставить себя упаковать вещи и сесть в поезд. А что, если на самом деле ей вовсе не хочется уезжать? И она еще решительнее повторила: — Очень хотела бы.

Брайони металась по террасе от нетерпеливого желания поздороваться с братом. Кто-то что-то сказал ей из гостиной, и она, повернув голову, ответила. Подойдя ближе, Сесилия с Леоном снова слышали голос, доносившийся из дома, — это был голос матери, которая старалась придать ему строгость:

— Говорю в последний раз. Немедленно отправляйся наверх и переоденься.

Бросив долгий взгляд на брата с сестрой, Брайони нехотя двинулась к дверям. Она что-то держала в руке.

— Мы устроим тебя в один момент, — сказал Леон, продолжая прерванный разговор.

Когда они вошли в гостиную, освещенную теперь множеством ламп, мама, снисходительно улыбаясь, стояла у дальней двери. Брайони все еще была там, по-прежнему босая, в грязном белом платье. Протянув руки и комично копируя лондонское просторечие, чем часто смешил ее, Леон произнес:

— Ну-к, ну-к, гляньте-ка, эт-т чо ж, моя малая сеструха?

Пробегая мимо Сесилии, Брайони сунула ей в руку вдвое сложенную бумажку, завизжала: «Леон!» — и кинулась брату на шею.

Понимая, что мать наблюдает за ней, Сесилия изобразила удивление и

развернула листок. К счастью, ей не потребовалось менять выражение лица, когда смысл короткого машинописного текста дошел до нее, — он был сосредоточен в одном повторявшемся ключевом слове, придававшем записке ошеломляющую окраску. Рядом Брайони рассказывала Леону о пьесе, которую написала для него, и жаловалась, что постановка сорвалась. «Злоключения Арабеллы», — повторяла она снова и снова. «Злоключения Арабеллы». Еще никогда девочка не казалась такой оживленной, такой неестественно возбужденной. Не расцепляя рук, она обнимала брата за шею, стоя на цыпочках, и терлась щекой о его щеку.

Одно слово вертелось в голове Сесилии: «Конечно, конечно же». Как она могла не заметить этого? Вот все и объяснилось. Весь этот день, все предыдущие недели, все детство. Вся жизнь. Теперь все стало ясно. С чего бы еще она так долго выбирала, что надеть, спорила с ним из-за этой злосчастной вазы, видела все в каком-то ином свете и была не способна уехать? Почему она была так слепа, так бестолкова? Прошло довольно много времени, дальше стоять вот так, уставившись в лист бумаги, было небезопасно. Складывая письмо, она вдруг отчетливо поняла: послание не могло прийти незапечатанным. Она обернулась и посмотрела на сестру.

Леон как раз говорил Брайони:

— А как тебе такое предложение? Я отлично умею читать по ролям, ты — еще лучше. Может, разыграем пьесу вдвоем?

Сесилия обошла его и стала так, чтобы Брайони ее видела.

— Брайони? Брайони, ты это читала?

Увлеченная предложением брата, собираясь ответить ему, девочка завертелась в его руках и, почти уткнувшись в грудь Леона, спрятала лицо от сестры.

С другого конца гостиной послышался увещающий голос Эмили:

— Ну хватит, успокойтесь.

Сесилия обошла брата с другой стороны.

— Где конверт? — настойчиво спросила она.

Брайони опять отвернулась и дико захохотала в ответ на что-то, что сказал Леон.

И тут Сесилия почувствовала, что в комнате появился кто-то еще, краем глаза заметила движение у себя за спиной и, повернувшись, оказалась лицом к лицу с Полом Маршаллом. В одной руке он держал серебряный поднос с пятью бокалами, до половины наполненными густой коричневатой жидкостью. Взяв один из них, он протянул его Сесилии:

— Я настаиваю, чтобы вы это попробовали.

Сложность переживаний убеждала Брайони в том, что она вступает на арену взрослых чувств и притворства. Это сулило обогатить ее писания. Ни в какой волшебной сказке не таилось столько противоречий. Неукротимое, безоглядное любопытство заставило ее разорвать конверт и выхватить из него письмо. Она сделала это сразу же, как только Полли впустила ее в дом, и хотя шок, испытанный по прочтении записки, полностью подтвердил догадку, это не избавило ее от чувства вины. Читать чужие письма неприлично, но Брайони важно, существенно необходимо было знать все. Она действительно радовалась встрече с братом, однако свой восторг отчасти преувеличивала, чтобы иметь возможность не отвечать на осуждающий вопрос сестры. Якобы охотно повинуюсь распоряжению матери подняться к себе в комнату, она опять притворялась: на самом деле ей хотелось не просто убежать от Сесилии, но в одиночестве подумать о Робби, сформулировать первый абзац рассказа, складывавшегося у нее в голове под воздействием реальной жизни. Больше никаких принцесс! Сначала сцена у фонтана, исполненная угрозы, а в конце, когда оба действующих лица расходятся в разные стороны, — фосфоресцирующая пустота над мокрым пятном, оставшимся на земле. Все это следует осмыслить. Письмо привносило в сюжет нечто напоминающее природные стихии — брутальное, быть может, даже преступное, повинующееся законам тьмы, поэтому, не понимая толком, чем именно это грозит, Брайони была крайне возбуждена и не сомневалась: сестра в опасности и ей может потребоваться помощь.

Это слово. Она изо всех сил старалась выкинуть его из головы, но оно продолжало там звучать, непристойно скакать в ее мыслях эдаким типографским чертиком, подсовывающим отпечатки странных, смутно порочных слов — *про-меж-уточность*, какое-то просторечное *про-меж-нас*, невесть откуда взявшееся латинское *op-pro-bra-men-tum*.^[13] В голову лезли рифмующиеся слова из детских книжек: крохотный щенок, которого облизывает мать, — *нежность*; океан, по которому плывет маленький кораблик, — *безбрежность*; рождественская избушка среди заснеженного леса — *смежность*. Естественно, Брайони никогда не слышала, чтобы это слово произносили, не видела его напечатанным, даже в сносках. Более того, никто, даже мама, никогда в ее присутствии не упоминал о существовании той части тела, которая — у Брайони не было в этом

никаких сомнений — им обозначалась. И тем не менее Брайони твердо знала: это именно то, что есть. Помогал контекст, но главное — звучание слова сливалось со значением, оно было почти звукообразным, оноματοпоэтическим, как пишут в энциклопедиях. Первые шесть букв вызывали в воображении картинку, недвусмысленную, как рисунок в книге по анатомии. Три согбенные фигуры по одну и три — по другую сторону дороги, ведущей к кресту. То, что слово было обращено мужчиной к образу, которому он мысленно исповедовался, признавался в своей одинокой одержимости, вызывало у нее глубокое отвращение.

Брайони прочла записку без зазрения совести, стоя посреди холла, и мгновенно ощутила опасность, таившуюся в такой грубости. Что-то непоправимо откровенное, мужское угрожало их домашнему укладу, и Брайони чувствовала, что, если она не поможет сестре, все будут обречены на страдания. Ясно было также и то, что помогать следует очень тактично, деликатно, иначе, как по опыту знала Брайони, сестра накинется на нее самое.

Эти мысли роились у нее в голове, пока она мыла руки, лицо и переодевалась. Носки, которые она хотела надеть, куда-то запропалились, но времени их искать не было. Она надела другие, застегнула ремешки на туфлях и села за стол. Взрослые внизу пьют коктейли, так что в ее распоряжении еще минут двадцать. Причесаться можно будет перед самым уходом. За открытым окном стрекотал сверчок. Перед Брайони лежала стопка бумаги из отцовской конторы, мягкий желтоватый свет лился на нее из настольной лампы, пальцы сжимали ручку. Боевые порядки обитателей скотного двора, выстроившиеся вдоль подоконника, и осанистые куклы, восседавшие в разных комнатах открытого спереди кукольного дома, застыли в ожидании ее первой фразы. В тот момент желание просто писать было у Брайони гораздо более острым и четким, чем представление о том, что именно она собиралась написать. Чего она действительно хотела, так это окунуться с головой в раскручивание захватившей ее идеи, увидеть, как из-под скребущего кончика серебряного пера выползает и свивается в слова черная угроза. Но как сохранить беспристрастность в свете перемен, которые превратили ее наконец в писателя-реалиста, как справиться с бушующим хаосом впечатлений, с охватившим ее отвращением и интересом? Во все это нужно внести порядок. Начать, как она уже решила, следует с описания сцены у фонтана. Но этот озаренный солнечным светом эпизод сам по себе был далеко не так интересен, как сумерки, когда она стояла на мосту, предаваясь праздным мечтаниям, и когда из полутьмы вдруг вынырнул и окликнул ее Робби с зажатым в руке маленьким белым

квадратиком, содержавшим письмо, содержавшее слово. А что содержит само это слово?

Она вывела: «Старая дама проглотила муху».

Разумеется, не было никакого ребячества в том, чтобы сказать себе: рассказ должен быть написан, и это будет рассказ о человеке, которого все любили. Героине же он всегда казался подозрительным, и наконец ей представляется случай убедиться, что он — исчадие ада. Но разве теперешний ее — то есть Брайони, автора, — статус человека, возвысившегося над такими сказочно-назидательными идеалами, как добро и зло, предполагает подобный житейский практицизм? Нужно подняться на некую божественную высоту, откуда все люди видятся равными, не разделенными, как участники двух соперничающих в бесконечном поединке хоккейных команд, а перемешанными в общем бурлящем котле во всем своем великолепном несовершенстве. Впрочем, если такая высота и существовала, то Брайони была ее недостойна. Она никогда не сможет простить Робби его отвратительных мыслей.

Разрываясь между побуждением просто, как в дневнике, изложить впечатления от уходящего дня и претензией на то, чтобы создать нечто большее, более законченное, отшлифованное и не такое прямолинейное, она долго сидела, хмурясь, перед листом бумаги с написанной на нем бессмысленной фразой, но так и не смогла больше придумать ни слова. Она считала, что весьма неплохо умеет выстраивать действие и сочинять диалоги. Могла описать зимний лес и угрюмые стены замка. Но чувства... Легко вывести: «Ей было грустно» — или рассказать, что делает человек, когда он грустит, но *что* есть сама грусть, как объяснить ее, чтобы читатель почувствовал ее гнетущую сущность? Еще труднее описать ощущение опасности или смятение чувств при столкновении с противоречивыми фактами. Не выпуская пера, Брайони уставилась на отрешенных кукол, восседавших в противоположном конце комнаты, — непроницаемых спутников детства, с которым она теперь покончила. Она взрослеет. При этой мысли холодок пробежал по спине. Никогда больше она не сможет посидеть на коленях у Эмилии или сестры — разве что сделает это в шутку. Два года назад, в одиннадцатый день ее рождения, родители, брат с сестрой и еще кто-то пятый, кто — она не помнила, повели ее на лужайку, одиннадцать раз подкинули на одеяле и потом еще раз — на счастье. Доведется ли ей еще когда-нибудь с такой же наивной верой отдаться веселой свободе полета, слепо довериться добрым объятиям взрослых рук, если этим пятым человеком окажется Робби?

Услышав тихое женское покашливание, Брайони испуганно

вздрагнула. Это была Лола. Она с виноватым видом заглядывала в комнату и, когда Брайони заметила ее, осторожно постучала:

— Можно войти?

Вошла, не дожидаясь ответа. Прилегающее атласное голубое платье немного сковывало ее движения. Волосы были распущены, ноги — босы. При ее приближении Брайони отложила ручку и прикрыла написанное уголком книги. Усевшись на край кровати, Лола выразительно вздохнула. Можно было подумать, будто они привыкли в конце дня по-сестрински поверять друг другу тайны.

— У меня был ужасный вечер.

Когда Брайони, вынужденная под сверлящим взглядом кузины проявить интерес, вопросительно приподняла бровь, та продолжила:

— Близнецы мучили меня.

Брайони сочла, что это сказано просто для поддержания беседы, но Лола, повернувшись боком, показала ей длинную царапину на руке.

— Какой ужас!

Лола протянула запястья: вокруг них красовались вздувшиеся ссадины.

— Китайская пытка!

— Именно.

— Я сейчас чем-нибудь прижгу.

— Я уже прижгла.

Действительно, женственный аромат духов Лолы не мог заглушить запах детской перекиси. Брайони оставалось лишь встать из-за стола и сесть рядом с кузиной.

— Бедняжка! — сказала она.

От сочувственного слова глаза Лолы наполнились слезами, голос задрожал.

— Все воспринимают их как ангелочков только потому, что они так похожи, а на самом деле они настоящие *животные*.

Губы ее задрожали, словно она с усилием подавила готовые вырваться рыдания, потом несколько раз глубоко втянула воздух раздувшимися ноздрями. Взяв кузину за руку, Брайони подумала, что теперь понимает: при определенных обстоятельствах Лолу тоже можно полюбить. Она подошла к комоду, достала носовой платок, развернула его и протянула ей. Лола собралась было им воспользоваться, но, заметив изображенных на нем веселых девочек в ковбойских костюмах, с арканами, тоненько завывала, как делают дети, играя в привидения. Внизу раздался дверной звонок, и через несколько секунд послышался едва различимый быстрый перестук

каблуков по кафельным плиткам холла. Обеспокоенная тем, что всхлипы Лолы могут услышать внизу, Брайони снова встала и закрыла дверь. Горе кухни повергло ее в состояние беспокойства, в волнение, близкое к радостному. Она вернулась к кровати и обняла за плечи Лолу, которая, закрыв лицо руками, уже громко рыдала. То, что такую сдержанную и надменную девочку могла обидеть парочка девятилетних сорванцов, показалось Брайони удивительным и придало ощущение превосходства. Значит, вот что таилось за этим ее почти радостным чувством? Может, она не так слаба, как принято считать? В конце концов, человек оценивает себя по тому, как к нему относятся окружающие, — почему же еще? Постепенно, совершенно ненамеренно, люди внушают нам свое мнение о нас самих. Не находя нужных слов, Брайони гладила кухню по плечу, размышляя одновременно о том, что *только* Джексон и Пьеро не могли повергнуть Лолу в такую печаль. Она вспомнила, что в жизни кухни есть и другие грустные обстоятельства. Брайони представила их дом на Севере, улицы с закопченными фабриками, угрюмых людей, устало бредущих на работу с бутербродами в жестяных коробках. Дом Куинси закрылся и, вероятно, никогда не откроется вновь.

Лола начала понемногу успокаиваться. Брайони ласково спросила:

— Что же случилось?

Кухня высморкалась, немного подумала и ответила:

— Я собиралась принимать ванну. Они ворвались ко мне в комнату и набросились на меня. Повалили на пол... — При этом воспоминании она замолчала, пытаясь побороть новый приступ рыданий.

— Но почему они это сделали?

Лола глубоко вздохнула и, уставившись в стену, ответила:

— Они хотят домой. Я сказала, что это невозможно. А они решили, будто это я их здесь удерживаю.

Близняшки необоснованно вымещают на сестре свое несчастье — это казалось Брайони вполне логичным объяснением. Но она не могла не думать и о том, что скоро их позовут вниз и кухне придется держать себя в руках. Сможет ли она?

— Они просто не ведают, что творят, — благоразумно заметила Брайони, направилась к умывальнику и наполнила его горячей водой. — Они всего лишь малые дети, не привыкшие к несчастьям.

Исполненная печали, Лола низко склонила голову и кивнула так обреченно, что сердце Брайони защемило от нежности. Она подвела двоюродную сестру к умывальнику и вложила ей в руки фланельку. А потом — из практической необходимости сменить тему, из острого

желания поделиться с кузиной и своими переживаниями, но главное, потому что испытывала теперь теплые чувства к Лоле и хотела сблизиться с ней, — Брайони поведала о встрече с Робби на мосту, о письме, о том, как она его прочла и что в нем было. Произнести вслух злополучное слово было немыслимо, и она продиктовала его по буквам задом наперед. И была вознаграждена произведенным эффектом. Лола подняла от умывальника лицо, с которого капала вода, и широко раскрыла рот. Брайони дала ей полотенце. Прошло несколько секунд, прежде чем Лола заговорила, делая вид, что с трудом подбирает слова. Она немного переигрывала, но Брайони это устраивало, как и то, что кузина говорила сиплым шепотом:

— Он думает об этом все время?!

Брайони кивнула и отвернулась, якобы охваченная трагическим отчаянием. Теперь настала очередь Лолы обнять Брайони за плечи, и та могла бы поучиться у кузины сдержанности.

— Как это должно быть для тебя ужасно! Этот человек — маньяк.

Маньяк. В слове была утонченность и жесткость медицинского диагноза. Брайони знала этого человека столько лет, и вот кем он оказался! Когда она была маленькой, он таскал ее на плечах и в шутку пугал, притворяясь диким зверем. Она много раз оставалась с ним наедине у пруда. Как-то летом он учил ее держаться на воде и плавать брассом. То, что диагноз ему теперь поставлен, принесло некоторое утешение, хотя сцена у фонтана приобрела еще более зловекий смысл. Брайони решила не рассказывать о ней Лоле, подозревая, что сцена имеет очень простое объяснение, и не желая обнаруживать собственное невежество.

— И что твоя сестра собирается делать?

— Не знаю. — Упомянуть о том, что боится встречи с Сесилией, Брайони также не хотела.

— А я в первое же утро подумала, что он — чудовище, когда услышала, как он орал на близнецов возле бассейна.

Брайони тоже попыталась припомнить моменты, когда могла проявиться мания Робби, и сказала:

— Он всегда притворялся очень милым. Обманывал нас все эти годы.

Смена темы произвела волшебный эффект: кожа вокруг глаз Лолы, еще недавно красная и воспаленная, снова стала бледной и веснушчатой. Теперь кузина выглядела почти так же, как обычно. Взяв Брайони за руку, она сказала:

— Думаю, нужно сообщить о нем в полицию.

Деревенский констебль был добрым малым с нафабранными усами, его жена держала кур и развозила яйца по домам на велосипеде. О том,

чтобы рассказать ему о письме и содержащемся в нем слове, даже произнеся его по буквам задом наперед, не могло быть и речи. Брайони хотела отнять руку, но Лола сжала ее еще крепче. Казалось, она прочла мысли Брайони.

— Нужно просто показать письмо.

— Она может не согласиться.

— Держу пари, что согласится. Ведь маньяк может напасть на кого угодно.

Взгляд Лолы вдруг стал задумчивым, словно она собиралась сообщить кузине что-то новое. Но она промолчала, лишь быстро отошла, взяла расческу Брайони и, встав перед зеркалом, принялась энергично расчесывать волосы. Почти в тот же миг послышался голос миссис Толлис, звавшей всех на ужин. Лола мгновенно напустила на себя капризный вид, и Брайони решила, что столь быстрая смена настроения кузины отчасти объясняется недавними тяжелыми переживаниями.

— Бесполезно, — сказала с расстроенным видом Лола, отбрасывая расческу. — Я совсем не готова. За лицо еще и не принималась.

— Я спущусь и скажу, что ты немного опоздаешь, — успокоила кузину Брайони, но Лола, уже спешившая к выходу, казалось, ее даже не слышала.

Пригладив волосы, Брайони задержалась перед зеркалом, разглядывая свое лицо и недоумевая: что значит «приняться» за лицо, что можно с ним делать, хотя отдавала себе отчет, что не за горами тот день, когда и ей придется этим заниматься. Еще одно посягательство на ее время. По крайней мере, ей не нужно замазывать веснушки, что сэкономит силы. Давным-давно, когда Брайони было десять лет, она решила, что помада делает ее похожей на клоуна. Это заключение следовало подвергнуть ревизии. Впрочем, не теперь, когда и так есть о чем подумать. Стоя у стола, она машинально снимала и надевала на ручку колпачок. Писать рассказы — занятие бесперспективное и ничтожное, когда вокруг действуют столь мощные и непредсказуемые силы и когда события одного только дня способны изменить все, что было прежде. А еще эта дама, проглотившая муху... Не совершила ли Брайони ужасной ошибки, признавшись во всем Лоле? Сесилии вряд ли понравится, если несдержанная Лола станет демонстрировать свою осведомленность о записке Робби. И как вообще можно спуститься и сесть за один стол с маньяком? Если полиция его арестует, Брайони, вероятно, вызовут в суд свидетельницей, и в доказательство там придется произнести слово вслух.

Нехотя покинув комнату и пройдя вдоль тускло освещенного, обшитого деревянными панелями коридора, она остановилась на верхней

ступеньке и прислушалась. Голоса доносились еще из гостиной. Брайони услышала тихую речь матери и мистера Маршалла, потом — голоса близнецов. Ни Сесилии, ни маньяка. Неохотно начав спускаться по лестнице, она почувствовала, как колотится сердце. Жизнь перестала быть простой. Еще три дня назад она заканчивала «Злоключения Арабеллы» и ждала приезда кузенов и кузины. Она мечтала о переменах — ну вот они, пожалуйста. Однако все оказалось не просто плохо — события грозили принять еще более ужасный оборот. На первой площадке Брайони снова остановилась, чтобы составить план действий. Она будет держаться независимо по отношению к своенравной кузине, постарается даже не встречаться с ней взглядом, чтобы не оказаться участницей тайного заговора или не спровоцировать катастрофическую вспышку с ее стороны. К Сесилии, которую Брайони следует защищать, она не посмеет приблизиться. Что же касается Робби, то от него она будет держаться подальше в целях безопасности. Мама с ее суетливостью не помощница. В ее присутствии вообще невозможно мыслить здраво. Остаются близнецы, они станут ее спасением. Брайони будет их опекать, не отойдет от них ни на шаг. Но эти летние ужины всегда так поздно начинаются, уже одиннадцатый час, мальчики будут уставшими. Видно, придется ей общаться с мистером Маршаллом, расспрашивать его о шоколаде — кто его придумал, как его делают. План был трусливым, но другого она придумать не могла. Поскольку вот-вот начнут подавать на стол, едва ли уместно вызывать сейчас из деревни констебля Уокинса.

Продолжив спускаться по лестнице, Брайони подумала, что следовало посоветовать Лоле переодеться, чтобы скрыть царапину на руке. Но если заговорить об этом, она может снова расплакаться. К тому же, вполне вероятно, ее и не удалось бы убедить отказаться от облегающего платья, сковывавшего шаг. Ради желания выглядеть взрослой можно претерпеть и не такие неудобства. Брайони и сама была готова на нечто подобное. Царапина была не у нее, но она чувствовала ответственность и за эту царапину, и за все, чему суждено было произойти. Когда отец появлялся дома, все сидели за столом на определенных местах. Он ничего специально не организовывал, не ходил по комнатам, наблюдая за домочадцами, редко указывал кому бы то ни было, что делать, — в сущности, большую часть времени он вообще проводил за закрытой дверью библиотеки. Но при нем порядок устанавливался сам собой, хотя ничья свобода не ущемлялась. Все заботы сваливались с плеч. Если отец находился дома, становилось не важно, что мама уединилась в спальне; вполне достаточно было знать, что он — здесь, внизу, с книгой в руках. Когда он усаживался за стол,

спокойный, приветливый, непоколебимо уверенный в себе, любой кухонный конфликт начинал казаться не более чем забавной сценкой; без него же это была душераздирающая драма. Он знал почти все, что следовало знать, а если не знал, то всегда мог сказать, к какому авторитету необходимо обратиться, и вел Брайони за собой в библиотеку, чтобы она помогла ему найти нужную книгу. Если бы отец не был рабом министерства и планового прогнозирования, как он сам себя называл, если бы сидел дома, отдавал распоряжения Хардмену насчет выбора вина, вел беседу, сам решал — внешне не подавая виду, — когда ее «пора сворачивать», Брайони не брела бы сейчас через холл с таким чувством, будто к ее ногам привязаны гири.

Мысли об отце заставили ее замедлить шаг, когда она проходила мимо библиотеки, дверь которой почему-то оказалась закрытой. Брайони остановилась и прислушалась. Из кухни доносилось позвякивание металла по фарфору, из гостиной — тихий говор мамы и мистера Маршалла, чуть ближе — высокие звонкие голоса близнецов.

— Это слово нужно писать через «ю», я знаю, — говорил один.

Другой отвечал:

— Мне все равно. Клади это в конверт.

А из-за закрытой двери библиотеки вдруг послышался какой-то скрип, потом — глухой удар, потом — бормотание, то ли мужское, то ли женское. Позднее, вспоминая этот момент — а размышляла Брайони о нем немало, — она не могла сказать, ожидала ли увидеть что-то определенное, кладя руку на медную дверную ручку и поворачивая ее. Но она уже прочла письмо Робби, уже назначила себя защитницей сестры — кузина ей многое объяснила, — и поэтому увиденное отчасти было воспринято ею в свете того, что она знала или думала, что знает.

Сначала, открыв дверь и войдя, Брайони вообще ничего не рассмотрела. В комнате горела лишь настольная лампа под зеленым абажуром, освещавшая небольшую часть затянутой тисненой кожей столешницы. Но, углубившись в библиотеку еще на несколько шагов, Брайони увидела их — темные тени в дальнем углу. Хотя они оставались неподвижными, ей сразу показалось, что рукопашное сражение прервалось в самом разгаре. Сцена была такой яркой и до такой степени соответствовала ее худшим опасениям, что ей почудилось на миг, будто это ее взбудораженное сверх меры воображение причудливо спроектировало тени фигур на стену из книжных корешков. Но по мере того как глаза привыкали к темноте, надежда на то, что это лишь иллюзия, меркла. Никто не двигался. Поверх плеча Робби Брайони видела полные ужаса глаза

сестры. Он повернулся, чтобы взглянуть, кто ему помешал, но не отпустил Сесилию, а стоял, зажав ее с подпернутой выше колен юбкой в угол, где сходились книжные полки. Левая рука, обвив ее шею, вцепилась в волосы, правой он держал ее поднятую — то ли протестующую, то ли разящую — руку.

Он казался таким огромным и взбешенным, а Сесилия с обнаженными плечами и тонкими руками такой хрупкой, что Брайони даже представить не могла, чем все это кончится, когда двинулась к ним. Она хотела закричать, но у нее перехватило дыхание, а язык стал тяжелым и неповоротливым. Робби сдвинулся в сторону, чтобы закрыть от нее сестру. Потом Сесилия высвободилась — он ее больше не удерживал. Брайони остановилась и произнесла имя сестры. Когда та проходила мимо, в ее взгляде не было ни благодарности, ни облегчения. Лицо казалось бесстрастным, почти спокойным, она смотрела прямо перед собой на дверь, через которую собиралась выйти. В следующий миг Брайони осталась наедине с Робби. Он тоже не смотрел ей в глаза, а лишь вперил взгляд в угол, стал одергивать костюм и поправлять галстук. Брайони начала осторожно пятиться — он не сделал ни малейшей попытки напасть, даже головы не поднял. Тогда она повернулась и побежала за Сесилией. Но в холле уже никого не было, и понять, куда направилась сестра, не представлялось возможным.

Несмотря на добавление измельченной свежей мяты к смеси распущенного шоколада, яичного желтка, рома, джина, протертого банана и сладкого льда, коктейль не был особенно освежающим. Он окончательно убил аппетит, и без того слабый из-за вечерней духоты. Почти все взрослые, войдя в столовую, с отвращением думали о горячем жарком и даже о холодном ростбифе с салатом. Их порадовал бы только стакан холодной воды. Но вода предназначалась лишь детям, остальным предстояло довольствоваться десертным вином комнатной температуры. На столе уже стояли три открытые бутылки — Бетти в отсутствие Джека Толлиса обычно выбирала его по наитию. Ни одного из трех высоких окон нельзя было открыть, потому что рамы давным-давно перекосились, и сотрапезников встретил запах теплой пыли, исходивший от персидского ковра. Единственным утешением было то, что у торговца рыбой, который должен был привезти крабов, сломалась повозка и первое блюдо пришлось отменить.

Удушающий эффект усугублялся темными панелями, которыми были обшиты потолок и стены, а также единственной картиной — огромным полотном, висевшим над камином. Камин этот ни разу не зажигался — ошибка в строительных чертежах не дала возможности построить дымоход. На картине в стиле Гейнсборо было изображено аристократическое семейство — родители, две девочки-подростка и наследник. Все бледные и тонкогубые, как вурдалаки, они стояли на фоне пейзажа, отдаленно напоминавшего тосканский. Никто не знал, кто эти люди, но, похоже, Хэрри Толлис считал, что их присутствие придает солидности его собственному роду.

Стоя во главе стола, Эмилия рассаживала входящих. Леону указала место справа от себя. Полу Маршаллу — слева. По правую руку от Леона надлежало сесть Брайони, дальше — близнецам. Сесилия оказалась слева от Маршалла, потом — Робби, потом — Лола. Робби стоял за своим стулом, вцепившись в спинку, чтобы не покачнуться, и удивлялся, что никто не слышал громкого биения его сердца. Ему удалось уклониться от коктейля, но аппетита не было и у него. Он старался не смотреть на Сесилию и, когда все заняли свои места, с облегчением обнаружил, что оказался рядом с детьми.

По знаку матери Леон пробормотал короткую молитву, возблагодарив

Бога за все, что Он послал им, — легкое поскрипывание стульев можно было счесть за ответное: «Аминь». Тишину, воцарившуюся, пока все усаживались и разворачивали салфетки, Джек Толлис легко разрядил бы, предложив какую-нибудь интересную тему для разговора, пока Бетти предлагала всем мясо. Теперь же вместо этого все наблюдали, как она обходит гостей, и прислушивались к тому, что, склонившись к каждому, она бормочет, скребя салатными ложкой и вилкой по серебряному блюду. На чем же еще они могли сосредоточить внимание? Эмилия Толлис никогда не слыла мастерицей застольной беседы и не придавала ей особого значения. Леон, безразличный к остальным, качался на стуле, изучая этикетку на бутылке. Сесилия была полностью поглощена событием, произошедшим десятью минутами раньше, и не могла в этот момент составить даже самой простой фразы. Робби считался своим человеком в доме, и ему по силам было бы затеять какой-нибудь разговор, но и он находился в смятении. Достаточно и того, что ему удавалось притворяться, будто он не замечал рядом обнаженной руки Сесилии, чье тепло ощущал, и враждебного взгляда Брайони, сидевшей наискосок от него. Что же касается детей, то, даже если бы им и пристало начинать разговор, они не могли бы этого сделать: Брайони думала только о том, чему оказалась свидетельницей, Лола ощущала подавленность после схватки с братьями и боролась с потоком противоречивых чувств, а близнецы полностью сосредоточились на своем тайном плане.

В конце концов более чем трехминутное гнетущее молчание нарушил Пол Маршалл. Откинувшись на спинку стула, он через голову Сесилии обратился к Робби:

— Так мы завтра играем в теннис?

Робби заметил двухдюймовую царапинку, спускавшуюся от уголка глаза Маршалла вдоль носа и усиливавшую впечатление, будто все черты его лица располагались где-то вверху, концентрируясь вокруг глаз. Какая-то малость мешала Маршаллу казаться жестоким красавцем. Еще чуть-чуть, и он был бы неотразим. Но этого «чуть-чуть» ему и не хватало, и в результате вид получался нелепым — чересчур массивный подбородок контрастировал с перегруженной чертами верхней частью лица. Из вежливости Робби решил ответить, хотя и удивился вопросу: было крайне невежливо со стороны Маршалла в начале застолья отвернуться от хозяйки и затеять отдельный разговор.

— Надеюсь, — сдержанно ответил он и, чтобы загладить неловкость Маршалла, спросил, обращаясь ко всем: — Кто-нибудь помнит, чтобы в Англии когда-нибудь стояла такая жара?

Постаравшись как можно дальше отклониться от излучаемого Сесилией тепла и не встретиться взглядом с Брайони, он невольно адресовал свой вопрос испуганному Пьеро, сидевшему слева по диагонали. Набрав полные легкие воздуха, мальчик стал лихорадочно, как на уроке истории (или географии? а может, биологии?), искать ответ.

Склонившись через Джексона, чтобы положить руку на плечо Пьеро, и не отводя глаз от Робби, Брайони громким шепотом сказала:

— Пожалуйста, оставьте его в покое. — И, уже обращаясь к мальчику, мягко добавила: — Ты не обязан отвечать.

Тут со своего конца стола подала голос Эмилия:

— Брайони, это было совершенно невинное замечание о погоде. Ты должна извиниться или немедленно отправишься к себе в комнату.

Каждый раз, когда миссис Толлис пыталась продемонстрировать родительский авторитет в отсутствие мужа, дети считали необходимым сделать так, чтобы бесплодность ее усилий не стала очевидна всем. Брайони, которая не могла себе позволить оставить сестру беззащитной, низко опустила голову и сказала, обращаясь к скатерти:

— Простите. Я сожалею о своей несдержанности.

Накрытые крышками судки и выцветшие спондусовские фарфоровые блюда передавались из рук в руки, и — таково было общее намерение или вежливое желание скрыть отсутствие аппетита — большинство присутствующих в конце концов наложили себе на тарелки и печеной картошки, и картофельного салата, и брюссельской капусты, и свеклы, и листьев латука под соусом.

— Старик не обрадуется, — сказал Леон, вставая. — Это вино двадцать первого года, но ничего не поделаешь — уже открыли. — Он наполнил бокал матери, потом налил сестре, Маршаллу, а остановившись за стулом Робби, пошутил: — И целительный глоток для будущего доктора. Я хотел бы услышать об этом новом плане.

Ответа Леон дожидаться не стал. Возвращаясь на свое место, он заметил:

— Я люблю, когда Англию накрывает волна жары. Она становится совсем другой страной. Меняются все правила.

Эмилия Толлис взяла в руки нож и вилку. Все последовали ее примеру.

— Чушь, — возразил Маршалл. — Приведи хоть одно правило, которое меняется при жаре.

— Пожалуйста. Единственное место в клубе, где разрешается снимать пиджаки, — это бильярдная. Но если до трех часов дня температура поднимается выше девяноста градусов,^[14] на следующий день их можно

снимать и в верхнем баре.

— На следующий день! Да уж — совсем другая страна.

— Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Люди ведут себя раскованнее. Пара солнечных деньков — и мы превращаемся в итальянцев. На прошлой неделе на Шарлотт-стрит люди ужинали за столиками, выставленными на тротуар.

— Мои родители всегда считали, — вставила Эмилия, — что жаркая погода способствует распушенности нравов среди молодежи. Меньше одежды, больше мест, где можно встречаться. Вне дома, без присмотра. Ваша бабушка летом всегда испытывала особое беспокойство. Она придумывала тысячи предлогов, чтобы удержать нас с сестрой дома.

— Вот как, — сказал Леон. — А что ты думаешь по этому поводу, Си? Вела ли ты себя сегодня еще хуже, чем обычно?

Все взгляды устремились на Сесилию, шутка брата оказалась жестокой.

— Бог ты мой, да ты краснеешь. Стало быть, ответ — да?

Чувствуя, что нужно как-то помочь, Робби начал было:

— Вообще-то...

Но Сесилия перебила его:

— Мне просто очень жарко, вот и все. А ответ действительно — да. Я вела себя отвратительно. Уговорила Эмилию против ее воли ознаменовать твой приезд горячим жарким, невзирая на погоду. И теперь ты ешь один салат, а всем нам приходится по твоей вине мучиться. Брайони, передай-ка ему еще овощей, может, тогда он заткнется.

Робби показалось, что он уловил дрожь в ее голосе.

— Дорогая старушка Си, — восхитился Леон, — ты в отличной форме!

— И прекрасно поставила тебя на место, — подхватил Маршалл.

— Полагаю, мне лучше подразнить кого-нибудь помладше. — И Леон с улыбкой обернулся к Брайони. — Совершила ли ты что-нибудь ужасное по причине сегодняшней жары? Нарушила ли какие-нибудь правила? Пожалуйста, скажи, что это так. — Он схватил руку Брайони в притворной мольбе, но она быстро ее отдернула.

Она еще ребенок, подумал Робби, и вполне может выпалить, что прочла его записку, а это приведет к новому признанию, и все узнают, что она видела потом. Пока девочка старалась выиграть время, взяв салфетку и делая вид, будто вытирает губы, он пристально смотрел на нее, но особого страха не испытывал. Чему быть — того не миновать. Каким бы неприятным ни был этот ужин, вечно длиться он не может, и ему удастся

найти способ сегодня же снова остаться с Сесилией наедине; они вместе посмотрят в лицо новой жизни — изменившейся жизни — и продолжат... При этой мысли у него словно провалился желудок. До сих пор все представлялось смутным и бесполезным, он боялся, сам не зная чего. Отхлебнув добрый глоток тепловатого вина, Робби ждал.

— Наверное, я всех огорчу, но я сегодня не сделала ничего плохого.

Он ее недооценил. Ударение на слове «я» она сделала неспроста. Намек на него и сестру.

Сидевший рядом с Брайони Джексон не удержался:

— Нет, сделала! Ты сорвала спектакль. Мы хотели участвовать в спектакле. — Он обвел глазами стол, в зеленых глазах мальчика билась жалоба. — А еще говорила, что хочешь, чтобы мы играли в пьесе.

Его брат согласно кивнул:

— Да. Ты хотела сначала, чтобы мы участвовали.

Никто не мог понять всей глубины их разочарования.

— Вот, значит, как, — сказал Леон. — Брайони приняла решение на горячую голову. Будь день попрохладнее, мы бы сейчас сидели в библиотеке и смотрели театральное представление.

Эти невинные глупости, куда более предпочтительные, чем молчание, дали возможность Робби укрыться за маской заинтересованного внимания. Сесилия подпирала щеку левой рукой, скорее всего, чтобы закрыться от его взгляда. Притворившись, будто слушает рассказ Леона о спектакле в Уэст-Энде, где он видел короля, Робби получил возможность разглядывать обнаженную руку и плечо Сесилии. Ему казалось, что она кожей ощущает его дыхание, и это волновало его. Сверху у нее на плече была маленькая, обрамленная пушком выемка — скоро он будет ласкать края этой ямочки языком, стараясь попасть кончиком в ее середину. Волнение было почти болезненным и усугублялось тем, что он знал ее так же хорошо, как брат знает сестру, но в качестве любовницы она была для него экзотикой; он был знаком с ней всю жизнь и, в сущности, ничего о ней не знал; она была невзрачной и в то же время красавицей; она была находчивой — как легко она парировала шутку брата, — а двадцать минут назад плакала. Его дурацкое письмо возмутило ее, но и заставило раскрыться. Скоро они останутся одни, и на них обрушится море эмоций, безудержная веселость и чувственное влечение, желание и страх перед собственным безрассудством, благоговейный трепет и нетерпение поскорее начать. В какой-нибудь пустующей комнате на третьем этаже или вдали от дома, под деревьями у реки? Где? Миссис Толлис была не так глупа. Вдали от дома. Там,

окутанные шелковой тьмой, они все начнут снова. И это не фантазия, а реальность, ближайшее будущее, столь же желанное, сколь и неотвратимое. «Никаких преград между мной и полным завершением моих надежд!»^[15] — как говаривал жалкий Мальволио, роль которого Робби исполнял когда-то в колледже на сцене под открытым небом.

А ведь еще полчаса назад у него не было никаких надежд. После того как Брайони скрылась в доме с его письмом, он продолжил свой путь, хотя ему мучительно хотелось вернуться назад. Даже подойдя к двери, он еще не знал, как быть, и несколько минут мешкал, пытаясь из двух зол выбрать меньшее, под освещавшим крыльцо фонарем, вокруг которого бился единственный преданный мотылек. В конце концов выбор свелся к следующему: либо войти и открыто встретить ее гнев и презрение, представить объяснения, которые, разумеется, не будут приняты, скорее всего, быть отвергнутым и испытать невыносимое унижение; либо, не говоря ни слова, уйти прямо сейчас, сделав вид, что письмо было послано сознательно, и мучиться всю ночь и последующие дни, не ведая, какова была ее реакция. Последнее было бы еще более ужасно. И бесхарактерно. Он обдумал обе возможности еще раз и пришел к тому же выводу. Выхода не было: ему придется поговорить с ней. Он положил палец на кнопку дверного звонка, все еще испытывая искушение повернуться и уйти. Тогда можно было бы в безопасной тиши кабинета написать письмо с извинениями. Трусость! Палец лежал на прохладном фарфоре кнопки, и, прежде чем сомнения не одолели его окончательно, он заставил себя нажать на нее. Отступив на шаг, он почувствовал себя как человек, только что проглотивший смертельный яд, не оставалось ничего иного, кроме как ждать. В доме слышались шаги — стаккато женских каблучков по кафельному полу холла.

Когда Сесилия открыла дверь, он заметил в ее руке свое сложенное письмо. Несколько секунд они стояли, молча глядя друг на друга. Он так и не придумал, с чего начать. Единственной мыслью, вертевшейся у него в голове, была мысль о том, что на самом деле Сесилия еще прекраснее, чем он воображал. Шелковое платье нежно облегалo все изгибы ее стройной фигуры, но чувственные губы маленького рта были сжаты, выражая презрение, а может, даже отвращение. Яркий свет ламп, горевших у нее за спиной, слепил его и не позволял рассмотреть выражение лица.

В конце концов он все же произнес:

— Си, это была ошибка.

— Ошибка?

Через открытую дверь гостиной до него донеслись голоса: сначала

голос Леона, потом — Маршалла. Вероятно, из опасения, что их прервут, она отступила и пошире открыла дверь. Он проследовал за ней в библиотеку, погруженную в полумрак, и, стоя у двери, терпеливо ждал, пока она нащупает кнопку настольной лампы. Когда лампа зажглась, закрыл дверь. Он представлял, как уже через несколько минут будет идти через парк назад, в свое бунгало.

— Это не тот вариант, который я собирался тебе передать.

— Вот как?

— Я вложил в конверт не тот листок.

— Ах так?

По ее сухим репликам он ничего не мог понять, а выражения ее лица по-прежнему не видел отчетливо. Она обошла стол и оказалась за лампой, у книжных полок. Он сделал еще несколько шагов в глубь комнаты, не преследуя ее, а просто для того, чтобы расстояние между ними не было слишком большим. Сесилия могла прогнать его еще тогда, когда он стоял у входа, а теперь у него появился шанс объясниться.

— Брайони прочла письмо, — сказала она.

— О боже! Прости.

Он чуть было не начал с мольбой о прощении рассказывать ей о безудержности своих чувств, о нетерпении, заставляющем забыть приличия, о том, как он читал купленного в Сохо из-под полы «Любовника леди Чаттерлей», выпущенного издательством «Ориолио». Но эта новость — нечаянно вовлеченный в дело невинный ребенок — переводила его промашку в разряд поступков, исключающих возможность прощения. Теперь предлагать какие бы то ни было объяснения было неприлично. Он лишь повторил, на сей раз шепотом:

— Прости...

Она попятилась еще дальше в угол и оказалась в глубокой тени. Но, даже сознавая, что она хочет спрятаться от него, он невольно сделал еще несколько шагов вперед.

— Это было глупо. Но у меня и мысли не возникло, что ты это увидишь. Что кто-либо вообще это увидит.

Она дернулась в сторону. Одно плечо уперлось в стеллаж. Ему показалось, что она скользит по нему и вот-вот исчезнет между книгами. И тут он услышал тихий хлюпающий звук, какой бывает, когда человек, пытаясь что-то сказать, с трудом отдирает язык от нёба. Но она ничего не сказала. Только теперь ему пришло в голову, что Сесилия, быть может, не отступала от него, а уводила поглубже в тень. С того момента, как он решил позвонить в дверь, терять ему было нечего, и он стал медленно

наступать, пока она не уперлась спиной в угол, наблюдая за его приближением. Шагах в трех от нее он остановился. Здесь было довольно светло, и стоял он теперь достаточно близко, чтобы увидеть: она пытается справиться со слезами и что-то сказать. Ей это не удавалось, и она покачала головой, давая понять, чтобы он подождал. Отвернувшись и прикрыв нос и рот сложенными домиком ладонями, она промокнула слезы, потом взяла себя в руки и вымолвила:

— Я чувствовала это уже несколько недель... — У нее перехватило горло, она запнулась. Его осенила догадка, но он отогнал ее. Сесилия глубоко вдохнула и продолжила уже более уверенно: — А может, и месяцев. Не знаю. Но сегодня... весь день я ощущала себя как-то странно. Понимаешь, я видела все в каком-то необычном свете, словно впервые. Все стало другим — слишком резким, слишком реальным. Даже собственные руки казались мне другими. Порой я думала, что присутствую при событиях, произошедших давным-давно. Я весь день злилась на тебя — и на себя тоже. Думала, буду счастлива никогда больше не видеть тебя, не разговаривать с тобой. Вот уедешь ты в свой медицинский колледж — и я буду счастлива. Я так на тебя сердилась! Наверное, это было способом заставить себя не думать об этом. Весьма неудачным, впрочем... — У нее вырвался короткий сдвленный смешок.

— Об «этом»? — переспросил он.

До сих пор она стояла, опустив глаза. Заговорив вновь, посмотрела на него.

— Ты догадался раньше. Что-то произошло, ведь правда? И ты понял это раньше, чем я. Как будто находишься близко к чему-то настолько огромному, что не можешь охватить его взглядом. Даже сейчас я не уверена, что мне это удалось. Но я уже знаю, оно здесь.

Сесилия снова опустила глаза, он ждал.

— Знаю, оно здесь, потому что невольно веду себя смешно. И ты, конечно... Но сегодня утром... Я никогда в жизни не делала ничего подобного. И потом так злилась из-за этого. Злилась уже тогда, когда делала. Я убеждала себя, что сама вложила тебе в руки оружие против себя самой. А потом, вечером, когда начала понимать... Господи, как же я могла настолько не знать себя? Быть такой слепой и такой глупой? — Внезапно пораженная неприятной мыслью, она взглянула на него. — Ты ведь понимаешь, о чем я говорю? Ну скажи, что понимаешь! — Она вдруг испугалась, что он не разделяет ее чувств, что все ее догадки ложны, что своими словами она лишь увеличивает разрыв между ними и он будет считать ее душой.

Он подошел ближе.

— Я понимаю. Я очень хорошо понимаю. Но почему ты плачешь? Есть что-то еще?

Ему казалось, она вот-вот заговорит о каком-то непреодолимом препятствии, которое в его представлении, конечно же, ассоциировалось с кем-то, но она не поняла его вопроса и не знала, что ответить, просто смотрела на него в полном замешательстве. Почему она плачет? Как объяснить ему это, когда столько эмоций — и каких! — захлестывают ее? Он, в свою очередь, почувствовал, что вопрос получился нечестным, неуместным, и изо всех сил старался придумать, как сформулировать его поточнее. Они смущенно смотрели друг на друга, не в состоянии произнести ни слова, боясь, что нечто очень хрупкое, только что возникшее между ними, может исчезнуть. Они были друзьями с детства, но теперь это становилось преградой — им было неловко перед самими собой, прежними. В последние годы их отношения стали несколько вымученными, но старая привычка общаться по-дружески сохранилась, и сломать ее теперь, чтобы ощутить себя незнакомцами в интимном плане, было нелегко, для этого требовалась ясность цели, а она-то как раз и отсутствовала. Казалось очевидным, что в данный момент найти выход с помощью слов невозможно.

Он положил руки ей на плечи и ощутил прохладу обнаженной кожи. Даже когда их лица стали сближаться, он все еще не был уверен, что она не отпрянет от него и не ударит, как показывают в кино, по лицу. Он ощутил вкус помады и соли на ее губах. Они на миг отстранились друг от друга, потом он обнял ее, и они поцеловались снова, уже увереннее. Когда же кончики их языков робко соприкоснулись, она издала вздох изнеможения, который, как он понял позднее, знаменовал превращение. До этого момента была еще какая-то нелепость в подобной близости знакомого лица. Им все еще казалось, что они сами насмешливо смотрят на себя из далекого детства. Но соприкосновение языков, ощущение одной влажной плоти на другой и вырвавшийся из уст Сесилии странный звук изменили все. Этот звук словно бы проник в Робби, полоснул вдоль всего его длинного тела... Он поцеловал ее уже без всякого смущения. То, что вызывало неловкость, исчезло, стало почти абстрактным. Ее вздох был исполнен желания, и он, тоже ощутив прилив желания, зажал ее в угол между книгами. Они продолжали целоваться, она тянула его за пиджак, неловко пыталась сорвать с него рубашку, расстегнуть пояс. Впиваясь друг в друга губами, они прижимались друг к другу. Она довольно сильно укусила его в щеку. Он отпрянул на миг, но тут же прильнул к ней снова, и она, уже сильнее,

прихватила зубами его нижнюю губу. Он целовал шею Сесилии, откидывая ее голову назад, прижимая к полкам, она тянула его за волосы, стараясь приблизить его голову к своей груди. С неуклюжестью неопытного любовника он нащупал наконец ее сосок, маленький, твердый, и обхватил его губами. Она сначала замерла, потом задрожала. На миг ему показалось, что Сесилия теряет сознание. Ее руки обвились вокруг его шеи и сжали ее так сильно, что он не мог дышать; тогда, протиснувшись сквозь кольцо ее рук, он выпрямился во весь свой рост и, разомкнув ее ладони, притянул ее голову к своей груди. Она снова укусила его и рванула рубашку. Услышав, как звякнула упавшая на пол пуговица, они с трудом удержались от смеха и отвели взгляд в сторону. Сесилия прикусила его сосок. Ощущение было почти невыносимым. Робби запрокинул ей голову и, прижав ее к книжным корешкам, стал осыпать поцелуями глаза, языком раздвигать губы. От беспомощности у нее снова вырвался звук, похожий на вздох разочарования.

Наконец-то они чувствовали себя незнакомцами, прошлое было забыто. Каждый из них и себе самому казался другим, не понимающим, кто он и где находится. Дверь в библиотеке была массивной, и звуки из холла, которые могли бы насторожить их, заставить разойтись, до них не долетали. Они пребывали вне реального времени и пространства, там, где не было места ни воспоминаниям о прошлом, ни мыслям о будущем. Вокруг не существовало вообще ничего, кроме всепоглощающего ощущения, волнующего и нарастающего, кроме шуршания ткани и их неумолимой чувственной схватки. Опыт Робби был невелик, он только с чужих слов знал, что ложиться необязательно. Что же касается Сесилии, то, несмотря на все увиденные фильмы, прочитанные романы и лирические стихи, у нее не было никакого опыта. Тем не менее, невзирая на всю свою неопытность, они на удивление ясно представляли себе, чего хотят. Они целовались снова и снова, она крепко обхватывала его голову, лизала ухо, прикусывала мочку. Это возбуждало его все больше, распаляло, подхлестывало. Нашупав под юбкой ее ягодицы, он больно сжал их и, чуть развернув ее вбок, хотел шлепнуть «в наказание», но места, чтобы размахнуться, не хватало. Не отводя взгляда от его лица, она потянулась вниз — сбросить туфли. Они неуклюже суетились, расстегивая пуговицы, ища удобное положение. Все у них получалось неловко, но оба не испытывали никакого смущения. Когда он снова поддернул вверх облегающую шелковую юбку Сесилии, ему показалось, что в ее взгляде отразилась та же неуверенность, какую испытывал он сам. Однако существовал лишь один неизбежный исход, и им не оставалось ничего

ино, как устремиться к нему.

Зажатая в угол, она обхватила руками шею Робби, уперлась локтями в его плечи и продолжала осыпать поцелуями лицо. Решающий момент оказался легким. Прежде чем плева разорвалась, они оба затаили дыхание, а когда это произошло, Сесилия быстро отвернулась, но не издала ни звука — гордость не позволила. Они двигались навстречу друг другу — глубже, глубже, — но за несколько секунд до конца вдруг замерли, пораженные неподвижностью. Их потряс не факт свершения, а чувство благоговейного страха перед возвращением. Почти соприкасаясь лицами, они смотрели друг на друга, изумляясь, что почти не видят глаз друг друга, и теперь настал черед отступить от той безличности, какая возникла совсем недавно. Разумеется, ни для одного из них не было ничего абстрактного в лице другого. Это были все те же сын Грейс и Эрнеста Тернеров и дочь Эмилии и Джека Толлисов, друзья детства, университетские однокашники, застывшие в состоянии безграничного восторга, потрясенные произошедшей с ними переменой. Близость знакомого лица не казалась нелепой, она была невиданным чудом. Робби смотрел на женщину, на девочку, которую знал всю жизнь, и думал, что перемена таится в нем самом и является настолько существенной, настолько биологически значимой, что может сравниться лишь с моментом появления на свет. Со дня его рождения с ним никогда не происходило ничего столь же важного и уникального. Сесилия ответила ему таким же взглядом, полным изумления перед случившимся и восхищения красотой лица, привычка к которому с раннего детства приучила ее не обращать на него никакого внимания. Она прошептала его имя, старательно выговаривая каждый звук, — как ребенок, который только учится говорить. Когда он в ответ прошептал ее имя, оно прозвучало как новое, незнакомое слово — те же слоги, но совсем другое значение. И наконец он выговорил три простых слова, которых ни бесчисленные произведения пошлого искусства, ни постулаты ложной веры так и не смогли полностью обесценить. Она повторила их, точно так же слегка выделив второе слово, словно была первой, кто их произнес. Робби не веровал, но не мог избавиться от ощущения невидимого присутствия некоего свидетеля, и, произнесенные вслух, слова эти прозвучали для него как оглашение подписей под невидимым договором.

Они оставались неподвижными с полминуты. Чтобы сдерживаться дольше, требовалось владеть высшими приемами тантризма. Они снова предались любовному наслаждению, упираясь в книжные полки, поскрипывавшие в такт их движениям. В такие моменты человек часто фантазирует, переносясь в отдаленные и возвышенные пространства. Робби

видел, как шагает по скругленной вершине горы, словно зависшей между двумя более высокими пиками. Он неспешно осматривался, не торопясь подходить к скалистому обрыву и заглядывать в почти отвесную пропасть, куда ему вскоре предстояло броситься. Было соблазнительно прямо сейчас прыгнуть вниз, но он был человеком, умудренным опытом, поэтому находил в себе силы отойти от края и ждать. Это оказалось нелегко, его тянуло назад, приходилось сопротивляться. Если не думать о крае, можно заставить себя не подходить к нему и избежать искушения. Он нарочно стал вспоминать о самых скучных вещах на свете: гуталине, многочисленных бланках, которые обязаны заполнять абитуриенты, мокрым полотенце на полу своей спальни. Перед глазами всплыла перевернутая крышка мусорного ведра с застоявшейся дождевой водой, полукруг, оставшийся от чайной чашки на обложке «Стихотворений» Хаусмена... Эту мысленную опись драгоценностей прервал ее голос. Она звала, приглашала его, мурлыча ему в ухо. Да. Они должны совершить прыжок вместе. Теперь он был с ней, они вдвоем заглядывали в пропасть и видели, как, осыпаясь, камни пробивают пелену облаков. Рука в руке, они будут падать, обратив лица к небу. Прижав губы к его уху, она все время повторяла одно и то же, и теперь он разобрал наконец слова:

— Кто-то вошел.

Он открыл глаза. Библиотека. Полная тишина. На нем — его лучший костюм. Все это он осознал довольно легко. С трудом повернув голову и взглянув через плечо, увидел лишь тускло освещенный письменный стол на привычном месте. Из угла, в котором они находились, дверь была не видна, но оттуда не доносилось ни единого звука, не падало ни малейшей тени. Она ошиблась. Ему отчаянно хотелось, чтобы она ошиблась, и, судя по всему, так и было. Он повернул к ней голову и хотел было уже это сказать, но она с силой сжала его руку, и он снова оглянулся. Брайони медленно шла по направлению к ним, потом остановилась, наткнувшись на стол, но не отвела взгляда. Так она и стояла там с глупым видом, уставившись на них, безвольно опустив руки. В этот короткий миг в голове у него промелькнула мысль, что он до сих пор ни к кому не испытывал ненависти. Ненависть оказалась таким же чистым чувством, как любовь, но лишенным страсти и рассудочно-ледяным. В ней не было ничего личного, потому что он возненавидел бы любого, кто сюда вошел. В гостиной или на террасе все собрались на аперитив, и Брайони надлежало быть там — с матерью, братом, которого она обожала, со своими маленькими кузенами. Не было никакой причины, которая могла бы привести ее в библиотеку, кроме как желание найти его здесь и лишить того, что ему принадлежало.

Он ясно представил, как все случилось: девочка распечатала его письмо, прочла, испытала отвращение и смутно почувствовала, что ее предали. Она явилась сюда в поисках сестры — без сомнения, полная решимости защитить ее или предостеречь. Услышав шум из-за закрытой двери, движимая дремучим детским невежеством, прямолинейностью и глупым любопытством, она вошла, чтобы положить конец безобразию. Но ей едва ли придется это делать — они и сами уже отстранились друг от друга и теперь скромно опраивали одежду. Все было кончено.

Тарелки из-под основного блюда давно убрали, и Бетти принесла хлебный пудинг. Интересно, это ему кажется или она действительно из вредности положила детям вдвое меньше, чем взрослым, подумал Робби. Леон разливал третью бутылку вина. Он снял пиджак, тем самым подав знак двум другим мужчинам, что они могут последовать его примеру. Многочисленные ночные мотыльки бились в освещенные окна, тихо стуча в стекла. Промокнув губы салфеткой, миссис Толлис ласково посмотрела на близнецов. Пьеро что-то шептал в ухо Джексону.

— Никаких секретов за общим столом, мальчики. Мы все хотим знать, о чем вы говорите.

Джексон, уполномоченный ответить, с трудом сглотнул. Его брат сидел, уставившись в собственные колени.

— Можем мы выйти из-за стола, тетя Эмилия? Нам нужно в клозет.

— Ну конечно. Только не «можем мы», а «можно нам». И не обязательно рассказывать о том, куда вы направляетесь, во всех подробностях.

Двойняшки соскользнули со стульев и бросились к выходу. Когда они были уже у самой двери, Брайони пронзительно закричала, указывая пальцем на их ноги:

— Мои носки! Они надели мои носки с клубничками!

Мальчики повернулись и замерли, переводя взгляд со своих ног на тетюшку. Брайони привстала. Робби догадался, что переполнявшие ее эмоции ищут выхода.

— Вы вошли в мою комнату и взяли их из моего комода!

Впервые за весь вечер Сесилия по собственному почину подала голос. Ей тоже было необходимо дать волю чувствам:

— Заткнись ты, ради бога! Что ты изображаешь из себя маленькую привередливую примадонну! У мальчиков не было чистых носков, и я дала им твои.

Брайони в изумлении уставилась на сестру. Та, кого она так беззаветно

оберегала, набросилась на нее, предала! Пьеро и Джексон не сводили глаз с тетушки, пока та не отпустила их добродушно-снисходительным кивком. Они с преувеличенной, даже комичной осторожностью закрыли за собой дверь. Как только ручка встала на место, Эмилия, а вслед за ней и остальные взялись за ложки.

— Тебе следовало бы быть чуть сдержаннее по отношению к сестре, — мягко укорила Эмилия старшую дочь.

В тот момент, когда Сесилия поворачивалась к матери, Робби уловил слабый аромат ее тела и мысленно представил себя и ее на свежескошенной траве. Скоро они покинут дом. Он на миг закрыл глаза. Перед ним стояла двухпинтовая ладья с заварным кремом, и он удивился, что у него хватило сил поднять ее.

— Прости, Эмилия... Но она весь день выводит меня из себя.

— Очень странно слышать это от тебя, — со спокойствием взрослого человека отозвалась Брайони.

— Что ты хочешь этим сказать?

Робби понял: этого вопроса задавать не следовало. Брайони сейчас переживала неопределенно-переходный период своей жизни — уже не девочка, но еще и не девушка — и совершенно непредсказуемо переходила от одной крайности к другой. В создавшейся ситуации она должна была чувствовать себя увереннее в качестве набедокурившей маленькой девочки.

Вообще-то Брайони и сама точно не понимала, что она хотела сказать, но Робби этого не знал, потому и поспешил сменить тему разговора. Повернувшись к сидевшей слева от него Лоле, но адресуясь ко всем присутствующим, он начал:

— Ваши братья — славные ребята.

— Как же! — свирепо фыркнула Брайони и, не дав вымолвить ни слова кузине, выпалила: — Сразу видно, насколько мало вы понимаете!

Эмилия положила ложку.

— Дорогая, если ты будешь продолжать в том же духе, я буду вынуждена попросить тебя выйти из-за стола.

— Но ты только посмотри, что они с ней сделали! Расцарапали лицо и обожгли руки!

Все взоры обратились на Лолу. Ее лицо потемнело под веснушками, и царапины стали не так видны.

— Все выглядит не так уж страшно, — поспешил сгладить неловкость Робби.

Брайони метнула на него злобный взгляд.

— Следы от детских ногтей! — воскликнула Эмилия. — Нужно

смазать мазью.

Лола собрала все свое мужество и сказала:

— Спасибо, я уже смазала. Мне теперь гораздо лучше.

Пол Маршалл откашлялся:

— Я сам был свидетелем схватки, мне пришлось их от нее оттаскивать. Должен заметить, я был немало удивлен поведением этих мальцов. Они на нее так накинлись...

Эмилия встала из-за стола, подошла к Лоле и взяла ее руки в свои.

— Ты только взгляни! Это не просто ссадины. Твои руки исцарапаны до самых плеч. Как, господи помилуй, они это сделали?

— Не знаю, тетя Эмилия.

Маршалл снова откинулся на стуле и через головы Сесилии и Робби обратился к девочке, смотревшей на него полными слез глазами:

— Знаете, не нужно стыдиться. Вы замечательная девушка и прекрасно их опекаете. Жаль, что вам так досталось.

Лола изо всех сил старалась не расплакаться. Прижав племянницу к животу, Эмилия погладила ее по голове.

Маршалл сказал, обращаясь к Робби:

— Вы правы. Они славные ребята, но, боюсь, им слишком много пришлось пережить в последнее время.

Робби удивился: почему Маршалл ничего не сказал раньше, если Лола так серьезно пострадала? Но тут началась всеобщая суeta. Леон через стол спросил мать, не хочет ли она, чтобы он вызвал доктора. Сесилия встала. Робби тронул ее за руку, она обернулась, и их взгляды встретились впервые после того, как они покинули библиотеку. Однако времени на что-либо еще, кроме этих взглядов, не было. Сесилия поспешила на помощь матери, которая отдавала распоряжения насчет холодного компресса и бормотала слова утешения, склоняясь над племянницей. Только Маршалл остался сидеть за столом и в очередной раз наполнил бокал. Брайони привстала, увидев что-то на стуле, где сидел Джексон, и опять по-девчачьи пронзительно вскрикнула:

— Письмо!

Это был конверт. Она схватила его и хотела было уже вскрыть, но Робби не удержался и спросил:

— Кому оно адресовано?

— Здесь написано: «Всем».

Оторвавшись от тетушки, Лола вытерла лицо салфеткой. Эмилия же, найдя новый неожиданный повод для демонстрации родительского авторитета, строго сказала:

— Нет, ты его не откроешь. Ты сделаешь так, как велю я. Принеси его мне.

Брайони уловила необычные нотки в голосе матери и покорно обошла вокруг стола с конвертом в руке. Отойдя на шаг от Лолы, Эмилия вынула из конверта клочок линованной бумаги. Робби и Сесилия тоже смогли прочесть через ее плечо то, что на нем было написано:

Мы убигаем потому что Лола и Бети над нами издвигаются и мы хотим домой. Простите мы захватили намного фруктов. И пьесы не было.

Ниже мальчики затейливыми росчерками изобразили свои имена.

После того как Эмилия прочла письмо вслух, на несколько секунд воцарилась тишина. Лола сделала несколько шагов по направлению к окну, потом передумала и вернулась к столу. Покачивая головой, она рассеянно бормотала снова и снова:

— Черт, черт, черт...

Маршалл подошел и положил руку ей на плечо:

— Все будет хорошо. Мы разобьемся на группы и вмиг найдем их.

— Ну конечно, — подхватил Леон. — Они ведь ушли только несколько минут назад.

Погруженная в свои мысли, Лола, казалось, ничего не слышала. Направляясь к выходу, она отчетливо произнесла:

— Мама меня убьет.

Когда Леон попытался остановить ее, тронув за плечо, она стряхнула его руку и вышла. Потом они слышали, как Лола бежит через холл.

Обернувшись к сестре, Леон сказал:

— Си, мы с тобой пойдем вместе.

— Луны нет, там совсем темно, — заметил Маршалл.

Когда все двинулись к выходу, Эмилия произнесла:

— Кто-то должен оставаться дома, пусть это буду я.

— В кладовке есть фонари, — вспомнила Сесилия.

— Думаю, тебе следует позвонить констеблю, — сказал Леон, обращаясь к матери.

Робби был последним, кто покинул столовую, и последним, как ему казалось, кто освоился в новой ситуации. Первой мыслью, не оставившей его и тогда, когда он вышел в относительно прохладу холла, была мысль о том, что его обманули. Он не верил, что близнецам угрожает опасность. Испугавшись коров, мальчики вернутся сами. Необозримость ночи за пределами дома, темные деревья, гостеприимные тени, прохлада свежескошенной травы — все это Робби приберегал, предназначал только для себя и Сесилии. Все это ждало их, было их собственностью, которой

они собирались воспользоваться. Завтра или в любой другой день, кроме сегодняшнего, все будет уже не так. Но дом неожиданно выплеснул всех, кто в нем был, в ночь, и она оказалась теперь во власти полукомического семейного катаклизма. Теперь все будут несколько часов бродить по окрестностям, аукая и размахивая фонарями. Близняшек в конце концов найдут, усталых и грязных, все начнут утешать Лолу, и после взаимных поздравлений за чайным столом вечер закончится. Через несколько дней, а может, даже часов все это превратится в забавную историю, которую будут бесконечно вспоминать всякий раз, когда соберется семья: ночь побега близнецов.

Когда Робби вышел на крыльцо, поисковые партии уже расходились по маршрутам. Сесилия шла, держа за руку брата. Оглянувшись, она посмотрела на Робби, стоявшего на ступеньках под фонарем. Ее взгляд и приподнятое плечо означали: сейчас мы ничего не можем поделать. И прежде чем он успел с любовью кивнуть ей в ответ в знак смирения, она отвернулась, и они с Леоном зашагали прочь, выкликая имена мальчиков. Маршалл уже ушел далеко вперед по подъездной аллее, можно было рассмотреть лишь фонарь, который он держал в руке. Лолы нигде видно не было. Брайони заворачивала за угол дома. Она вряд ли захочет составить компанию Робби, и это к лучшему, потому что он уже решил: раз не может быть с Сесилией, только с ней одной, тогда, как и Брайони, предпочитает отправиться на поиски в одиночестве.

Это решение, как ему придется не раз признать впоследствии, изменило всю его жизнь.

XII

Каким бы изящным ни казалось здание в стиле Адама, как бы красиво ни доминировало оно над парком, стены его не были столь же мощными, как у феодального сооружения, на месте которого оно стояло. Глухая непреходящая тишина, владевшая всеми помещениями прежнего строения, лишь изредка наполняла дом Толлисов. Но сейчас, закрыв дверь за домочадцами и пересекая холл, Эмилия в полной мере ощутила гнетущую тяжесть. Бетти с помощницами, наверное, еще лакомится на кухне десертом, они пока не знают, что в столовой уже никого нет. Ни единого звука не слышно во всем доме. Толстые стены, их деревянная обшивка, претенциозная массивность новой лепнины, гигантская железная подставка для дров у камина, жерла сложенных из нового светлого камня очагов величиной с дверь напоминали о давно прошедших временах одиноких замков, затерянных в безмолвных лесах. Как догадывалась Эмилия, ее свекор хотел создать атмосферу основательности и нерушимых семейных традиций. Человек, всю жизнь изобретавший железные болты и замки, знал цену спокойствия частной жизни. Проникновение внешних шумов исключалось полностью, и даже внутренние, домашние звуки скрадывались, а порой каким-то образом переставали быть слышны вовсе.

Эмилия тихо вздохнула, потом еще раз. Она стояла, положив руку на трубку телефона, находившегося на полукруглом кованом столике возле двери в библиотеку. Прежде чем ее соединят с констеблем Уокинсом, придется поговорить с его женой, словоохотливой женщиной, любившей поболтать о курах и яйцах и обо всем, что с ними связано, — о ценах на птичий корм, лисах, хрупкости коробок. Ее мужу не была свойственна официальность, приличествующая полицейскому. В своем застегнутом на все пуговицы мундире он разговаривал со всеми в доверительной манере, изрекая банальности, которые ему представлялись добытыми ценой невероятных усилий откровениями: начался дождь — ожидай ливня; праздным рукам черт работу находит; паршивая овца все стадо портит... Ходили слухи, что до того, как поступить в полицию и отрастить усы, он был профсоюзным деятелем. Кто-то видел, как давно, во время всеобщей забастовки, Уокинс распространял в поезде листовки.

И вообще — чего ждать от деревенского констебля? Пока он будет рассказывать ей о том, что мальчишки они и есть мальчишки, а затем поднимет с постели и отправит на поиски полдюжины местных мужчин,

пройдет не меньше часа. К тому времени близнецы вернутся, напуганные необъятностью ночного мира. Признаться, Эмилия думала вовсе не о мальчиках, а об их матери, своей сестре, точнее, о ее реинкарнации в гибкой фигурке Лолы. Когда, встав из-за стола, Эмилия подошла, чтобы утешить девочку, ее неприятно поразило собственное чувство обиды. И чем сильнее оно становилось, тем больше она суежилась вокруг Лолы, чтобы скрыть его. Лицо у племянницы, несомненно, было исцарапано, и ссадина выглядела устрашающе, хотя девочка дралась всего лишь с маленькими мальчиками. Но Эмилия не могла отделаться от привычной враждебности. Не Лолу, а Гермину она утешала этим вечером, Гермину, всегда тянувшую одеяло на себя, мастерицу устраивать представления, она прижимала к своей груди. И как в прежние времена, чем больше Эмилия раздражалась, тем заботливее становилась. А когда бедная Брайони нашла письмо мальчиков, именно та давняя враждебность заставила Эмилию обрушиться на дочку с необычной суровостью. Как это несправедливо! Но мысль о том, что Брайони, да любой, кто моложе ее, вскроет конверт и, нарочно помедлив, чтобы накалить обстановку, станет читать его всем вслух, превращаясь в вестника неожиданных новостей и тем самым в главное действующее лицо драмы, оживила ее память и вновь вызвала совсем не великодушные чувства.

Все их детство Гермину непрерывно болтала, выделяла всевозможные фокусы, при каждом удобном случае выставляла себя напоказ, не думая о том — полагала ее угрюмая и молчаливая старшая сестра, — как нелепо и беспомощно при этом выглядит. Всегда находились взрослые, которые поощряли подобное безудержное самолюбование. И даже в том знаменитом эпизоде, когда одиннадцатилетняя Эмилия повергла в шок полную комнату гостей, выскочив сквозь закрытое французское окно и порезав руку так, что хлынувшая кровь оставила на белом муслиновом платье рядом стоявшей девочки алый букет, главным персонажем драмы опять оказалась девятилетняя Гермину, с которой случился припадок. Пока всеми забытая Эмилия лежала на полу в тени дивана и их дядюшка-врач профессионально накладывал ей на руку жгут, дюжина родственников суежилась вокруг ее сестры, стараясь успокоить. Вот и теперь Гермину в Париже, резвится с каким-то мужчиной, работающим на радио, а Эмилия должна заботиться о ее детях. Горбатого могила исправит, как сказал бы констебль Уокинс.

Надо признать, что Лола матери ни в чем не уступает. По прочтении письма она своим театральным уходом легко переиграла братьев с их побегом. «Мама меня убьет». Но ведь именно характер матери она и

переняла. Можно побиться об заклад, что, после того как близнецов найдут, Лолу придется искать еще очень долго. Из-за своей непомерной самовлюбленности она будет прятаться где-нибудь в темноте сколько нужно, чтобы все прониклись ее надуманным горем и потом ликовали при ее картинном появлении, — внимание присутствующих должно принадлежать исключительно ей. Сегодня днем, еще лежа в постели, Эмилия догадалась: Лола хочет сорвать спектакль Брайони. Она укрепила в своем подозрении, увидев разорванную афишу на мольберте. Брайони, как можно было ожидать, ушла из дома и бродила где-то, горюя, найти ее было невозможно. Как же похожа Лола на Гермину — остаться безвинной, спровоцировав других на саморазрушительный поступок!

Эмилия в нерешительности стояла посреди холла, не зная, в какой комнате ей хотелось бы сейчас оказаться, и напряженно вслушивалась в тишину. Если честно признаться, она была рада, что не слышит ничьих голосов. Побег мальчиков — буря в стакане воды; Гермину снова навязывала ей свою жизнь. Не было никаких оснований опасаться за судьбу близнецов. Вряд ли они пойдут к реке и вообще скоро устанут и вернутся домой. Эмилию окружала непроницаемая стена тишины, звеневшей в ушах, этот звон то взмывал вверх, то устремлялся вниз, повинаясь неведомому ритму. Она сняла руку с телефонной трубки, потерла лоб — никаких признаков оживления зверька, предвещающего приближение мигрени, слава богу и за это, — и направилась в гостиную. Еще одной причиной, по которой не стоило беспокоить констебля Уокинса, было то, что вскоре должен позвонить с извинениями Джек. Его приемную соединит с домом министерская телефонистка, потом Эмилия услышит гундосый подвывающий голос молодого помощника Джека и, наконец, голос сидящего за столом мужа, резонирующий в огромном кабинете с кессонным потолком. В том, что муж работает допоздна, она не сомневалась, но знала и то, что он не ночует в своем клубе, и он знал, что она это знает. Однако тут не о чем было говорить. Вернее, слишком о многом надо было бы говорить. Эмилия и Джек одинаково боялись каких бы то ни было конфликтов, и регулярность его вечерних звонков, при том что она совершенно ему не верила, устраивала обоих. Если его притворство и было данью общепринятому лицемерию, она допускала, что это приносит свою пользу. В ее жизни существовали иные радости: дом, парк и, главное, дети, — Эмилия была твердо намерена сохранить их ценой поддержания мнимого мира с Джеком. Она скучала не столько по нему самому, сколько по его голосу в телефонной трубке. Пусть он ей постоянно лгал и едва ли любил, она все равно ценила его внимание: ведь ему

приходилось на протяжении долгого времени искусно придумывать отговорки, чтобы проявлять заботу о ней. Его уловки были формой признания важности сохранения их брака.

Несправедливо обиженный ребенок, несправедливо обиженная жена. Впрочем, Эмилия не чувствовала себя настолько несчастливой, насколько могла бы. Первая роль подготовила ее ко второй. Задержавшись в дверях гостиной, она отметила, что стаканы со следами шоколадного коктейля еще не убраны и французские окна, выходящие в сад, по-прежнему открыты. Слабый ветерок шевелил осоку в вазе на каминной полке. Два-три мотылька кружили возле лампы, стоявшей на клавесине. Сыграет ли на нем кто-нибудь когда-нибудь? Эти ночные существа, безрассудно летящие на свет, туда, где они легко могут оказаться добычей других, более опасных существ, представляли собой одну из тех тайн, само существование которых доставляло ей некоторое удовольствие. Эмилия предпочитала не доискиваться объяснений. Однажды на официальном приеме некий профессор каких-то там наук для поддержания беседы указал на насекомых, вившихся вокруг канделябра. Он сказал, что визуально букашки представляют, будто за светом, который их притягивает, находится зона еще более густой темноты. Повинуясь инстинкту, они ищут это самое темное место по другую сторону света, хотя темнота в данном случае является иллюзией. Эмилии это показалось заумью или объяснением, не имеющим под собой никакой почвы. Как может кто бы то ни было полагать, будто способен видеть мир глазами насекомого? Не все сущее имеет причину, утверждать противоположное — значит вмешиваться в работу природы, что бессмысленно и даже небезопасно. Есть вещи, которые просто существуют.

Она не желала знать, почему Джек столько ночей подряд проводит в Лондоне. Вернее, не хотела, чтобы ей об этом сказали. Точно так же не желала она вдаваться в детали работы, которая удерживала его допоздна в министерстве. Несколько месяцев назад, вскоре после Рождества, она пошла в библиотеку разбудить мужа после дневного сна и увидела на столе открытую папку. Из умеренного супружеского любопытства — вопросы гражданского управления ее интересовали мало — она заглянула в нее и на одном листе увидела список разделов: контроль за валютными операциями, нормирование, массовая эвакуация крупных населенных пунктов, трудовая повинность в условиях войны... Противоположная страница была исписана. Куски текста, выведенные коричневыми чернилами каллиграфическим, почти без наклона, почерком Джека, перемежались расчетами. Наиболее часто повторялся сомножитель пятьдесят. Каждая

тонна сброшенной взрывчатки влекла гибель пятидесяти человек. Предположим, за две недели сброшено сто тысяч тонн. Результат: пять миллионов жертв. Она еще не разбудила его, и его тихое, с присвистом дыхание смешивалось с чириканьем зимней птицы — звук этот доносился откуда-то с дальнего края лужайки. Водянистый солнечный свет покрывал рябью книжные корешки, в воздухе стоял запах теплой пыли. Эмилия подошла к окну и стала всматриваться в даль, стараясь разглядеть птицу среди оголенных ветвей дубов, черневших на фоне неба, разделенного на серые и бледно-голубые фрагменты. Бюрократическое прогнозирование необходимо, это она понимала. Конечно, должны существовать меры предосторожности, которые правительство принимает, чтобы застраховаться от случайностей. Однако эти холодные цифры, несомненно, были формой самовозвеличивания и грешили равнодушием, граничащим с безответственностью. Джеку, защитнику семьи, гаранту ее спокойствия, положено быть дальновидным. Но эти вычисления — глупость. Разбуженный, он заворчал и дернулся было, чтобы захлопнуть папку, потом передумал и, не вставая, притянул руку жены к губам и сухо поцеловал.

Подумав, Эмилия решила не закрывать окна и уселась в угол честерфилдского дивана. Нельзя сказать, чтобы она ждала, — скорее, прислушивалась к собственным ощущениям. Никто из тех, кого она знала, не обладал ее умением сколь угодно долго оставаться в неподвижности, даже не глядя в книгу, а лишь медленно бродя по собственным мыслям, как по незнакомому саду. Подобное терпение она выработала за долгие годы постоянного ожидания приступов мигрени. Суета, сосредоточенность на чем-либо, чтение, разглядывание, желание — всему этому следовало противопоставить свободный полет ассоциаций, чтобы минуты спрессовывались, как лежалый снег, и тишина вокруг становилась все более непроницаемой. Сидя неподвижно, Эмилия чувствовала, как ночной ветерок шевелит подол платья вокруг щиколоток. И детство постепенно становилось таким же осязаемым, как прикосновение шелка, оно обретало вкус, звучание, запах, сливалось в единое целое, представляющее собой, без сомнения, нечто большее, чем просто настроение. В комнате незримо присутствовала она сама, десятилетняя, глядящая откуда-то сверху печальная девочка, еще более тихая, чем Брайони, девочка, скитавшаяся по пустому пространству времени в изумлении от того, что девятнадцатый век заканчивается. Как это было на нее похоже — сидеть в комнате, ни в чем «не участвуя». Этот призрак вызвало к жизни не подражание Лолы Гермione, не непостижимые двойняшки, исчезнувшие в ночи. Это было медленное втягивание в скорлупу, отступление в закрытую нишу в

преддверии окончания детства Брайони. Подобное ощущение настигло Эмилию во второй раз. Брайони была ее поскребышем, между нынешним днем и могилой Эмилии не предстояло больше ничего столь же важного, естественного и приятного, как забота о ребенке. Она не была глупа и понимала: то, о чем она думает как о собственном конце, на самом деле есть лишь жалость к себе, возрастная несдержанность. Брайони, конечно же, отправится по стопам сестры в Гертон, а она, Эмилия, день ото дня будет становиться все более скованной в движениях и безразличной; годы и усталость вернут ей Джека, они ничего не скажут друг другу — стоит ли? И вот призрак собственного детства растекается по комнате, чтобы напомнить ей об ограниченности земного срока. Как быстро закончилась жизнь! Она не была ни тяжелой, ни пустой, но определенно оказалась безрассудной. Безжалостной.

Эти банальные открытия не особенно огорчали Эмилию. Она парила над ними, безучастно глядя вниз и рассеянно размышляя. Хорошо бы высадить вдоль дорожки, ведущей к бассейну, цикламены. Робби уговаривал ее построить беседку и обсадить ее медленно растущими глициниями: ему нравилось, как они цветут, нравился их запах. Но к тому времени, когда глицинии увьют беседку, они с Джеком уже будут покоиться в могиле — история закончится. Эмилия вспомнила, что во время ужина заметила во взгляде Робби какой-то маниакальный блеск. Не покуривает ли он сигареты с марихуаной, о которых она читала в журнале? Эти сигареты заставляют молодых людей с божественными наклонностями преступать границы здравого смысла. Робби весьма нравился ей, и она радовалась за Грейс Тернер, у которой оказался такой талантливый сын. Но по большому счету этот молодой человек был увлечением Джека, живым доказательством принципа сглаживания социальных различий, с которым он носился всю жизнь. Когда — не очень часто — он говорил о Робби, в его голосе звучали нотки самодовольного торжества, и между мужем и Эмилией вставало нечто, что она воспринимала как критику в свой адрес. Она возражала против того, чтобы Джек оплачивал образование парня, видя в этом определенное вмешательство в чужие дела и несправедливость по отношению к Леону и девочкам, и не считала доказательством своей неправоты то, что Робби стал самым блестящим выпускником Кембриджа на своем курсе. Разумеется, это усугубляло положение Сесилии с ее скромными успехами, хотя нелепо было притворяться, будто высоко взлетевший Робби не оправдал надежд. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — тем не менее часто повторяла она, а Джек самодовольно отвечал, что уже вышло много хорошего.

Однако Брайони во время ужина вела себя недопустимо по отношению к Робби. Если она тоже затаила против него обиду, в этом не было ничего удивительного, Эмилия разделяла чувства дочери. Но выражать их в открытую неприлично. Кстати об ужине — как ловко все уладил мистер Маршалл. Может, он подходящая кандидатура? Жаль, конечно, что у него такая внешность: верхняя половина лица похожа на захламленную мебелью спальню. Вероятно, с годами она будет просто казаться морщинистой. И этот подбородок — как сырнй клин. Или треугольный осколок шоколада. Если он действительно собирается снабжать плитками «Амо» всю британскую армию, это сулит баснословное богатство. Но Сесилия, усвоившая в Кембридже основы современного снобизма, считает человека с дипломом химика неполноценным существом. Это ее собственные слова. Три года она околачивалась в Гертоне, читая книги, которые с тем же успехом могла читать и дома. Джейн Остин, Диккенс, Конрад — вон они все, в библиотеке, представленные полными собраниями своих сочинений. Каким образом чтение, которое другие люди считают лишь отдыхом и развлечением, могло внушить Сесилии мысль о собственном превосходстве над остальными? И химик может оказаться полезным. А этот так даже придумал, как делать шоколад из сахара, каких-то веществ, коричневого красителя и растительного масла. Никакого какао. Производство тонны такого месива, как он сообщил, когда они пили его удивительный коктейль, практически ничего не стоит. Прозвучало это вульгарно, но какой комфорт, какая ничем не омраченная жизнь может проистечь из этих дешевых лакомств!

Прошло не менее получаса, пока обрывки воспоминаний, суждений, смутных решений, вопросов тихо копошились в мозгу Эмилии, прежде чем она отважно решила сменить позу. Из-за скрипа дивана она не услышала, как часы пробили четверть. По тому, как вдруг хлопнуло окно, она поняла, что ветер усиливается, и снова впала в полузабытье. Чуть позже ее потревожила Бетти, явившаяся с помощницами убрать в гостиной, потом звуки их присутствия замерли. Эмилия вновь отправилась скитаться по разветвленным дорогам своих грез и ассоциаций, избегая всего неожиданного и неприятного, как умеют делать лишь люди, наученные горьким опытом многолетних приступов мигрени. Когда зазвонил телефон, она без испуга и удивления встала, не мешкая прошла в холл, сняла трубку и с привычной полувопросительной интонацией сказала:

— Дом Толлисов.

Сначала послышался голос телефонистки, потом гнусавый голос помощника, пауза, дальний щелчок на линии и, наконец, — лишенный

интонации голос Джека:

— Дорогуша, я сегодня позже, чем обычно. Ужасно занят.

Было половина двенадцатого. Эмилия не сердилась, потому что к выходным он все равно приедет, по крайней мере один день проведет дома, и между ними не будет сказано ни единого недоброго слова.

— Ничего, ничего, — ответила она.

— Закопался с отчетом по обороне. Придется все перепечатывать еще раз. И другие дела навалились.

— Перевооружение? — догадалась Эмилия.

— Боюсь, что так.

— Знаешь, никто этого не приветствует.

Он вздохнул:

— К сотрудникам нашей конторы это не относится.

— А ко мне — относится.

— Ну что ж, дорогая, надеюсь со временем тебя переубедить.

— А я — тебя.

Разговор был окрашен взаимной привязанностью, это был разговор близких людей, что действовало успокаивающе. Он, как обычно, спросил, как прошел день. Она рассказала о том, что всех утомила жара, что у Брайони сорвался спектакль, что приехал Леон с другом, о котором заметила: «Он — из твоего лагеря. Ему нужно как можно больше солдат, чтобы непрерывно продавать правительству свой шоколад».

— А, знаю. Плитки величиной с лемех, завернутые в фольгу.

Эмилия описала, как проходил ужин, упомянула дикий взгляд Робби.

— Ты по-прежнему считаешь, что мы должны оплатить его учебу в медицинском колледже?

— Да. Это смелый шаг. Характерный для него. Уверен, он многого достигнет на этом поприще.

Далее она сообщила о том, как в конце ужина было найдено письмо от близнецов и как все, разбившись на группы, отправились на их поиски.

— Маленькие негодники. И где же их в конце концов нашли?

— Не знаю. Еще никто не вернулся.

На линии повисла тишина, прерываемая лишь отдаленными щелчками. Когда высокий государственный чиновник заговорил снова, было ясно: решение уже принято. То, что Джек назвал ее по имени — а делал он это крайне редко, — свидетельствовало о серьезности решения.

— Эмилия, я кладу трубку, поскольку собираюсь немедленно позвонить в полицию.

— Ты считаешь, это необходимо? К тому времени, когда сюда приедет

полиция...

— Если будут новости, немедленно сообщи мне.

— Подожди...

Услышав какой-то звук за спиной, она обернулась. В дверь входил Леон. Следом молча шла Сесилия, совершенно обескураженная. За ней, обняв за плечи кузину, — Брайони. Лицо у Лолы было таким белым и неподвижным, что напоминало фарфоровую маску. Даже не видя издали выражения этого застывшего лица, Эмилия поняла — случилось нечто ужасное. Где близнецы?

Направляясь к ней через холл, Леон протянул руку, чтобы взять у нее трубку. Его брюки от манжет до колен были испачканы грязью. Грязь в такую сухую погоду? От напряжения он тяжело дышал. Мокрая прядь волос упала ему на лицо, когда он, резко выхватив трубку из руки матери, повернулся ко всем спиной.

— Папа, это ты? Да. Послушай, думаю, тебе следует приехать. Нет, пока нет, но случилось нечто худшее... Если сможешь, сегодня же. Позвонить придется в любом случае, так что лучше это сделать тебе.

Прижав руку к груди, Эмилия сделала несколько шагов к девочкам, напряженно наблюдавшим за происходящим. Эмилия не слышала ни слова и не хотела слышать. Она предпочла бы удалиться наверх, в свою комнату, но Леон, грохнув трубкой о рычаг, повернулся к ней. Взгляд у него был напряженным и тяжелым, ей показалось, он полыхал гневом. Леон глубоко дышал, стараясь успокоить дыхание, его губы растянулись в странной гримасе.

— Пойдем в гостиную, там ты сможешь сесть, — сказал он наконец.

Эмилия прекрасно поняла его: он не хотел говорить здесь, чтобы она не упала на кафельный пол и не разбила голову. Она не отводила от него взгляда и не двигалась.

— Пойдем, Эмилия, — повторил Леон.

Горячая рука сына тяжело опустилась на ее плечо, сквозь шелк Эмилия ощутила влагу. Безвольно пройдя в гостиную, она с ужасом сосредоточилась на одном простом факте: прежде чем сообщить ей нечто, Леон хочет, чтобы она села.

XIII

В ближайшие полчаса Брайони предстояло совершить преступление. Понимая, что находится среди ночи почти рядом с маньяком, она поначалу старалась держаться в тени дома и каждый раз, проходя мимо освещенного окна, ныряла под карниз. Она знала, что Робби пойдет по подъездной аллее, потому что именно туда отправилась ее сестра с Леоном. Решив наконец, что отошла на безопасное расстояние, Брайони отважно метнулась через широкую арку на дорогу, ведущую к конюшне и бассейну. Безусловно, стоило сначала проверить, нет ли там близнецов, не дурачатся ли они с лошадьми или не плавают ли мертвые, лицами вниз, в воде, неотличимые друг от друга. Она представила, как можно описать их, качающихся на нежной поверхности воды. Волосы извиваются, как многочисленные усики, два тела в одежде то соединяются, то отталкиваются. Сухой ночной воздух проникал под платье, холодил кожу, в темноте Брайони чувствовала себя скользкой и проворной. Она могла описать все: тихие шаги маньяка, крадущегося по дорожке, старающегося ступать по травяной кромке, чтобы не выдать своего приближения заранее: ведь Сесилию сопровождал брат, это осложняло дело. Брайони могла бы описать и этот нежный воздух, и траву, испускающую сладковатый коровий дух, и выжженную землю, все еще тлеющую дневным зноем и дышащую ароматом глины, и легкий ветерок, несущий с озера запахи зелени и серебра.

Свернув на лужайку, она побежала, петляя по траве и представляя, как будет всю ночь нестись, рассекая шелковистый воздух, подбрасываемая пружинящей твердью земли, и как ночная тьма будет удваивать ощущение скорости. Иногда она так бегала во сне, а потом раскидывала руки, наклонялась вперед и силой одной лишь веры — это единственный трудный момент, но во сне легкопреодолимый — отталкивалась от земли без особого усилия и летела низко над изгородями, воротами, крышами, а потом взмывала вверх и долго в восторге парила над полем, под самыми облаками, прежде чем снова спикировать на землю. Сейчас она чувствовала, что это действительно можно осуществить силой одного лишь желания; мир, сквозь который она мчится, любит ее и даст ей все, чего она ни пожелает, он поможет ей. А потом, после, она все это опишет. Разве писание не есть разновидность того же парения, доступная форма полета, не чудо воображения?

Но маньяк крадется в ночи, его сердце исполнено неуголенного черного зла — ведь однажды она уже сорвала его гнусные планы! — и поэтому нужно оставаться на земле, чтобы описать и его. Сначала она должна защитить сестру, а потом найдет способ благополучно разоблачить его на бумаге. Брайони перешла на шаг, размышляя о том, как он должен ненавидеть ее за вторжение в библиотеку. И как бы страшно ей ни было, снискать ненависть взрослого человека казалось второй попыткой вхождения в иной мир. Дети ненавидят щедро и причудливо. Их ненависть немногого стоит. А вот стать объектом ненависти взрослого — все равно что принять посвящение в серьезную новую жизнь. Это было продвижением. Вероятно, Робби вернулся по собственным следам и ждет ее теперь за конюшней, вынашивая убийственный замысел. Но Брайони старалась не бояться. Ведь выдержала же она его взгляд там, в библиотеке, пока сестра проходила мимо нее, не выказав ни малейшей признательности за избавление.

Брайони понимала, что благодарности и воздаяния ждать негоже. Бескорыстная любовь не нуждается в словах, и она защитит Сесилию, даже если та не будет ей за это признательна. А бояться Робби теперь ни к чему; уместнее испытывать к нему презрение и гадливость. Они, Толлисы, сделали для него так много хорошего, он стольким им обязан: домом, в котором вырос, бесконечными путешествиями во Францию, формой и учебниками для гимназии, наконец, Кембриджем, и за все это он отплатил тем, что написал сестре это гнусное слово и, чудовищно нарушив правила приличия, применил против нее силу, после чего с невинным видом сидел за их столом, притворяясь, будто все в порядке. Лицемер, как же ей хотелось его развенчать! Жизнь, та, в которую она теперь вступает, послала ей испытание в лице негодяя под маской старинного друга семьи — мужчины с нескладными, но сильными ногами и грубоватым, обманчиво дружелюбным лицом. Этот человек когда-то носил ее на плечах и плавал с ней в реке, помогая преодолевать встречное течение. Да, именно так и должно было случиться: истина бывает странной и обманчивой, за нее нужно бороться, пробиваться к ней через поток привычных мелочей. Случившееся как раз и было тем, чего никто не ожидал. Ну разумеется, негодяев ведь не представляют публике для освистания и гневных филиппик, они не ходят в черных плащах с капюшоном, закрывающим лицо, искаженное злобной гримасой.

У дальней стены дома Брайони заметила Леона с Сесилией, они удалялись от нее. Вероятно, Сесилия как раз рассказывает брату о нападении. Если так, то сейчас он обнимет ее за плечи. И они вместе, все

дети Толлисов, выставят это животное за дверь, вышвырнут его из своей жизни. Конечно, придется переубедить отца, выдержать его гнев и утешить в разочаровании. Ведь его протеже оказался маньяком! Найденное Лолой слово всколыхнуло лежавшие рядом в пыли другие, близкие ему: мужчина, одержимый, топор, нападение, оскорбление, — и подтвердило диагноз.

Обойдя конюшню, Брайони остановилась под аркой с часовой башенкой. Выкрикнула имена близнецов, но ответом ей было лишь шуршание сена, шарканье копыт и тяжелый удар лошадиного крупа о стенку стойла. Она порадовалась, что никогда не увлекалась лошадьми, иначе сейчас не смогла бы уделить им должного внимания. Несмотря на то что лошади учуяли ее присутствие, приближаться к ним она не стала. Гений, бог в их представлении, топтался на краю их мирка, они жаждали его внимания, но Брайони развернулась и направилась дальше, к бассейну. «Интересно, противоречит ли в своей основе такое необузданное и обращенное внутрь себя занятие, как писательство, ответственности творца за другое существо, пусть даже лишь за лошадь или собаку?» — подумала Брайони. Волноваться за кого-то, защищать, заботиться, вникать в чьи-то мысли, руководить судьбой другого человека — все это едва ли вписывается в понятие свободы ума. Вероятно, она могла бы стать одной из тех женщин, вызывающих то ли зависть, то ли жалость, которые предпочитают не иметь детей. Брайони шла по мощеной дорожке, огибающей конюшню. Так же как земля, присыпанные песком кирпичи отдавали воздуху накопленное за день тепло. Она чувствовала его всем телом — от щек до голых щиколоток. Пospешно пробегая через темный бамбуковый туннель, Брайони споткнулась и вылетела в ободряющую геометрию квадрата, выложенного каменными плитами.

Подводные светильники, установленные только нынешней весной, все еще были внове. Голубоватый восходящий свет придавал всему, что находилось вокруг бассейна, обесцвеченно-лунный вид, как на фотографии. На старом жестяном столике покоились стеклянный кувшин, два стакана для вина и кусок марли. Третий стакан, с кусочками разваренных фруктов, стоял на краю доски для прыжков в воду. Никаких тел в бассейне не оказалось, никакого хихиканья из темноты павильона, никакого шушуканья из зарослей бамбука не доносилось. Брайони медленно обошла бассейн, уже никого не высматривая. Ее завораживало мерцание неподвижной, как стекло, воды. Невзирая на опасность, связанную с маньяком, было восхитительно на совершенно законном основании оказаться вне дома так поздно. На самом деле Брайони не думала, что близнецам что-то угрожает. Даже если мальчики удосужились

изучить висевшую на стене библиотеки карту местности, даже если оказались достаточно сообразительными, чтобы понять ее, даже если действительно вознамерились покинуть границы усадьбы и всю ночь идти на север, они будут вынуждены придерживаться лесной просеки, которая тянется вдоль железной дороги. В это время года, когда листва на деревьях все еще густая, просека будет утопать в глухой темноте. Другой выход из усадьбы — дорожка, сбегаящая к реке от узкой калитки. Но там тоже непроглядно темно, сходить с дорожки опасно, к тому же придется все время подныривать под низко свисающие ветви и сбивать крапиву по бокам. Мальчишки не настолько смелы, чтобы решиться пойти туда. Так что они в порядке, Сесилия — с Леоном, и Брайони может свободно бродить в темноте, обдумывая чрезвычайные события минувшего дня.

Детство, решила девочка, удаляясь от бассейна, закончилось в тот момент, когда она разорвала афишу. Волшебные рассказы остались позади, потому что в пределах нескольких часов ей довелось стать свидетельницей реальных таинственных происшествий, заглянуть в мир дурных деяний, предотвратить мерзопакостный поступок и, вызвав ненависть к себе взрослого человека, которому все доверяли, стать участницей жизненной драмы, несовместимой с миром детской. Единственное, что ей придется теперь делать, это выуживать рассказы из жизни — не просто сюжеты, но и способы изложения, достойные ее нового знания. А может, то, что она имела в виду, было лишь взглядом со стороны на собственное невежество?

Долгое созерцание воды навело Брайони на мысль об озере. Вероятно, мальчики прячутся в храме на острове. Его очертания просматривались смутно, но он не был начисто отрезан от дома — уютный, окруженный умиротворяющей водой и не слишком затененный деревьями. Остальные могли, не обыскивая храм, пройти остров. Она выбрала другой путь к озеру и обогнула дом сзади.

Минуты через две, миновав розарий, Брайони оказалась на гравийной дорожке перед фонтаном «Тритон» — там, где разыгралась мистерия, несомненно явившаяся прологом к более поздней сцене насилия. Ей вдруг почудилось, что она услышала слабый крик, и краем глаза заметила вспыхнувший и тут же погасший огонек. Остановившись, прислушалась, но ухо уловило лишь тихий плеск воды. И крик, и вспышку света она засекла в лесу на берегу реки, в нескольких сотнях ярдов от места, где стояла. С полминуты Брайони двигалась в том направлении, потом снова остановилась, пытаясь уловить звук. Ничего. Ничего, кроме шелеста темных деревьев, едва различимых на серо-голубом фоне западной части неба. Немного подождав, она решила вернуться. Чтобы не сбиться с пути,

шла, ориентируясь на дом, на террасе которого горела керосиновая лампа в круглом плафоне. Лампа отбрасывала тусклые блики на стаканы, бутылки и ведро со льдом. Французские окна все еще были широко распахнуты в ночь, и Брайони могла видеть, что происходит в гостиной. В свете единственной горевшей там лампы она рассмотрела выглядывавший из-за бархатной шторы край дивана, над которым под странным углом, казалось, парил цилиндрический предмет. Только пройдя еще ярдов пятьдесят, она поняла, что это чья-то нога. Приблизившись еще немного, Брайони сообразила, что это нога ее матери, сидевшей на диване в ожидании близнецов. Шторы почти полностью скрывали фигуру, виднелась лишь одна нога, положенная на другую, она словно была подвешена в необычном ракурсе.

Чтобы не попасться на глаза Эмилии, Брайони, прижимаясь к стене, подошла к окну, находившемуся слева. Она стояла слишком далеко, чтобы видеть выражение лица матери. Но девочка не сомневалась: глаза у мамы закрыты, голова откинута назад, руки мирно сложены на коленях. Правое плечо слегка поднималось и опадало в такт дыханию. Рта Эмилии Брайони не видела, но отчетливо представляла всегда опущенные уголки губ, что легко можно было принять за знак — иероглиф — недовольства. Однако это было не так, потому что на самом деле мама бесконечно добра, мила и приветлива. Грустно было видеть ее в одиночестве среди ночи, но и приятно. Охваченная печалью, настроенная на прощание, Брайони позволила себе задержаться у окна. Маме сорок шесть — глубокая старость. Настанет день, и она умрет. Похороны состоятся в деревне, и лишь по исполненной достоинства сдержанности Брайони все смогут догадаться о беспредельности ее горя. Друзей, которые будут подходить, чтобы пробормотать слова соболезнования, потрясет накал ее внутренней трагедии. Она представила себя в центре огромной арены внутри грандиозного колизея под взглядами всех тех, кого она знает, и тех, кого ей еще предстоит узнать, — действующих лиц ее жизни, собравшихся, чтобы разделить с ней ее утрату. А потом на церковном дворе, в уголке, который назывался у них «уголком бабушек-дедушек», они с Сесилией и Леоном будут стоять, не разнимая объятий, утопая ногами в высокой траве, возле нового надгробия, и снова все будут смотреть только на них. Это должны видеть все. И глаза Брайони защипало от слез, потому что она мгновенно ощутила сочувствие воображаемых доброжелателей.

В тот момент она могла подойти к матери, прижаться к ней и начать отчет о прожитом дне. Если бы она это сделала раньше, ей не пришлось бы совершать преступление. Столько всего не случилось бы тогда — ничего

бы не случилось, и все сглаживающая длань времени превратила бы эту ночь лишь в смутное воспоминание: ночь побега близнецов. Когда же это было? В тридцать четвертом? Пятом? А может быть, шестом? Однако без какой бы то ни было определенной причины, если не считать отнюдь не настоящей необходимости искать близнецов и удовольствия поболтать на свежем воздухе в столь поздний час, она решила уйти и, уходя, задела плечом створку открытого окна — окно хлопнуло. Мореная сосновая рама ударилась о твердую древесину дверного проема, звук получился резким и показался укоризненным. Если оставаться, придется многое объяснять, поэтому Брайони шмыгнула назад, в темноту, и быстро, на цыпочках, пошла по каменным плитам, вдыхая запах трав, пробивавшихся между ними. Скоро она оказалась на лужайке между клумбами роз, и здесь уже можно было бежать, не опасаясь за шум. Обогнув дом сбоку, Брайони вышла к парадному входу и припустила по гравиевой дорожке, по которой днем ходила прихрамывая, босиком.

За поворотом, ведущим к мосту, она сбавила шаг, снова оказавшись в исходной точке и думая о том, что теперь придется встретиться с другими участниками поиска или по крайней мере услышать их голоса. Но никого не было видно. Темные тени редко разбросанных по парку деревьев заставили Брайони остановиться. Не следует забывать, что есть человек, ненавидящий ее, и этот человек непредсказуем и жесток. Леон, Сесилия и Маршалл наверняка уже ушли далеко. Ближайшие деревья, во всяком случае их стволы, по форме напоминали человеческие фигуры. Или могли скрывать человеческую фигуру. Даже если бы кто-то стоял перед стволом, Брайони не смогла бы его увидеть. Впервые она обратила внимание на ветер, шумевший в верхушках деревьев, и от этого, казалось бы, такого знакомого шелеста ей стало не по себе. Миллионы точечных тревог бомбардировали девочку. Новый порыв ветра налетел и пронесся мимо, удаляясь через темный парк, словно живое существо. Интересно, хватит ли у нее духу дойти до моста, пересечь его и подняться по крутому склону к храму? Особой необходимости в этом не было, просто интуиция подсказывала ей, что мальчишки могут прятаться где-то там. В отличие от взрослых Брайони фонаря не дали: чего от нее ожидать? В конце концов, для всех она была еще ребенком, а близнецам серьезная опасность не угрожала.

Минуту-другую она мешкала, стоя на дорожке, недостаточно испуганная, чтобы повернуть назад, но и недостаточно уверенная в себе, чтобы идти дальше. Можно вернуться к маме и посидеть с ней в гостиной, пока не найдут близнецов. Можно дойти до того места, где дорога

углубляется в лес, и там повернуть обратно — по крайней мере создается видимость, что Брайони занимается поисками серьезно. Но именно потому, что события прошедшего дня внушили ей, что она уже не ребенок, а героиня более интересного сюжета, и из желания доказать, что она этого нового сюжета достойна, Брайони заставила себя пойти вперед, на мост. Из-под него, усиленный, как резонатором, арочной опорой, слышался шелест осоки и неожиданное шлепанье крыльев по воде, тут же, впрочем, удалившееся в сторону. Темнота делала эти обычные звуки преувеличенно громкими. Темнота оставалась ничем — она не имела ни субстанции, ни формы и была не более чем отсутствием света. Да и мост вел не более чем к искусственному острову на искусственном озере. Этому острову было уже почти двести лет, на просторах усадьбы он выделялся своей изолированностью, и Брайони он принадлежал больше, чем любому другому. И все-таки она единственная ходила теперь сюда. Для остальных остров стал лишь коридором, ведущим к дому и из дома, мостком между мостами, украшением, сделавшимся настолько привычным, что его никто уже не замечал. Хардмен дважды в год навещался сюда с сыном, чтобы скосить траву вокруг храма. Бродяги проходили его насквозь, не задерживаясь. Изредка клин улетающих на юг гусей ненадолго удостаивал заросший травой берег своим присутствием. Все прочее время остров оставался одиноким царством кроликов, водоплавающих птиц и нутрий.

Ничего сложного не было в том, чтобы пройти вдоль берега и прямо по траве подняться к храму, но Брайони снова остановилась в нерешительности, не окликая близнецов. В темноте тускло мерцали неясные очертания портика. Когда девочка стала вглядываться в него пристальнее, он вообще будто растворился. До храма оставалось футов сто, но еще ближе, посредине лужайки, виднелся куст, которого она не помнила. Вернее, ей казалось, что он рос ближе к берегу. И деревья выглядели не такими, какими она привыкла их видеть. Крона дуба напоминала гигантскую луковицу, вяз был слишком растрепанным, а вместе, в своей странности, они походили на заговорщиков. В тот момент, когда Брайони протянула руку, чтобы коснуться перил, утка напугала ее неприятным резким криком, интонацией напоминавшим человеческий. Конечно, ее удерживала крутизна склона и тот факт, что в походе к храму мало смысла. Но решение было принято. Брайони пошла, балансируя на травянистых кочках, и, перед тем как начать подъем, остановилась, чтобы вытереть руки о платье.

Девочка направилась прямо к храму, сделала семь или восемь шагов и собралась уже выкрикнуть имена двойняшек, когда куст, стоявший прямо у

нее на пути — тот самый, который, как она считала, должен был расти ближе к берегу, — начал то ли ломаться, то ли расщепляться и внезапно раздвоился. Он менял форму неким сложным образом, истончаясь у основания и вырастая колонной высотой в пять или шесть футов. Брайони тут же остановилась бы, не будь она по-прежнему уверена, что это всего-навсего куст и что все происходящее — лишь оптический обман, обусловленный игрой теней, но, сделав еще пару шагов, поняла, что это не так. И тут она остановилась. «Колонной» оказалась человеческая фигура, пятившаяся теперь от нее и начавшая растворяться в более густой тени под деревьями. Оставшееся чернеть на земле пятно тоже было, как выяснилось, человеческой фигурой, и оно тоже начало менять форму — фигура села и окликнула ее по имени.

— Брайони?

Беспомощный голос принадлежал Лоле — это его она приняла за крик утки, — и через мгновение Брайони поняла все. Ей стало дурно от отвращения и страха. Более крупная фигура возникла вновь, теперь она огибала поляну по краю и направлялась к берегу, туда, откуда только что пришла Брайони. Нужно было помочь Лоле, но она не в силах была отвести взгляда от тени, исчезающей за поворотом. Еще долго были слышны шаги человека, удалявшегося по направлению к дому. У Брайони не было сомнений. Она могла описать его. Ведь на свете вообще не было ничего такого, чего она не сумела бы описать. Наконец, опустившись на колени рядом с кузиной, она спросила:

— Лола, ты цела?

Брайони тронула двоюродную сестру за плечо и попыталась нашарить в темноте ее ладонь. Лола сидела, обхватив себя руками, низко наклонив голову и слегка раскачиваясь. Голос звучал слабо и искаженно, словно ей мешала говорить какая-то слизь, забившая горло. Прежде чем ответить, она откашлялась.

— Прости, я не... Прости... — пробормотала она.

— Кто это был? — шепотом спросила Брайони и, не дожидаясь ответа, со всем спокойствием, на какое была в тот момент способна, добавила: — Я видела его. Я его *видела*.

— Да, — покорно согласилась Лола.

Во второй раз за сегодняшний вечер Брайони испытала прилив нежности к кузине. Вместе они оказались перед лицом настоящего кошмара. Это сблизило их. Стоя на коленях, Брайони попыталась обнять Лолу и прижать к себе, но тело кузины оказалось костлявым и неподдающимся, будто бы упрятым в твердую раковину. Как береговая

улитка. Не разжимая рук, Лола продолжала раскачиваться взад и вперед.

— Это ведь был он, не так ли? — настаивала Брайони.

Медленный кивок кухни она скорее почувствовала, чем увидела. А может, то был просто долгий выдох.

Прошло немало времени, прежде чем Лола тем же слабым послушным голосом выговорила:

— Да. Он.

Брайони вдруг захотелось, чтобы она произнесла его имя. Требовалось заверить преступление печатью, проклятием жертвы, окончательно решить судьбу преступника магическим заклинанием произнесенного вслух имени.

— Лола, — прошептала она, ощущая странное возбуждение, — Лола, кто это был?

Кухня перестала раскачиваться. Теперь на острове все было неподвижно. Не меняя позы, Лола слегка отстранилась или пожала плечами — отчасти, возможно, чтобы уйти от ответа, отчасти чтобы избавиться от сочувственного объятия Брайони. Отвернувшись, уставилась в пустоту над озером. Вероятно, она собиралась заговорить, пуститься в долгие объяснения, в ходе которых надеялась разобраться в собственных чувствах, превозмочь немоту и выразить нечто, вызывавшее у нее и ужас, и радость одновременно. Отворачиваясь, она, возможно, не намеревалась отстраняться, а хотела лишь взять себя в руки, собраться, чтобы выговориться наконец перед единственным существом, которому здесь, вдали от дома, как она считала, можно довериться. Не исключено даже, что Лола уже набрала в легкие воздуха и открыла рот. Но это не имело никакого значения, потому что Брайони прервала ее и шанс был упущен. Сколько же секунд прошло? Тридцать? Сорок пять? У младшей девочки не хватило терпения ждать. Ведь все сходилось. И это было ее собственное открытие. Ее рассказ, рассказ, который сам собой обретал очертания и материализовался.

— Это был Робби, ведь правда?

Маньяк. Ей очень хотелось произнести это слово.

Лола ничего не ответила и не пошевелилась.

Брайони повторила вопрос, но на сей раз с непререкаемо утвердительной интонацией. Теперь это была констатация факта.

— Это был Робби.

Хотя Лола оставалась неподвижной и продолжала молчать, что-то определенно стало меняться в ней, кожа потеплела, из горла вырвался сдавленный звук, будто по мышцам гортани пробежала волна конвульсий.

Брайони произнесла снова — теперь уже одно слово: «Робби».

Где-то на середине озера послышался смачный шлепок выпрыгнувшей из воды рыбы, четкий одиночный звук на фоне полнейшей тишины — даже ветер стих окончательно. Ни в кронах деревьев, ни в зарослях травы теперь не было ничего пугающего. Наконец Лола медленно повернулась к ней.

— Ты же видела его, — сказала она.

— Как он мог! — застонала Брайони. — Как он посмел!

Лола скрестила руки на груди и стиснула пальцы. Ее неопределенный ответ можно было толковать сколь угодно широко: «Ты же видела его».

Брайони придвинулась ближе и накрыла рукой ладонь Лолы.

— Ты ведь еще не знаешь, что произошло в библиотеке перед ужином, сразу после нашего разговора. Он напал на мою сестру. Если бы я не вошла, не представляю, чем бы это кончилось...

Как бы ни сблизилась она теперь, Брайони трудно было понять что бы то ни было по лицу Лолы. Его смутный темный овал не выражал ничего, но Брайони чувствовала: кузина слушает ее вполуха, что и подтвердилось, когда та перебила ее, повторив:

— Но ты же видела его. Ты на самом деле его видела?

— Конечно видела. Так же ясно, как белым днем. Это он.

Несмотря на то что ночь была теплой, Лола начала дрожать, и Брайони пожалела, что ей нечего снять с себя, чтобы накинуть кузине на плечи.

— Видишь ли, он подошел сзади, — сказала Лола. — Повалил на землю и... и потом... откинул мне голову и закрыл глаза рукой. Я, в сущности, не могла ничего...

— О, Лола! — Протянув руку, Брайони нащупала лицо кузины и погладила ее по щеке. Щека была сухой, но она знала, что это ненадолго. — Послушай меня. Я не могла ошибиться. Я знаю его всю жизнь. И я его видела.

— Да? Сама-то я не уверена. Наверное, я могла бы узнать его по голосу...

— А что он сказал?

— Ничего. То есть ничего членораздельного, просто что-то мычал, тяжело дышал, кряхтел. Но я ничего не видела. И не могу ничего сказать наверняка.

— Зато я могу. И скажу.

Вот так здесь, у озера, и определились выводы, которые в последующие месяцы получили широкую огласку и которые в течение долгих лет, словно демоны, тайно преследовали Брайони: она демонстрировала непоколебимую уверенность, тогда как ее кузина — неуверенность и сомнения. Но от Лолы большего и не требовалось,

поскольку она всегда могла укрыться под маской смущенной добродетели и в качестве лелеемой пациентки, оправлявшейся от шока жертвы и брошенного ребенка позволяла себе купаться в сострадании и чувстве вины окружающих ее взрослых: как же мы допустили, чтобы с ребенком *такое* случилось! Лоле не было надобности помогать им, она этого и не делала. Брайони подарила ей шанс, за который она инстинктивно ухватилась; даже не ухватилась, а просто согласилась принять. Ей нужно было лишь молчать, создавая фон пылкости Брайони. Лоле не приходилось лгать, смотреть в глаза предполагаемому насильнику и набираться храбрости, чтобы бросить ему в лицо обвинение, поскольку все это невинно и без злого умысла проделывала за нее младшая девочка. Лоле оставалось лишь обойти правду молчанием, оттолкнуть ее, навсегда забыть, не требовалось даже заставлять себя поверить в чужую сказку — верить нужно было лишь в то, что она ни в чем не уверена. Лола ничего не видела, ей закрыли глаза рукой, она была до смерти напугана и ничего не могла сказать наверняка.

Брайони всегда была рядом, чтобы помочь. Что касается ее самое, то у нее все отлично сходилось: ужасное настоящее дополняло недавнее прошлое. События, свидетельницей которых оказалась Брайони, стали предвестием беды, обрушившейся на кузину. Ах, если бы девочка была чуть менее невинна, чуть менее глупа! А так все представлялось ей слишком уж ясным и не могло быть ничем иным, кроме как тем, что она утверждала. Она укоряла себя за ребяческое предположение, будто Робби ограничится в своих притязаниях одной Сесилией. О чем она только думала! В конце концов, он же маньяк. Ему сойдет любая. И то, что он напал на самую беззащитную — на хрупкую девочку, храбро бродившую в темноте по незнакомому острову в поисках братьев, — было закономерно. Брайони и сама могла оказаться его жертвой. Эта мысль еще больше распаляла ее и подпитывала праведный гнев. Если несчастная кузина не в состоянии обнародовать истину, значит, она должна сделать это за нее. *Я могу. И сделаю.*

По прошествии недели безупречно гладкая поверхность ее убежденности начала там и сям покрываться пятнышками и тоненькими — с волосок — трещинками. И когда это происходило — не так уж часто, — у Брайони что-то словно бы проваливалось внутри, она начинала сознавать: все, что ей известно, — это не факты или не только факты, а умозаключения, основанные на догадках. Она не могла точно рассмотреть все — было слишком темно. Даже лицо Лолы, находившееся дюймах в восемнадцати от нее, представлялось ей лишь расплывчатым овалом, а того человека она видела с довольно большого расстояния и со спины. Однако

разглядеть его все же было можно. Очертания, а также манера двигаться представлялись ей знакомыми. Ее глаза подтверждали то, что она знала и испытала в предыдущие часы. Истина вытекала из симметрии, диктовавшейся здравым смыслом. Истина руководила зрением. Поэтому, когда Брайони говорила: «Я видела его», — она была искренна и правдива настолько же, насколько и одержима. То, что она имела в виду, было гораздо сложнее, чем то, что другие хотели от нее услышать, и не по себе ей становилось именно оттого, что она не могла донести до слушателей все нюансы. Да она всерьез и не пыталась. Для этого у нее не было ни возможности, ни времени. За два дня, да нет же, всего за несколько часов события приняли такой оборот, что вышли из-под ее контроля. Слова Брайони привели в действие страшные силы в знакомом живописном городке. Можно было подумать, что устрашающие муниципальные власти, эти стражи порядка в форме, лежали в засаде, укрывшись за фасадами симпатичных мирных зданий в ожидании катастрофы, которая неминуемо должна была разразиться. Они знали свое дело, знали, чего хотят и как этого достичь. Брайони спрашивали снова и снова, и, по мере того как она бесконечно повторяла свои ответы, бремя логики все больше придавливало ее: раз уж она это сказала, должна неукоснительно придерживаться своих слов. Стоило ей сделать малейшее отступление, как на мудрых лицах появлялись морщины неодобрения, она ощущала холодок и утрату расположения. Девочка была одержима желанием угодить им и быстро поняла: малейшие ее оговорки могут разрушить процесс, который она сама инициировала.

Брайони напоминала невесту, которую с каждым днем, приближающим свадьбу, все больше одолевают мучительные сомнения, однако она не смеет высказать их, поскольку и сама потратила уже столько сил на приготовления. Счастье и покой слишком многих хороших людей могут оказаться под угрозой. Единственный способ развеять внутреннюю тревогу в такие минуты — это вместе с остальными окунуться в радостные хлопоты. Брайони не хотела отменять заключенное негласное соглашение. У нее не хватило бы смелости отказаться от своих слов после того, как она произнесла их с такой уверенностью, после двух или трех дней терпеливых и доброжелательных допросов. Однако ей хотелось бы уточнить или углубить то, что она имела в виду под словом «видела», потому что она не столько видела, сколько знала. После этого она могла бы предоставить следователям решать, примут ли они к рассмотрению такого рода виденье. Но подобные колебания не находили поддержки, и ее решительно возвращали к первоначальным показаниям. Неужели она лишь глупая

девчонка — можно было прочесть по их лицам, — которая заставляет всех зря терять время? Они предпочитали простое, без затей, толкование ее свидетельства, решив, что было достаточно светло, поскольку на небе были звезды и облака отражали свет уличных фонарей соседнего города. Так что: либо она видела — либо не видела. Третьего не дано. Прямо следователи этого не говорили, но сухость тона предполагала именно такой выбор. И в подобные минуты, ощущая их холодность, Брайони сдавалась, ее охватывал прежний энтузиазм, и она повторяла: «Я видела его, я знаю, что видела его», после чего успокаивалась, чувствуя, что подтверждает лишь уже известные всем факты.

Ей никогда не будет дано утешиться тем, будто на нее оказывали давление или запугивали. Этого не было. Она сама загнала себя в ловушку, в лабиринт собственной конструкции и была слишком юна, слишком преисполнена благоговейного ужаса, слишком угодлива, чтобы настоять на своем или отступить в сторону. Ей не достало то ли душевной широты, то ли зрелости, чтобы обрести необходимую независимость духа. Еще тогда, когда она не сомневалась в своей правоте, требовательное религиозное братство плотно обступило ее со всех сторон и теперь смотрело выжидательно. Брайони не посмела бы разочаровать этих людей, стоя перед алтарем. Побороть сомнения можно было, лишь сплачиваясь с ними все теснее, неукоснительно придерживаясь того, во что, как ей казалось, она верила, гоня прочь все лишнее, снова и снова повторяя свои показания, — только это давало возможность избавиться от тревожной мысли о вреде, который она причиняет. Когда дело было закончено, приговор вынесен и братство начало рассеиваться, лишь способная безжалостно все забывать своенравная юность какое-то время защищала ее от себя самой.

— Зато я могу! И скажу!

Несколько минут они сидели молча, потом не перестававшая до этого дрожать Лола начала успокаиваться. Брайони понимала, что кузину нужно отвести домой, но ей не хотелось прерывать момент близости — она продолжала обнимать старшую девочку за плечи, а Лола, судя по всему, уже не противилась этому. Далеко за озером они заметили пунктирные вспышки света — кто-то шел по аллее с факелом, — но никак не отреагировали. Когда же Лола наконец заговорила, тон ее оказался раздумчивым, словно она неуверенно пробовала ногой дно маленького ручейка, в который стекались контраргументы.

— Но это же противоречит здравому смыслу. Он — близкий друг вашей семьи. Вряд ли это мог быть он.

— Ты бы не говорила так, если бы оказалась вместе со мной в библиотеке.

Лола вздохнула и медленно покачала головой, как будто нехотя примиряясь с тем, во что невозможно поверить.

Девочки снова замолчали, они могли бы сидеть там и дольше, если бы не сырость — хотя еще и не роса, — начавшая пропитывать траву, поскольку облака рассеялись и похолодало.

Когда Брайони шепотом спросила кузину: «Ты можешь идти?» — та храбро кивнула. Брайони помогла ей встать, и они направились через поляну к мосту. Сначала они держались за руки, потом Лола навалилась на плечо Брайони. И только когда они дошли до подножия холма, Лола разрыдалась, сквозь слезы пытаясь сказать:

— Я не могу, я слишком слаба.

«Наверное, лучше сбегать домой за подмогой», — подумала Брайони и хотела было уже сказать это Лоле и усадить ее на землю, но в этот момент они услышали голоса, доносившиеся сверху, и вслед за этим в глаза им ударил свет факела. «Это чудо», — подумала Брайони, узнав голос брата. Словно истинный герой, тот несколькими легкими прыжками преодолел разделявшее их расстояние и, даже не спросив, что случилось, подхватил на руки Лолу, словно та была маленьким ребенком. Издали доносился чуть сиплый от тревоги голос Сесилии. Ей никто не ответил. Неся Лолу на руках, Леон удалялся с такой скоростью, что Брайони едва за ним поспевала. Тем не менее, прежде чем они добрались до подъездной аллеи и Леон поставил Лолу на ноги, Брайони начала описывать ему события именно так, как она их увидела.

XIV

В последующие годы Брайони терзали воспоминания не столько о допросах, подписании письменного заявления и показаний, о трепете, испытанном перед входом в зал суда, куда ее по малолетству не допускали, сколько попытки собрать воедино фрагменты той ночи — от позднего вечера до рассвета. Как же утонченно чувство вины способно разнообразить пытку, кидая мячики подробностей в вечное кольцо, заставляя всю жизнь перебирать одни и те же четки.

Когда они оказались наконец в доме, наступило призрачное время грозных визитов, слез, приглушенных голосов, поспешных шагов на лестнице и ее собственного отвратительного возбуждения, начисто лишавшего ее сонливости. Разумеется, Брайони была достаточно взрослой, чтобы понимать: это звездный час Лолы, но сочувственные женские руки вскоре препроводили пострадавшую в спальню ожидать приезда доктора и врачебного осмотра. Стоя у подножия лестницы, Брайони наблюдала, как Лола в сопровождении Эмилии и Бетти, поддерживавших ее под руки, и Полли с тазом и полотенцами в руках, замыкавшей процессию, поднималась по ступенькам, громко всхлипывая. После ухода кухни и в отсутствие Робби — он еще не появлялся — Брайони перемещалась на авансцену, и то, как ее слушали, как ей доверяли, как деликатно подсказывали, представлялось признанием только что обретенной зрелости.

Вскоре перед крыльцом остановился полицейский «хамбер»,^[16] и в дом вошли два полицейских инспектора и два констебля. Будучи для них единственным источником информации, Брайони старалась говорить спокойно. Роль ключевого свидетеля питала ее уверенность. То был неформальный период, предшествовавший официальным допросам, она просто стояла перед полицейскими в холле — Леон с одной, мама с другой стороны от нее. Однако как мама, которая повела Лолу наверх, могла столь быстро снова оказаться там? У старшего инспектора было тяжелое, изборожденное морщинами лицо, словно высеченное из гранита. Рассказывая свою историю этой внимательной непроницаемой маске, Брайони трусила, но, поведав все, что знала, испытала облегчение, будто камень свалился с плеч, и от живота вниз, по ногам, стало разливаться ощущение покорности. Оно напоминало любовь — внезапно нахлынувшую любовь к этому внимательному человеку, который

бескомпромиссно стоял на страже добра, в любой час дня и ночи готовый вступить за него в бой, а за спиной у него была вся мощь человеческой добродетели и мудрости. Под его бесстрастным взглядом у Брайони перехватывало горло и прерывался голос. Ей хотелось, чтобы инспектор обнял ее, успокоил и простил, как бы безвинна она ни была. Но он лишь смотрел на нее и слушал. *Это был он. Я видела его.* Слезы должны были послужить еще одним доказательством того, что все ею пережитое и изложенное — правда, и когда мама ласково погладила ее по затылку, Брайони сорвалась, пришлось увести ее в гостиную.

Но если она лежала там на диване, пока мама утешала ее, как она могла помнить приезд доктора Макларена в черном сюртуке и рубашке со старомодным высоким воротником, с неизменным «гладстоном»^[17] в руке? Этот человек был свидетелем трех рождений и бесконечных детских болезней в доме Толлисов. Отведя доктора в сторону, Леон вполголоса, по-мужски сдержанно — куда девалась его обычная беззаботность! — сообщил доктору о произошедших событиях. В последующие часы такие приватные консультации повторялись не раз. Каждого вновь прибывавшего точно так же вводили в курс дела; полицейские, врач, члены семьи, слуги теснились перетекающими одна в другую маленькими группками по углам комнат, в холле и на террасе. Никто не собирал их вместе, никто не делал заявлений. Об ужасном факте насилия было известно всем, но он словно оставался секретом, который шепотом передавался от одной группки к другой, когда кто-нибудь отходил от собеседников, чтобы с исполненным важности видом отправиться по какому-то новому делу. Пропажа детей в свете последних событий тоже приобретала более серьезный оборот. Но общее мнение, без конца повторявшееся, словно волшебное заклинание, сводилось к тому, что они мирно спят где-нибудь в парке. Таким образом, основное внимание постоянно было приковано к беде Лолы, находившейся теперь в спальне наверху.

Вернувшийся с поисков Пол Маршалл узнал о случившемся от инспекторов. Он прохаживался с ними по террасе, угощая сигаретами из своего золотого портсигара, а когда разговор закончился, похлопал по плечу старшего по званию и отпустил их, после чего вошел в дом, чтобы поговорить с Эмилией. Леон проводил доктора наверх, через какое-то время тот спустился обратно, неуловимо увеличившийся в размерах вследствие профессионального доступа к самому сердцу общей беды. Он тоже долго совещался с двумя мужчинами в штатском, потом с Леоном и, наконец, с Леоном и миссис Толлис. Перед уходом доктор зашел в гостиную, положил знакомую маленькую сухую руку на лоб Брайони,

пощупал ей пульс и остался доволен. Взяв саквояж, он направился к выходу, но у самой двери остановился для еще одного краткого совещания.

Где была Сесилия? Она держалась в стороне, ни с кем не разговаривала, непрерывно курила, быстрыми, жадными движениями поднося сигарету к губам, потом с отвращением отбрасывая, и пребывала в крайнем возбуждении; время от времени пересекая холл, комкала и крутила в руках носовой платок. При иных обстоятельствах она бы, несомненно, взяла ситуацию под контроль: отдавала распоряжения насчет ухода за Лолой, ободряла мать, внимательно выслушивала наставления врача, советовалась с Леоном. Теперь же... Брайони оказалась рядом, когда Леон подошел к Сесилии, чтобы поговорить, но та отвернулась от него, не в силах ни чем-либо помочь, ни даже просто что-либо вымолвить. Что касается мамы, то она, на удивление, проявила отменную собранность в критической ситуации, не страдала от мигрени и не испытывала необходимости уединиться. По мере того как старшая дочь съеживалась, замыкаясь в своем несчастье, мать словно вырастала. Порой, когда Брайони призывали снова повторить показания или уточнить какую-нибудь деталь, сестра подходила ближе, чтобы слышать, что та говорит, и смотрела на нее непроницаемым затуманенным взглядом. Брайони это нервировало, и она старалась держаться рядом с матерью. Глаза у Сесилии были красными. Пока остальные, собравшись группками, переговаривались, она металась по холлу, или бегала из комнаты в комнату, или — по крайней мере дважды — выходила на крыльцо. При этом она все время наматывала носовой платок на пальцы, разматывала, комкала в шарик, перекладывала из руки в руку и прикуривала очередную сигарету. Когда Бетти и Полли предлагали всем чай, она даже не прикоснулась к чашке.

Кто-то принес сверху весть, что Лола после успокаивающего укола наконец уснула, это принесло временное облегчение. Чай пили в гостиной, и там установилась непривычная тишина — все устали. Никто не произнес этого вслух, но все ждали появления Робби, а также мистера Толлиса, который вот-вот должен был вернуться из Лондона. Леон с Маршаллом склонились над планом местности — они набросали его для инспектора. Инспектор внимательно изучил план и передал помощникам. Два констебля были отправлены на помощь тем, кто уже искал Пьеро и Джексона, другие полицейские пошли к бунгало поджидать Робби на тот случай, если он надумает вернуться туда. Сесилия сидела на вертящемся стуле перед клавесином — как и Маршалл, в стороне от остальных. В какой-то момент она встала и двинулась к брату, чтобы прикурить, но старший инспектор галантно поднес ей свою зажигалку. Брайони примостилась на диване

возле мамы, а Бетти и Полли ходили по комнате с чайными подносами.

Брайони так никогда и не смогла припомнить, что вдруг стукнуло ей тогда в голову. Совершенно ясная и убедительная мысль возникла из ниоткуда, Брайони не собиралась никого оповещать о своих намерениях или спрашивать разрешения у сестры. Для нее это было очевидно. Подтверждение. Или даже, вероятно, еще одно, отдельное преступление. Она так стремительно вскочила, что чуть не выбила чашку из рук матери и всполошила остальных.

Все наблюдали, как она выбегает из комнаты, но никто ни о чем не спросил ее — настолько все были измучены. Брайони же, напротив, воодушевленная мыслью о том, что поступает правильно, взлетела по лестнице, перешагивая через две ступеньки и предвкушая, как ее похвалят за сюрприз. Она чувствовала себя так, как человек накануне Рождества, готовясь преподнести подарок, который, безусловно, вызовет восторг, — то было радостное и безграничное восхищение собой.

Промчавшись через коридор третьего этажа, она влетела в комнату Сесилии. В каком же беспорядке жила сестра! Обе створки двери платяного шкафа были распахнуты, часть платьев выглядывала наружу, некоторые свисали с вешалок на одном плечике. Два — черное и розовое, дорогие шелковые наряды — словно тряпки валялись на полу в окружении туфель. Брезгливо перешагивая через разбросанные вещи, Брайони подошла к туалетному столику. Ну почему Сесилия никогда не закрывает крышками баночки с кремом, флаконы и тюбики? Почему никогда не встряхивает свои вонючие пепельницы? Не заправляет постель, не проветривает комнату? Первый ящик, который Брайони попыталась открыть, выдвинулся всего на несколько дюймов — он был забит бутылками и скомканными картонными упаковками. Хотя Сесилия и старше ее на десять лет, есть в ней какая-то беспомощность и безнадёжность. Как ни страшно будет встретить там, внизу, разъяренный взгляд сестры, то, что она делает, правильно, думала девочка, открывая следующий ящик, она поступает здраво, ради сестры, ради ее же блага.

Когда через пять минут Брайони с победным видом снова ворвалась в гостиную, никто не обратил на нее внимания, в комнате все было так же, как прежде, — усталые, сраженные бедой взрослые молча потягивали чай или курили. Пребывая в возбуждении, Брайони не задумалась о том, кому лучше отдать письмо, ее воспаленное воображение уже рисовало, как все читают его одновременно. Она решила вручить письмо Леону и направилась было к брату, но, проходя мимо трех полицейских, передумала и протянула сложенный листок тому самому, с лицом из гранита. Если и

можно было сказать, что это лицо имело некое выражение, то выражение не изменилось — ни когда он брал письмо, ни когда читал его. Причем последнее он проделал молниеносно, лишь раз взглянув на листок. Их взгляды встретились, потом полицейский поискал взглядом Сесилию, та сидела отвернувшись. Едва заметным движением руки инспектор подал знак одному из подчиненных взять письмо. Прочтя, тот передал его Леону. Леон пробежал письмо глазами и вернул старшему инспектору. На Брайони произвело впечатление это безмолвное общение трех мужчин. Только теперь тем, что происходило, заинтересовалась Эмилия Толлис. На ее безразличный вопрос Леон ответил:

— Это просто письмо.

— Дай сюда.

Второй раз за вечер Эмилия была вынуждена напомнить о своем первоочередном праве на все письменные послания, ходившие по дому. Сознывая, что от нее самой больше ничего не требуется, Брайони уселась рядом с матерью на диване и с маминой точки обзора стала наблюдать за тем, как Леон и полицейский обменялись благородно-смущенными взглядами.

— Дай сюда, — повторила Эмилия.

Ее тон был зловеще-бесстрастным. Леон пожал плечами и изобразил извиняющуюся улыбку — как он мог не выполнить требования матери? Эмилия перевела свой ничего не выражающий взгляд на инспектора. Она принадлежала к поколению, воспринимавшему бюстителей порядка, независимо от их ранга, как лакеев. Повинуясь кивку начальника, младший полицейский пересек комнату и вручил ей письмо. Наконец и Сесилия, видимо витавшая в мыслях где-то далеко, обратила внимание на происходящее. В следующий миг, когда письмо уже лежало на коленях у матери, она, вскочив с вертящегося стула, бросилась к дивану.

— Как ты посмела! Как вы все смеее!!!

Леон тоже встал и сделал предупредительный жест:

— Си...

Сесилия рванулась, чтобы вырвать письмо у матери, но на ее пути внезапно оказались не только ее собственный брат, но и два полицейских. Маршалл тоже встал, но вмешиваться не решился.

— Оно принадлежит мне! — закричала Сесилия. — Вы не имеете никакого права!

Эмилия даже не подняла головы, она не спеша перечитала письмо несколько раз, после чего на пылкий гнев дочери ответила своим, ледяным:

— Если бы вы, юная леди, при всем вашем образовании поступили как

должно, пришли бы с этим письмом ко мне, меры можно было принять вовремя и вашей кухне не пришлось бы пройти через этот ужас.

Несколько секунд Сесилия в одиночестве стояла посреди комнаты с дрожащими руками, обводя взглядом всех по очереди, не веря, что кто-то сможет понять ее, и не в состоянии рассказать им, как обстояло дело в действительности. И хоть Брайони испытывала удовлетворение от реакции взрослых на ее поступок, хоть в ее душе зрел сладкий, хорошо знакомый восторг, она была рада, что в этот момент оказалась на диване рядом с мамой, почти скрытая спинами мужчин от презрительного взгляда покрасневших глаз сестры. Несколько секунд Сесилия стояла, вперив в Брайони негодующий взор, потом повернулась и вышла. Когда она проходила через холл, у нее вырвался крик, исполненный невыразимой муки. Этот крик усилила гулкая акустика помещения с голым кафельным полом. Все находившиеся в гостиной испытали облегчение, почти расслабились, услышав, что она поднимается наверх. Следующее, что увидела Брайони, это как Маршалл вернул письмо инспектору, а тот положил его развернутым в папку, которую держал перед ним низший по званию полицейский.

Оставшиеся до наступления утра часы пролетели незаметно, Брайони совсем не чувствовала усталости. Никому не пришло в голову отправить ее спать. Она не могла бы сказать, сколько времени прошло после того, как Сесилия удалилась в свою комнату, когда мама повела ее в библиотеку, где состоялся первый официальный допрос. Брайони, на краешке стула, сидела с одной стороны письменного стола, инспекторы — с другой. Миссис Толлис осталась стоять. Вел допрос полицейский с лицом древнего каменного изваяния. На поверку он оказался исключительно любезным, вопросы задавал неспешно, голосом хриплым, но деликатным и даже немного печальным. Поскольку Брайони точно указала место, где Робби напал на Сесилию, все прошли в угол между стеллажами, чтобы тщательно обследовать следы происшествия. Прислонившись к книжным полкам, Брайони вжалась в них спиной, демонстрируя, как стояла сестра, и в этот момент заметила первый проблеск утренней зари в высоких окнах. Она отошла от стены на шаг, повернулась и показала, в какой позе застала насильника, потом — где стояла она сама.

— Но почему ты ничего не сказала мне? — спросила Эмилия.

Полицейский тоже выжидательно уставился на Брайони. Хороший вопрос, но ей никогда бы и в голову не пришло тревожить мать. Кроме мигрени, из этого ничего бы не вышло.

— В тот момент нас позвали к столу, а потом близнецы убежали.

Она рассказала, как — на мосту, в сумерках — к ней попало письмо. Что заставило ее вскрыть конверт? Трудно было объяснить импульсивный порыв, вынудивший ее сделать это вопреки тревожной мысли о вероятных последствиях: просто писателю, который проснулся в ней лишь прошлым утром, необходимо было знать и понимать все, что происходило вокруг.

— Не знаю, — ответила она. — Мне стало нестерпимо любопытно, хоть я и понимала, что читать чужие письма недопустимо.

Примерно в это время констебль заглянул в дверь, чтобы сообщить новость, которая добавила всем тревоги. Из автомата близ аэропорта Кройдон позвонил шофер мистера Толлиса. Служебная машина, предоставленная немедленно благодаря любезности министра, уже в пригороде. Джек Толлис спит, укрывшись одеялом, на заднем сиденье. Вероятно, он прибудет домой первым утренним поездом. Когда информация была прослушана и обсуждена, Брайони мягко вернули к событиям, произошедшим на острове. На этой ранней стадии инспектор старался не давить на девочку наводящими вопросами, так что она имела возможность спокойно выстраивать рассказ, придавать ему форму, облекая в собственные слова и по-своему вычленяя ключевые моменты: света было достаточно, чтобы рассмотреть знакомое лицо; а потом, когда он пятился и огибал поляну, она узнала его по росту и манере двигаться.

— Значит, ты его видела?

— Я знаю, что это был он.

— Давай забудем то, что ты знаешь. Ты ведь говоришь, что видела его.

— Да, я его видела.

— Также, как видишь сейчас меня?

— Да.

— Ты видела его собственными глазами?

— Да. Я его видела. Я видела его.

Так закончился первый официальный допрос. Пока Брайони сидела в гостиной, сморенная наконец усталостью, но упорно не желавшая отправляться в постель, допрашивали ее мать, потом Леона и Пола Маршалла. Вызвали также старика Хардмена и его сына Дэнни. Брайони слышала, как Бетти говорила, что Дэнни весь вечер провел в доме вместе с отцом, который готов за него поручиться. Несколько констеблей вернулись с поисков близнецов, их проводили через кухню. Другим смутным воспоминанием того плохо запомнившегося Брайони раннего утра было то, что Сесилия отказалась покинуть свою комнату, спуститься вниз и ответить на вопросы полицейских. В последующие дни, когда у нее не оставалось выбора и пришлось наконец сдаться, ее показания о том, что на самом деле

произошло в библиотеке, — в каком-то смысле более шокирующие, чем показания Брайони, — сколь бы убедительными они ни были, лишь подтвердили общее мнение о мистере Тернере как о человеке опасном. Неоднократно высказанное Сесилией предположение, что подозревать скорее следует Дэнни Хардмена, встречалось гробовым молчанием и воспринималось как понятная, однако слабая попытка молодой женщины защитить друга, бросив тень на невинного парня.

Вскоре после пяти, когда пошли разговоры о том, что начали готовить завтрак — по крайней мере для констеблей, поскольку никто другой есть был не в состоянии, — пронеслось известие, что через парк к дому движется человек, похожий на Робби. Возможно, кто-то заметил его из окна верхнего этажа. Брайони не помнила, почему было решено ждать Робби у дверей, но все вышли и сгрудились перед парадным входом: члены семьи, Пол Маршалл, Бетти с помощницами, полицейские. Наверху остались лишь пребывавшая в наркотическом дурмане Лола и разъяренная Сесилия. Вероятно, миссис Толлис не пожелала, чтобы нога негодяя осквернила ее жилище. А может, инспектор опасался сопротивления, которое легче подавить вне дома — там больше простора и проще произвести арест. Чудо рассвета сменилось серостью раннего утра, подернутого пеленой летнего тумана, который вскоре должен был рассеяться под жарким солнцем.

Поначалу они ничего не видели, хотя Брайони казалось, что она улавливает звук шагов на подъездной аллее. Потом его слышали все, а когда вдали, ярдах в ста, замаячила фигура — всего лишь сереющее на белом фоне пятно, — в группе собравшихся прокатился тихий ропот, все пришли в движение. По мере того как пятно приобретало все более отчетливые очертания, снова становилось тише. Никто не мог точно разобрать, что именно к ним приближалось. Конечно, то был зрительный обман, рожденный игрой света и тумана. Кто же в век телефонов и автомобилей поверит, будто существуют гиганты семи или даже восьми футов ростом в перенаселенном Суррее? Но вот он был перед ними: образ столь же неправдоподобный, сколь и реальный. Эта невероятная, но отчетливая фигура шла прямо на них. Сплотившись теснее, все попятились к крыльцу, а Бетти, про которую знали, что она католичка, в ужасе перекрестилась. Лишь старший инспектор сделал несколько шагов вперед, и ему все стало ясно: рядом с большой фигурой ковыляла маленькая. Тут все увидели, что это был Робби, на плечах у него сидел один мальчик, другой, которого он, видимо, держал за руку, плелся чуть сзади. Не доходя футов тридцати до дома, Робби остановился и, судя по всему, хотел что-то сказать, но, увидев, как к нему приближаются инспектор и другие

полицейские, передумал. Сидевший у него на плечах мальчик, похоже, спал. Другой, привалившись головкой к бедру Робби, обвинил его плечи рукой и прижал большую мужскую ладонь к своей груди: для тепла и безопасности.

Первым чувством Брайони было облегчение: близнецы нашлись. Но, увидев, как спокоен Робби, она вспыхнула от гнева. Неужели он думает, будто ему удастся скрыть свое преступление за показной благостью, изобразив из себя доброго пастыря? Разумеется, это циничная попытка заслужить прощение за то, что прощено быть не может. Вот лишнее доказательство: зло хитроумно и коварно. Внезапно мамины руки сжали ей плечи и, повернув к дому, передали на попечение Бетти. Эмилия хотела, чтобы дочь находилась как можно дальше от Робби Тернера. Да и в конце концов, девочке положено в этот час быть в постели. Бетти крепко ухватила Брайони за руку и повела в дом, а мама с Леоном выступили вперед, чтобы принять близнецов. Оглянувшись, Брайони увидела Робби с поднятыми руками — он выглядел как солдат, сдававшийся в плен. Но оказалось, что он всего лишь снял с плеч мальчика и осторожно поставил на землю.

Через час она лежала на своей кровати под балдахин в чистой белой ночной сорочке из хлопка, которую дала ей Бетти. Шторы были задернуты, но в щели по краям уже проникал яркий дневной свет. Несмотря на усталость, от которой кружилась голова, Брайони никак не могла заснуть. Голоса и образы кружили у кровати, надоедливые, возбужденные, перемешивающиеся, упорно сопротивляющиеся ее попыткам упорядочить их. Неужели все они порождены одним-единственным днем, бессонным периодом времени, начавшимся с невинной репетиции пьесы и закончившимся появлением выплывшего из тумана колосса? Все, что произошло между этими событиями, казалось слишком сумбурным и размытым, разобраться было трудно, хотя в целом Брайони чувствовала: она добилась успеха, даже одержала победу. Девочка откинула с ног простыню и перевернула подушку на другую, прохладную сторону. В нынешнем состоянии ей сложно было понять, в чем именно заключался успех; если в том, что она стала взрослой, то сейчас она этого не ощущала; быть может, из-за бессонной ночи она чувствовала себя почти беспомощным ребенком, готовым расплакаться. Конечно, она проявила храбрость, разоблачив очень дурного человека, и было несправедливо с его стороны явиться вот так, с найденными близнецами, но в то же время Брайони казалось, что ее обманули. Кто ей поверит теперь, когда Робби предстал добрым спасителем потерянных детей? Все, что она сделала, вся ее отвага и здравомыслие, помощь Лоле — все впустую. Они отвернутся от

нее — мама, полицейские, брат — и отправятся вместе с Робби Тернером плести свои взрослые интриги. Ей захотелось, чтобы мама оказалась рядом, чтобы можно было обнять ее, притянуть к себе милое лицо, но теперь мама не придет, никто не придет к Брайони, никто больше не захочет с ней говорить. Уткнувшись лицом в подушку, она разрыдалась. Никто не знал о ее горе, и от этого она почувствовала себя еще более несчастной, покинутой.

Она уже с полчаса лежала в полумраке, лелея сладкую печаль, когда услышала, как завелся мотор полицейской машины, припаркованной под ее окном. Проехав до гравиевой дорожки, машина остановилась. Послышались голоса и звук шагов. Брайони встала и раздвинула шторы. Туман еще не рассеялся, но стал прозрачнее, будто его подсветили изнутри. Ей пришлось прищуриться, чтобы они привыкли к свету. Все четыре дверцы полицейского «хамбера» были широко распахнуты, у машины в ожидании застыли три констебля. Внизу, прямо под окном, скорее всего на крыльце, стояли люди, которых она не видела, и слышались голоса. Потом снова раздался звук шагов, и в поле ее зрения появились два инспектора, а между ними — Робби. В наручниках! Она увидела его сцепленные спереди руки и поблескивание стали из-под манжет. Зрелище ужаснуло ее. Но это было лишним подтверждением его вины и началом возмездия — набросок к картине вечного проклятия.

Дойдя до машины, они остановились. Брайони не могла рассмотреть выражение лица Робби, хотя он стоял вполоборота к ней, — на несколько дюймов выше инспектора, с прямой спиной и поднятой головой, — наверное, он гордился содеянным. Один из констеблей сел за руль. Младший инспектор обошел автомобиль и поместился в углу заднего сиденья, в то время как его шеф собирался затолкать Робби на его середину. Вдруг под окном произошло какое-то движение, потом послышался сердитый окрик Эмилии Толлис, и к машине метнулась фигура — метнулась стремительно, насколько позволяло узкое платье. Приблизившись к Робби, Сесилия замедлила шаг. Тот обернулся, сделал полшага ей навстречу, и тут — вот чудеса! — инспектор тактично отступил. Наручники были отчетливо видны, но Робби, казалось, несколько их не стеснялся, пожалуй, он даже не замечал их, лишь смотрел на Сесилию и мрачно слушал то, что она ему говорила. Полицейский невозмутимо наблюдал. Если Сесилия бросала Робби горькие обвинения, коих он заслуживал, то это никак не отразилось на его лице. Хоть голова Сесилии была повернута в сторону от нее, Брайони почувствовала, что сестра говорит без должного воодушевления. Впрочем, оттого, что упреки

та бормотала вполголоса, они, быть может, звучали еще суровее. Сесилия и Робби подошли ближе друг к другу, и теперь уже Робби что-то быстро произнес, приподнял скованные наручниками руки и безнадежно уронил их снова. Сесилия прикоснулась к его запястьям, погладила лацкан его пиджака, а потом вцепилась в него и слегка тряхнула. Жест показался ласковым, и Брайони тронула безграничная способность сестры к прощению, если это было именно оно. Прощение. Это слово никогда прежде ничего не значило для Брайони, хотя она тысячи раз слышала, как его торжественно произносили и в школе, и в церкви. А вот Сесилия, видимо, понимала его истинный смысл. Разумеется, Брайони многого еще не знает о собственной сестре. Но теперь у нее будет возможность узнать ее лучше, ведь эта трагедия, безусловно, сблизит их.

Тактичный инспектор, видимо, решил, что был достаточно снисходителен, потому что сделал шаг вперед, отвел руку Сесилии и встал между ними. Робби что-то быстро сказал ей и повернулся к машине. Инспектор заботливо положил ладонь на голову Робби и пригнул ее вниз, чтобы арестованный не стукнулся лбом, залезая в машину. Потом уселся рядом, так что Робби оказался зажат между двумя инспекторами. Дверцы захлопнулись, и, когда машина отъезжала, оставшийся констебль взял под козырек. Сесилия продолжала стоять, где стояла, спиной к дому, глядя вслед удалявшемуся автомобилю, но по ее вздрагивающим плечам можно было догадаться, что она плачет, и Брайони поняла, что никогда не любила сестру так, как в этот момент.

На сем должен был бы закончиться бесконечный летний день, плавно перетекавший в ночь; «хамбер», медленно исчезающий в конце подъездной аллеи, стал бы впечатляющим заключительным аккордом. Но, как оказалось, предстоял еще один, последний взрыв. Не успела машина проехать и двадцати ярдов, как начала тормозить. Прямо по центру аллеи навстречу «хамберу», не собираясь ни отойти в сторону, ни остановиться, двигалась женщина, которой Брайони прежде не заметила. Она была невысокая, с переваливающейся походкой, в цветастом платье и держала в руке предмет, поначалу показавшийся Брайони палкой, а на самом деле оказавшийся мужским зонтом с ручкой в виде гусиной головы. Машина остановилась и просигналила, но женщина подошла вплотную к решетке радиатора. Это была мать Робби, Грейс Тернер. Подняв над головой зонтик, она закричала. Полицейский, сидевший на переднем сиденье, вышел и что-то сказал ей, потом попытался оттащить за руку. Констебль, отдававший честь отъезжавшей машине, поспешил на помощь. Миссис Тернер стряхнула руку полицейского, снова подняла зонт над головой, на сей раз

обеими руками, и изо всех сил обрушила тяжелую гусиную голову на блестящий капот «хамбера». Раздался треск, напоминавший звук выстрела. Когда констебли стали оттаскивать, почти переносить ее на обочину, она начала выкрикивать, да так громко, что Брайони услышала, даже находясь в спальне на третьем этаже, одно-единственное слово:

— Лжецы! Лжецы! Лжецы!

С по-прежнему открытой передней дверцей машина медленно проехала чуть вперед и остановилась, чтобы полицейский мог снова сесть на свое место. Его коллега в одиночестве безуспешно продолжал успокаивать Грейс. Ей удалось еще раз обрушить зонт на автомобиль, но на сей раз удар лишь скользнул по крыше. Вырвав зонт из рук миссис Тернер, полицейский через плечо забросил его в траву.

— Лжецы! Лжецы!

Продолжая кричать, мать Робби пробежала несколько шагов за автомобилем, безнадежно пытаясь догнать его, потом остановилась и, обреченно опустив руки, смотрела, как он переезжает через первый мост, пересекает остров, минует второй мост и в конце концов растворяется в молочном тумане.

Часть вторая

Он повидал довольно ужасов, но именно эта ошеломляющая деталь сразила его и надолго лишила возможности двигаться. Когда, пройдя три мили по узкой дороге, они достигли пересечения с шоссе, он заметил тропинку — вроде ту самую, которую искал: она сворачивала вправо и там, теряясь в зелени и появляясь снова, бежала к молодой рощице, покрывавшей невысокий холм на северо-западе. Они остановились, чтобы он мог свериться с картой. Но карты не оказалось там, где она, по его представлению, должна была находиться: ни в кармане, ни за поясом. Может, он обронил ее или оставил на последней стоянке? Скинув шинель на землю, он стал рыться в карманах кителя, но вдруг осознал: уже больше часа карта зажата у него в левой руке. Он взглянул на двух своих спутников — те, стоя поодаль друг от друга, смотрели в сторону и молча курили. Карта по-прежнему находилась в его руке. В Уэст-Кентсе он вытащил ее из скрюченных пальцев какого-то капитана, лежавшего в траншее возле... возле чего? Такая карта тыловой местности была редкостью. Прихватил он также револьвер мертвого капитана. Он не собирался выдавать себя за офицера, просто, потеряв свое ружье, хотел выжить.

Тропинка, которая его интересовала, начиналась от торца разбомбленного дома, почти нового, вероятно служившего сторожкой путевого обходчика. В грязи вдоль заполненной водой колеи виднелись следы животных. Возможно, коз. Вокруг валялись лохмотья разорванной одежды с почерневшими краями, обрывки то ли занавесок, то ли постельного белья. Искореженная оконная рама висела на кусте, и повсюду ощущался запах влажной гари. Это была их тропа, их короткий путь. Он сложил карту, поднял шинель, встряхнул ее и, накидывая на плечи, увидел *это*. Остальные, уловив движение за спиной, обернулись и проследили за его взглядом. На дереве, на взрослом платане, только что покрывшемся молодой листвой, висела нога. Она застряла в нижней развилке ствола на высоте футов двадцати — голая, аккуратно срезанная чуть выше колена. Оттуда, где они стояли, не было видно ни крови, ни разорванной плоти. Нога была совершенна по форме, бледная, гладкая и, судя по небольшому размеру, могла принадлежать ребенку. Расположение в развилке было каким-то претенциозным, словно ногу выставили напоказ — то ли для развлечения, то ли для просвещения: вот, мол, нога.

Оба капрала с отвращением фыркнули и стали собирать вещи. Они не хотели ни во что вникать, им было достаточно и того, что пришлось повидать за последние дни.

Неттл, водитель грузовика, закурил очередную сигарету и спросил:

— Ну так куда теперь, начальник?

Они называли его так, чтобы обойти трудный вопрос о его звании. Он поспешно зашагал, почти побежал по тропе. Ему хотелось уйти подальше от этого зрелища, чтобы стошнить или, быть может, облегчиться, он сам не знал. За хлевом, возле кучи битого шифера, организм выбрал первый вариант. Тернер был так обезвожен, что не мог позволить себе потерю жидкости, и отпил из фляжки. Потом, воспользовавшись моментом, осмотрел свою рану. Дыра размером с полкроны зияла в правом боку, прямо под ребрами. После того как накануне он промыл ее и удалил запекшуюся кровь, она выглядела уже не столь устрашающе. Кожа вокруг покраснела, отек был небольшим, но что-то осталось внутри. На ходу он чувствовал, как это что-то перекачивается. Скорее всего, осколок шрапнели.

К тому времени, когда капралы догнали его, он успел снова заправить рубашку в брюки и притворился, будто изучает карту. В этой компании только карта давала ему возможность ненадолго остаться в одиночестве.

— Что за спешка?

— Должно, какую-нибудь кралю заприметил.

— Не-е, это из-за карты. У него опять эти чертовы сомнения.

— Никаких сомнений, господа. Это наша тропа.

Он достал сигарету, и капрал Мейс поднес ему спичку. Потом, чтобы скрыть дрожь в руках, Робби Тернер пошел вперед, они последовали за ним, как следовали уже двое суток. Или трое? По званию он был ниже их, но они шли за ним и делали все, что он предлагал, а чтобы не потерять при этом достоинства, дразнили его. Когда они брели по дорогам или напрямую пересекали поле и он слишком долго молчал, Мейс бывало говорил:

— Начальник, опять про свою кралю думаешь?

Неттл подыгрывал:

— Думает, забодай его козел, думает!

Они были городскими жителями, не любили сельской местности и терялись в ней, не умели ориентироваться по компасу — этот курс военной подготовки они не усвоили. И они решили: он им нужен, чтобы добраться до побережья. Самим им было бы трудно это сделать. Он же действовал как офицер, хотя не имел ни одного шеврона. В первую ночь, которую они провели под навесом для велосипедов у сгоревшей школы, капрал Неттл

спросил:

— А чой-то ты, простой рядовой, говоришь как джентльмен?

Он не удостоил их объяснениями. Он поставил себе цель — выжить, потому что у него была для этого важная причина, и теперь ему было все равно, потащатся они за ним или нет. Оба сохранили винтовки. Это уже кое-что. К тому же Мейс был богатырем, с мощными плечами и лапами, которые могли охватить полторы октавы на пианино в пабе, где, по его словам, он играл. На насмешки же Тернер не обращал внимания. Единственное, чего он хотел теперь, следуя по тропе, уводящей от дороги, это забыть ту ногу. Тропа перешла в грунтовую дорогу, зажатую между каменными стенами и круто спускавшуюся в долину, которой с шоссе видно не было. Там бежала коричневатая речушка, они перешли ее, ступая по камням, глубоко утопавшим в водорослях, напоминавших карликовую водяную петрушку.

По другую сторону долины дорога, снова зажатая между старинными каменными стенами, свернула на запад и пошла вверх. Небо впереди начало кое-где расчищаться, голубые просветы казались обещанием. Серого цвета, впрочем, было больше. Когда они, пробираясь сквозь рощу каштановых деревьев, приближались к вершине холма, заходившее солнце вынырнуло из-под густой пелены облаков и осветило местность, ослепив трех бредущих солдат. Как замечательно было бы завершить прогулку по французской провинции длиной в день, идя навстречу солнцу! Картина, вселявшая надежду.

Выйдя из рощи, они услышали гул бомбардировщиков и поспешно вернулись под сень деревьев — переждать налет и покурить. Оттуда, где они находились, рассмотреть самолеты было невозможно, зато вид открывался прекрасный. Эти возвышенности нельзя было назвать горами — они напоминали рябь на земной поверхности, слабое эхо набегавших где-то мощных валов. Каждый последующий гребень казался бледнее предыдущего. Тернер смотрел на эти волны серого и голубого, убывавшие, угасавшие в мареве на горизонте, за которым тонуло закатное солнце, и картина напоминала ему рисунок на восточном блюде.

Через полчаса они снова совершали длинный переход, спускаясь по более крутому склону, обращенному на север, к другой долине, с другой речушкой, более полноводной. Ее они перешли по каменному мосту, густо покрытому коровьим навозом. На капралов, не так уставших, как Робби, напал приступ веселья, они изображали притворный бунт. Один швырнул ему в спину засохшую коровью лепешку. Тернер не смотрел по сторонам. Лохмотья ткани, думал он, могли быть ошметками детской пижамы.

Мальчишеской. Пикирующие бомбардировщики часто появлялись незадолго до рассвета. Он пытался гнать эти мысли, но они не отпускали его. Французский мальчик спал в своей кроватке. Тернер старался мысленно создать дистанцию между собой и той развороченной сторожкой. Но его тревожили не только немецкая армия и ее воздушные силы. При луне он мог бы спокойно идти всю ночь, только вот капралам это вряд ли понравится. Пора от них избавляться.

Вниз по течению речушку окаймляли тополя, верхушки которых трепетали и серебрились в последних отблесках дневного света. Солдаты сменили направление, и вскоре дорога снова сузилась до тропы, уводившей от реки. Они продирались сквозь заросли каких-то кустов с плотными блестящими листьями, там и сям росли приземистые дубы, едва начавшие покрываться листвой. От зелени под ногами шел сладковатый запах сырости, и Робби подумал: что-то не так в этой местности, что-то отличало ее от всего, где они были раньше.

Впереди послышался гул. Он усиливался, становился все более грозным, как будто там с невероятной скоростью вращались маховики или электрические турбины. Они словно вступали в необозримый энергетический зал мощного звука.

— Пчелы! — закричал он.

Пришлось обернуться и повторить еще раз, прежде чем капралы его услышали. В воздухе потемнело. Пчелиные повадки были хорошо известны Робби. Стоит одному насекомому запутаться в волосах и укусить, как, умирая, оно пошлет химический импульс остальным, и пчелы, которые получают его, повинувшись инстинкту, слетятся на то же место, чтобы так же ужалить и умереть. Всеобщая воинская повинность! После всех пережитых опасностей это было бы в некотором роде оскорблением. Все трое солдат натянули на голову шинели и помчались сквозь рой. Облепленные пчелами, добежали до вонючей траншеи, заполненной жидкой глиной, и перебрались через нее по шаткой доске. За амбаром, попавшимся на пути, все внезапно стихло. Амбар стоял на краю хозяйственного двора. По мере того как они начали углубляться в него, разлаялись собаки, и вскоре навстречу выбежала старая женщина, размахивая руками так, словно пришельцы были курами, которых следовало немедленно прогнать. Капралы полностью зависели от Тернера, поскольку он единственный среди них говорил по-французски. Выступив вперед на несколько шагов, Робби ждал, когда женщина приблизится. Рассказывали, что некоторые местные жители продавали воду в бутылках по десять франков за штуку, хотя ему с этим сталкиваться не приходилось. Французы, с которыми он имел дело, были щедры или

полностью поглощены собственными несчастьями. Женщина оказалась хрупкой, но энергичной. Лицо у нее было шишковатым, диким и круглым, как луна. Голос оказался резким:

— *C'est impossible, m'sieu. Vous nepouvezpas rester id.*^[18]

— Мы переночуем в амбаре. Нам нужны вода, вино, хлеб, сыр — в общем, все, чем вы можете поделиться.

— *Impossible!*^[19]

— Мы сражаемся за Францию, — мягко напомнил он ей.

— Вы не можете здесь оставаться.

— Мы уйдем на рассвете. Немцы не успеют...

— Дело не в немцах, мсье. А в моих сыновьях. Они — звери. И они скоро вернутся.

Пройдя мимо женщины, Тернер подошел к колонке, находившейся в углу двора возле кухни. Неттл и Мейс последовали за ним. Пока он пил, за ними, стоя в дверях, наблюдали девочка лет десяти и ее маленький братик, которого она держала за руку. Напившись и наполнив флягу, Тернер им улыбнулся — дети тут же исчезли. Капралы склонились к колонке вместе и пили почти синхронно. Женщина вдруг возникла у Тернера за спиной и схватила его за руку. Но прежде чем она успела снова завести свою песню, он сказал:

— Принесите нам то, что я прошу, иначе мы войдем в дом и возьмем все сами.

— Мои сыновья — настоящие громилы. Они меня убьют.

Он предпочел бы ответить: «И поделом тебе», но, отойдя на несколько шагов, лишь бросил через плечо:

— Я поговорю с ними.

— Тогда, мсье, они убьют вас. Разорвут на куски.

Капрал Мейс был поваром в подразделении королевских войск связи, где служил и капрал Неттл. До армии он работал на складах «Хилз»^[20] на Тоттнем-Корт-роуд. Заявив, что понимает кое-что в комфорте, он принялся обустривать их ночлег в амбаре. Тернеру было бы достаточно и просто брошенной на пол соломы. Но Мейс нашел кучу мешков и с помощью Неттла набил их этой самой соломой, превратив в матрасы. Из тюков сена, которые с легкостью поднимал одной рукой, он соорудил подголовники. А положив прислоненную к стене дверь на кирпичные столбики, устроил стол, после чего достал из кармана полсвечи.

— Везде нужно устраиваться с удобствами, — бормотал он при этом.

Впервые за все это время их шутки не касались секса. Трое мужчин,

улегшись на импровизированные кровати, закурили и стали ждать. Утолив жажду, они сосредоточились на мыслях о еде, посмеиваясь над громким урчанием в собственных животах. Тернер пересказал им слова женщины о ее сыновьях.

— Наверное, они — «пятая колонна», — предположил Неттл. Рядом с приятелем-богатырем он выглядел недомерком, но, как у многих коротышек, черты лица у него были четкими, а вид — дружелюбным. Он любил прикусывать зубами верхнюю губу и становился при этом похож на симпатичного мышонка.

— Или французские фашисты, немецкие подпевалы, вроде нашего Мосли,^[21] — подхватил Мейс.

Немного помолчали, потом Мейс добавил:

— Или как все они тут. Совсем сбрендили, а все из-за того, что женятся на кровной родне.

— Кем бы они ни были, — заметил Тернер, — думаю, нам следует проверить оружие и держать его наготове.

Капралы вняли совету. Мейс зажег свечу, и все принялись за привычное дело. Осмотрев пистолет, Тернер положил его рядом с собой. Его спутники прислонили свои «ли-энфилды» к деревянной решетке и снова улеглись. Вскоре появилась девочка с корзинкой, поставила ее у входа в амбар и убежала. Неттл подобрал корзинку, и они начали раскладывать то, что в ней лежало, на своем импровизированном столе. Круглый каравай ржаного хлеба, небольшой кусок мягкого сыра, луковица и бутылка вина. Хлеб был клёклым и отдавал плесенью. Сыр оказался отличным, но исчез в одну минуту. Бутылку передавали по кругу, но вскоре и она опустела. Оставалось лишь жевать заплесневелый хлеб с луковицей.

— Я бы и поганую собаку этим не стал кормить, — вздохнул Неттл.

— Пойду раздобуду что-нибудь получше, — сказал Тернер.

— Мы с тобой.

Однако все продолжали молча лежать на своих «кроватях». Никто пока не был готов к новому столкновению с хозяйкой.

Услышав приближающиеся шаги, они обернулись и увидели в дверях двух мужчин. Каждый что-то держал в руках — возможно, клюшку или дробовик, — из-за бьющего в глаза света разобрать было невозможно. Нельзя было рассмотреть и лиц братьев-французов.

— *Bonsoir, messieurs*^[22]. — Голос звучал мирно.

— Добрый вечер.

Поднимаясь с соломенного тюфяка, Тернер взял револьвер. Капралы

потянулись к винтовкам.

— Спокойно, — прошептал он им.

— Англичане? Бельгийцы?

— Англичане.

— У нас тут кое-что для вас есть.

— Что именно?

— Что он говорит? — забеспокоился один из капралов.

— Говорит, у них для нас что-то есть.

— А чтоб его!

Французы сделали несколько шагов в глубину амбара и подняли повыше то, что держали в руках. Конечно же, дробовики. Тернер спустил предохранитель и услышал, как Мейс с Неттлом сделали то же самое.

— Спокойно, — снова предупредил он.

— Уберите оружие, господа.

— Уберите свое.

— Одну минутку.

Говоривший потянулся к карману, достал фонарь и посветил не на солдат, а на своего брата и на то, что он держал: в одной руке — французский багет и в другой — холщовую сумку. Потом он показал им свою ношу: два длинных багета.

— Еще мы принесли оливки, сыр, паштет, помидоры и ветчину. Ну и разумеется, вино. Да здравствует Англия!

— Вив ля Франс!

Все уселись за сооруженный Мейсом стол, по поводу которого, равно как и по поводу матрасов, французы — Анри и Жан-Мари Бонне — выразили вежливое восхищение. Это были низкорослые коренастые мужчины лет за пятьдесят. Анри — в очках, которые, как высказался Неттл, фермеру подходили как корове седло. Тернер этого переводить не стал. Для вина братья захватили стаканы. Пятеро мужчин выпили за французскую и британскую армии и за победу над Германией. Солдаты ели, хозяева наблюдали. Мейс попросил Тернера передать им, что он никогда не пробовал паштета из гусиной печенки и даже не слышал о нем, но теперь не станет есть ничего другого. Французы улыбались, однако держались скованно и, судя по всему, боялись опьянеть. Сказали, что ездили на своем грузовичке с открытой платформой в деревушку возле Арраса искать молодую двоюродную сестру с детьми. За этот город велись упорные бои, но они так и не узнали, кто наступал, кто оборонялся и кто победил. Братья старались держаться подальше от главных дорог, чтобы избегать встреч с толпами беженцев и царившего там хаоса. По пути видели горящие

крестьянские дома, а в одном месте прямо на дороге лежало человек двенадцать убитых английских солдат. Пришлось оттащить их на обочину, чтобы не ехать по трупам. Но несколько тел уже было разорвано пополам. Должно быть, отделение попало под пулеметный обстрел или налет с воздуха, а может, нарвалось на засаду. Когда братья снова сели в грузовик, Анри вырвало прямо в кабине, а Жан-Мари, сидевший за рулем, так запаниковал, что съехал в кювет. Они вынуждены были пойти в деревню и одолжить лошадей, чтобы вытащить свой «рено». Это заняло два часа. Дальше на дороге они видели сожженные танки и бронемашины — и немецкие, и британские, и французские. Но солдат нигде не встретили. Видимо, войска с боями ушли вперед.

До деревни Анри и Жан-Мари добрались только к полудню. Она оказалась полностью разрушенной и обезлюдевшей. В доме двоюродной сестры царил разгром, все стены изрешечены пулями, но крыша устояла. Братья обошли все комнаты и, к своему облегчению, не нашли убитых. Должно быть, сестра взяла детей и присоединилась к тысячным толпам беженцев, заполонивших дороги. Побоявшись ехать обратно ночью, они остановились в лесу и попробовали уснуть в кабине. Всю ночь до них доносилась артиллерийская канонада — обстреливали Аррас. Невозможно поверить, чтобы после этого там кто-нибудь выжил или сохранился хоть один дом. Обратно ехали другой, более длинной дорогой, лишь бы снова не видеть убитых солдат. И теперь, пояснил Анри, они с братом чувствуют себя страшно уставшими. Закрывая глаза, каждый раз видят те искалеченные тела.

Жан-Мари снова наполнил стаканы. Робби приходилось переводить, поэтому разговор затянулся — просидели почти час. Все было съедено, и Тернер хотел было рассказать им о кошмаре, преследовавшем его последние часы, но решил не множить ужасов, к тому же не следовало оживлять картину, подернувшуюся дымкой благодаря выпитому вину и дружеской беседе. Поэтому он поведал, как в начале отступления, во время атаки «юнкерсов», отстал от своей части. О ранении упоминать не стал — не хотел, чтобы о нем знали капралы. Он рассказал лишь о том, что они идут в Дюнкерк напрямик, желая избежать бомбежек.

— Значит, это правда — вы уходите, — констатировал Жан-Мари.

— Мы вернемся, — ответил Тернер, сам не веря в свои слова.

Вино начало действовать на капрала Неттла, он завел свою любимую сагу под названием «Прекрасные лягушатницы» — какие, мол, они роскошные, доступные и сладкие. Все это была его фантазия. Братья вопросительно смотрели на Тернера.

— Он говорит, что французские женщины — самые красивые в мире. Братья торжественно кивнули и подняли стаканы.

Застолье близилось к концу. Все замолчали, прислушиваясь к ставшим привычными ночным звукам — отдаленному грохоту артиллерии, одиночным выстрелам, разрывам бомб: вероятно, саперы, отступая, подорвали какой-то мост.

— Спроси про их мать, — предложил капрал Мейс. — Надо выяснить этот вопрос.

— Нас было трое братьев, — поведал Анри. — Старший, Поль, ее первенец, погиб под Верденом в пятнадцатом. Прямое попадание снаряда. Хоронить было нечего, кроме каски. Нам двоим повезло. Прошли через все, не получив ни царапины. С тех пор она ненавидит солдат. А теперь, когда ей уже восемьдесят три, она начала выживать из ума. Французы, англичане, бельгийцы, немцы — ей все одно. Мы опасаемся, что, когда придут немцы, она бросится на них с вилами и они ее пристрелят.

Усталые, братья поднялись из-за стола, солдаты тоже.

— Мы бы пригласили вас в дом, но тогда ее пришлось бы запереть в комнате, — сказал Жан-Мари.

— Спасибо, вы нам и здесь устроили чудесный праздник, — ответил Тернер.

Неттл что-то шепнул на ухо Мейсу, тот кивнул, и Неттл вытащил из дорожного мешка две пачки сигарет. Конечно, это было правильно. Французы отказывались из вежливости, но Неттл, обойдя вокруг стола, все-таки сунул сигареты им в руки и попросил Тернера перевести:

— Вы б видели, что было, когда приказали уничтожать магазины — одних пачек сигарет валялось тыщ двадцать. Можно было брать какие хошь. Целая армия устремила к побережью, вооруженная сигаретами, чтобы глушить голод.

Хозяева вежливо поблагодарили, сделали комплимент по поводу хорошего французского Тернера, потом собрали со стола пустые бутылки, стаканы и сунули их в холщовую сумку. Никто не притворялся, будто они увидятся снова.

— Мы уйдем на рассвете, — сказал Робби. — Поэтому давайте попрощаемся.

Они обменялись рукопожатиями.

Анри Бонне вздохнул:

— Двадцать пять лет назад здесь уже шли бои. Столько людей погибло. И вот немцы снова во Франции. Через два дня они будут здесь, отберут все, что у нас есть. Кто бы мог поверить?

Впервые за все это время Тернер в полной мере испытал позор отступления. Ему было стыдно. С еще меньшей уверенностью, чем прежде, он повторил:

— Мы вернемся, чтобы вышвырнуть их отсюда, обещаю.

Братья кивнули, улыбнувшись на прощание, вышли из тусклого круга света, отбрасываемого свечой, пересекли темную часть амбара и открыли дверь. В холщовой сумке при каждом шаге позвякивали стеклянные стаканы и бутылки.

Он долго лежал на спине, дымя сигаретой и глаза в черноту дырявой крыши. Звук капральского храпа то вздымался, то опадал. Тернер был измучен, но заснуть не мог. Неприятно пульсировала рана, каждый толчок был напряженным и отчетливым. Что бы там ни находилось, оно было острым и ощущалось близко к поверхности, ему все время хотелось потрогать это. Усталость не позволяла усилием воли отогнать мысли, перебирать которые он хотел меньше всего. Робби думал о французском мальчишке, спавшем в своей кроватке, и о безразличии, с которым мужчины посылают снаряды в цель или опорожняют бомбовые отсеки над мирными домами у железной дороги, не зная и не желая знать, кто в них находится. Это был своего рода производственный процесс. Робби видел части королевской армии в действии, сплоченные подразделения, часами работавшие без отдыха, гордые тем, как быстро они могут выстроиться в боевом порядке, гордые своей дисциплиной, натренированностью, выучкой, умением работать в команде. Им не приходилось видеть конечный результат собственных усилий — исчезнувшего мальчишка. Исчезнувшего. Мысленно найдя это слово, Робби провалился в сон, но всего на несколько секунд. Очнувшись, увидел себя словно со стороны: он лежал все так же на спине, на том же тюфяке, все так же уставившись в темное небо через ту же дыру в потолке. И почувствовал себя снова *там*. Ощутил запах цементного пола, мочи в параше, увидел тусклый блеск краски на стенах, услышал храп мужчин, спавших на нарах. Три с половиной года таких ночей, проведенных без сна, в мыслях о другом исчезнувшем парне, о другой исчезнувшей жизни, которая когда-то принадлежала ему, в ожидании рассвета, момента, когда нужно будет выносить парашу, в ожидании еще одного потерянного дня. Теперь трудно даже представить, как он смог выжить и вынести весь этот идиотизм. Идиотизм и клаустрофобию. Его горло словно постоянно сжимала чья-то рука. Даже находиться здесь, в амбаре, в хвосте отступающей армии, в ситуации, когда детскую ногу, повисшую на дереве, обычные люди

позволяли себе не замечать, когда целая страна, целая цивилизация готова была рухнуть, даже это было лучше, чем лежать там, на узких нарах, под тусклой электрической лампочкой, не ожидая ничего. Здесь хотя бы были поросшие лесом долины, реки, солнечный свет, серебривший тополя, — все то, что невозможно было отнять у него, не лишив жизни. И здесь была надежда. *Я буду ждать тебя. Возвращайся.* Здесь был шанс — пусть всего лишь шанс — вернуться. У Робби в кармане лежало ее последнее письмо с новым адресом. Вот почему он обязан был выжить и призвать на помощь всю свою хитрость, чтобы миновать главные дороги, над которыми, будто хищные птицы, кружили пикирующие бомбардировщики.

Чуть позже Робби откинул шинель, встал, натянул ботинки и на ощупь выбрался из темного амбара, чтобы облегчиться. От усталости у него кружилась голова, но он все еще не был готов ко сну. Не обращая внимания на рычавших собак, он пошел вдоль наезженной колеи по заросшему травой подъему — посмотреть на вспышки, озарявшие небо на юге. Это накатывал ураган немецких бронетанковых войск. Он положил руку на грудь, там, в кармане, лежал листок со стихотворением, которое она ему прислала. ...*Мир спустил своих собак / Злобных наций в Божий мрак.*^[23] Основная часть ее письма покоилась во внутреннем кармане шинели, застегнутом на пуговицу. Взобравшись на колесо брошенного грузовика, Робби смог обозреть другие части неба. Вспышки разрывающихся снарядов сверкали повсюду, кроме севера. Разгромленная армия бежала по коридору, который неотвратно сужался и скоро мог оказаться перекрытым. У отставших не будет шанса спастись. Тогда в лучшем случае — снова тюрьма. Лагерь для военнопленных. Но на сей раз он не выживет. Если Франция падет, конца войне не будет видно. Никаких писем от нее, и никакого пути назад. И нельзя будет выторговать досрочное освобождение в обмен на согласие записаться в пехоту. Опять его душат. Единственная перспектива — тысяча, а то и тысячи тюремных ночей, когда он, лежа без сна, будет ворошить прошлое и ждать начала новой жизни, если таковая ему суждена. Быть может, разумнее скрыться прямо сейчас, пока не поздно, и идти всю ночь и весь день до самого Ла-Манша? Улизнуть, предоставить капралов их судьбе? Спускаясь со склона, Робби обдумывал эту возможность. Дорога под ногами едва просматривалась. В темноте он не сможет двигаться, да еще и ногу, не ровен час, сломает. К тому же, вероятно, капралы не такие уж олухи — соорудил же Мейс соломенные матрасы, да и Неттл неплохо придумал с подарком для братьев.

Идя нахрап, Робби добрал до своей «кровати». Сон все не приходил, вернее, приходил лишь урывками, он погружался в забытие и тут же

выныривал; мысли беспрерывно роились в голове, он не мог управлять ими. Они преследовали его, эти старые сюжеты. Вот снова их единственное свидание. Шесть дней вне стен тюрьмы, один день до явки на призывной пункт возле Олдершота. К тому времени, когда они договорились встретиться в чайной Джо Лайона на Стренде в 1939-м, они не виделись три с половиной года. Он пришел раньше и занял столик в углу, откуда был виден вход. Свобода все еще была ему в диковину. Суета, галдеж, разноцветные пиджаки, жакеты, юбки, громкие оживленные разговоры покупателей в Уэст-Энде, дружелюбие обслуживавшей его девушки, простор и отсутствие опасности — откинувшись на спинку стула, он наслаждался нормальной жизнью. В ее обыденности заключалась красота, оценить которую мог он один.

За все время пребывания в тюрьме единственной женщиной, с которой Робби разрешали свидания, была его мать: чтобы он не возбуждался, как говорили надзиратели. Сесилия писала ему каждую неделю. Влюбленный в нее, ради нее прилагавший все усилия, чтобы не сойти с ума, он с нежностью вчитывался в каждое ее слово. Отвечая на письма, притворялся, что остался прежним — эта ложь позволяла сохранить рассудок. Из страха перед психиатром, который одновременно исполнял обязанности цензора, заключенные не могли позволить себе проявлять чувства и вообще какие бы то ни было эмоции. Тюрьма, в которой он сидел, считалась современным, прогрессивным исправительным заведением, несмотря на викторианский холод. С клинической тщательностью Робби поставили диагноз — опасная гиперсексуальность — и сочли, что он нуждается в помощи, а равно и в исправлении. Считалось, что ему противопоказана любая стимуляция. Некоторые письма — как его, так и ее — конфисковывали из-за малейших проявлений нежных чувств. Поэтому они писали о литературе и использовали персонажей как своего рода код. В Кембридже, случайно встретившись на улице, они спокойно проходили мимо. Там они никогда не обсуждали все эти книги, всех этих счастливых или трагических героев-влюбленных! Тристан и Изольда, герцог Орсино и Оливия (а также Мальволио), Троил и Крессида, мистер Найтли и Эмма, Венера и Адонис. Тернер и Толлис. Однажды, в отчаянии, Робби написал о прикованном к скале Прометее, чью печень день и ночь клевал стервятник. Она иногда была терпеливой Гризельдой. Упоминание о «тихом уголке в библиотеке» служило иносказанием для выражения любовного экстаза. Вспоминали они и тот день во всех его несчастных и милых сердцу подробностях. Он детально описывал рутину тюремной жизни, но никогда не употреблял слово «идиотизм». Это разумелось само собой. Никогда не

делился с Сесилией своими опасениями не выдержать. Это тоже было ясно без слов. Она никогда не упоминала, что любит его, хотя написала бы об этом непременно, если бы надеялась, что это пропустит цензура. Но он и так знал.

Сесилия сообщила ему, что порвала с семьей и никогда больше ни словом не обмолвится ни с родителями, ни с братом, ни с сестрой. Робби внимательно следил за каждым ее жизненным шагом вплоть до окончания курсов сестер милосердия. Когда она писала: «Сегодня я пошла в библиотеку, взяла учебник по анатомии, о котором я тебе говорила, и, пристроившись в тихом уголке, притворилась, будто читаю», — он понимал, что она живет теми же воспоминаниями, которые изнуляли его каждую ночь под тонким тюремным одеялом.

Когда она, в форменной наколке сестры милосердия, вошла в чайную, вырвав Робби из приятного забытья, он вскочил так стремительно, что опрокинул чашку с чаем. Он чувствовал себя неловко в великоватом костюме, который сохранила для него мать. Казалось, пиджак не прилегал к плечам. Они сели друг против друга, улыбнулись и отвели взгляды в сторону. Годами Робби и Сесилия предавались любви — по почте — и благодаря своей зашифрованной переписке сблизились, но какой искусственной казалась эта близость теперь! Они прятались за ничего не значившей болтовней, за вежливым катехизисом дежурных вопросов и ответов. Когда преграда, их разделявшая, рухнула, они поняли, насколько далеко ушли от себя самих, тех, какими были в письмах. Слишком долго они представляли этот момент и грезили о нем, чтобы он мог соответствовать их мечтам. Робби не вписывался в этот мир, ему недоставало уверенности, позволившей бы отстраниться от пережитого и мыслить шире. *Я люблю тебя, ты спасла мне жизнь.* Он спросил, как она устроилась. Она ответила.

— Ладишь с хозяйкой?

Он не мог придумать ничего лучше, но боялся, что молчание, если оно воцарится, станет прелюдией к вежливому: «Приятно было повидать тебя снова, но мне пора возвращаться на работу», — и тогда единственным, что у них сохранилось бы, стали бы те несколько минут в библиотеке. Не слишком ли хрупкое наследие? Сесилия легко могла снова войти в роль доброй сестры. Не разочарована ли она? Робби похудел и съежился — в прямом и переносном смысле. Тюрьма научила его презирать себя, в то время как Сесилия выглядела такой же обворожительной, какой он ее помнил, особенно в одеянии сестры милосердия. Она, несчастная, тоже слишком нервничала и была не в состоянии разорвать круг банальностей.

Стараясь казаться веселой, рассказывала ему о нраве своей квартирной хозяйки. И, поговорив еще на кое-какие малозначительные темы, взглянула на маленькие часики, приколотые слева на груди: ее обеденный перерыв подходил к концу. Они провели вместе всего полчаса.

Робби проводил ее к автобусной остановке на улице Уайтхолл. В последние бесценные минуты свидания написал свой адрес — безличный ряд букв и цифр, сообщил, что отпуска ему не дадут до окончания учебы, после чего у него будут две свободные недели. Она смотрела на него, качая головой с каким-то даже раздражением, пока он наконец не сжал ей руку. В этот жест было вложено все, чего он не сумел сказать, и она ответила ему таким же горячим пожатием. Подошел автобус, но Сесилия в него не села. Они смотрели друг другу в глаза. Наконец он поцеловал ее, сначала лишь легко прикоснулся губами, а потом они прижались друг к другу, и, когда кончики их языков соприкоснулись, его бесплотное «я» испытало униженное чувство благодарности: теперь в его активе будет еще одно воспоминание, которое он будет лелеять в предстоящие месяцы. Лелеял он его и теперь, в предрассветный час, в этом французском амбаре. Они сжали друг друга в объятиях и замерли в бесконечном поцелуе, очередь на автобус почтительно обтекала их. Он услышал что-то вроде кудахтанья. Это она плакала, прижавшись к нему, и ее губы, растягиваясь в плаче, впивались в его губы. Подошел еще один автобус. Она отпрянула, сжала на прощание его запястье и вскочила на подножку, ни разу не оглянувшись. Он видел, как она нашла свободное место, села, и, только когда автобус тронулся, сообразил, что нужно было поехать с ней, проводить до самой больницы. Он лишил себя нескольких лишних минут, которые можно было провести с ней. Придется заново учиться думать и по-другому вести себя. Он побежал за автобусом вдоль улицы, надеясь догнать его на следующей остановке. Но к тому времени автобус был уже далеко впереди и вскоре скрылся за поворотом на Парламент-сквер.

Пока продолжалась учеба, они поддерживали переписку, но осторожничали, хотя им не надо было больше из-за цензуры прибегать к иносказаниям. Раздраженные тем, что жизнь продолжалась лишь на бумаге, помня о трудностях, они не спешили идти дальше касаний рук и поцелуя на автобусной остановке. Признавались, что любят, называли друг друга дорогими и любимыми, верили, что у них общее будущее, но воздерживались от более интимных откровений. Их задача состояла в том, чтобы не потерять связи до заветных двух недель. Через подругу по Гертону Сесилия нашла дом в Уилтшире, где они могли провести это время, но, хотя ни о чем другом в свободные часы не могли и думать, они

старались не исчерпать в письмах того, что им предстояло. Поэтому писали о повседневных делах. Она работала теперь в родильном отделении, где каждый день был полон обыкновенных чудес, драматических и веселых моментов. Происходили и трагедии, по сравнению с которыми собственные невзгоды казались Сесилии пустяками: мертворожденные младенцы, умершие родами женщины, молодые мужчины, рыдавшие в коридоре, оцепеневшие юные матери, отвергнутые семьей, младенцы с врожденными дефектами, вызывавшие как чувство неловкости, так и особой, полной жалости любви. Когда Сесилия описывала благополучно разрешившуюся от бремени изнуренную женщину, выигравшую свое сражение, впервые принимавшую на руки свое дитя и с восхищением вглядывавшуюся в его личико, она представляла собственное будущее, их общее будущее, и это придавало ее рассказу невероятную силу простоты, хотя адресат, надо признать, мечтал не столько о рождении ребенка, сколько о зачатии.

Робби, в свою очередь, описывал ей учебный плац, стрельбище, тренировки, «авралы», казармы. Офицерская служба была ему заказана, что скорее радовало, поскольку среди офицеров рано или поздно непременно сыскался бы кто-нибудь, связанный с его прошлым. Среди рядовых же он мог сохранять анонимность, к тому же оказалось, что пребывание в тюрьме даровало и некоторые преимущества. Он обнаружил, что может легко приспособиться к любому армейскому режиму, не боится никакой проверки правильности укладывания вещмешка, умеет аккуратно заправлять постель. В отличие от товарищей он и еду находил не такой уж отвратительной. Как бы Робби ни уставал, дни казались разнообразными. Марш-броски по пересеченной местности доставляли ему удовольствие, которое он старался скрывать от других новобранцев. Он поправился и набрал силу. Образование и возраст немного вредили ему, но это компенсировалось тюремным опытом, так что никаких стычек ни с кем у него не было. Напротив, его считали старым, умудренным зеком, который знал «их» как облупленных, и в то же время он был незаменим при заполнении всевозможных анкет. Так же как Сесилия, Робби ограничивался в посланиях описанием текущих дел, перемежая их рассказами о происшествиях или забавными анекдотами: о новобранце, явившемся на плац в одном ботинке, о случайно забежавшей в казарму обезумевшей овце, которую никак не удавалось выгнать, о том, как сержанта-инструктора чуть не убило шальной пулей на стрельбище.

Но существовало объективное обстоятельство, общая тревога, о которой он не мог не упоминать. После мюнхенских событий предыдущего года ему, как, впрочем, и всем, стало ясно: война будет. Их готовили

целенаправленно и ускоренно, лагерь расширялся, чтобы принять новых новобранцев. Робби угнетало не то, что придется участвовать в сражениях, а то, что под угрозой может оказаться их уилтширская мечта. В ответ Сесилия описывала чрезвычайные приготовления, проводившиеся в их больнице, — в палатах устанавливались дополнительные койки, сестры посещали специальные курсы, тренировались в оказании первой помощи при ранениях. Но для них двоих во всем этом оставалось что-то нереальное, далекое. Многие тогда считали невероятным, что *это* может случиться снова. И они тоже продолжали держаться за свою мечту.

Было и еще нечто, тревожившее их обоих. Сесилия не разговаривала со своими родителями, братом и сестрой с ноября 1935 года, с тех самых пор, как осудили Робби. Она не писала им и не сообщала своего адреса. Известия о семье доходили до нее через мать Робби, которая продала бунгало и переехала в другую деревню. Именно при помощи Грейс она время от времени давала знать своим, что здорова, но не желает поддерживать с ними никакой связи. Леон однажды приехал в больницу, однако она не захотела с ним говорить. Брат прождал за воротами полдня. Выйдя после работы и заметив его, Сесилия вернулась в помещение и сидела там, пока он не ушел. На следующее утро он появился перед ее общежитием. Она проскользнула мимо, даже не взглянув в его сторону. Леон догнал ее и хотел было взять за руку, но Сесилия вырвалась и продолжала идти, всем своим видом давая понять, что не желает с ним разговаривать.

Робби лучше, чем кто бы то ни было, знал, как она любит брата, как близка она была со своей семьей и как много значили для нее родной дом и парк. Он никогда не сможет туда вернуться, но его тревожило то, что Сесилия жертвует ради него частью своей жизни. Через месяц после начала учебных тренировок он поделился с ней своей обеспокоенностью. Этой темы они касались не впервые, но теперь она решила расставить все точки над «i» и написала ему в ответ:

Они ополчились против тебя, все, даже мой отец. Искалечив твою жизнь, они исколечили и мою. Они предпочли поверить свидетельству глупой истеричной девчонки. В сущности, они даже поощряли ее, не давая отступить. Я понимаю, ей было всего тринадцать лет, но я ни за что в жизни не захочу больше с ней разговаривать. Что же касается остальных, то я никогда не прощу им того, что они сделали. Теперь, порвав с ними, я начинаю понимать, какой снобизм скрывался за их упрямством. Моя мать

была первой, кто осудил тебя. Отец предпочел спрятаться за делами. Леон оказался бесхребетным ухмыляющимся идиотом, который пошел на поводу у остальных. Когда Хардмен решил прикрыть Дэнни, ни один из членов моей семьи не пожелал, чтобы полиция задала ему самые простые вопросы. Тебя сдали. Они не хотели неприятностей. Знаю, может показаться, что я страдаю, но, мой дорогой, это не так. Я действительно довольна своей новой жизнью и новыми друзьями. Теперь я могу свободно дышать. А главное — у меня есть ради кого жить: ради тебя. Если смотреть правде в глаза, выбор у меня один: либо они — либо ты. Как вас можно совместить? У меня никогда не было ни тени сомнения. Я люблю тебя. Я безгранично верю тебе. Ты — самый близкий мне человек, смысл моей жизни.

Твоя Си.

Эти последние строчки Робби знал наизусть и беззвучно повторял их сейчас, лежа в темноте. «Смысл моей жизни». Не существования, а жизни. Важное различие. И Сесилия составляла смысл его жизни, именно ради нее он обязан выжить. Лежа на боку, Робби смотрел туда, где, как он считал, должна была находиться дверь, ожидая, когда начнет светлеть небо. Нетерпение не давало ему уснуть. Единственное, чего он хотел, — это идти дальше по направлению к побережью.

Дом в Уилтшире их так и не дождался. За три недели до окончания учебы началась война. Реакция военных была автоматической, как захлопывание раковины моллюска. Все отпуска отменили. Чуть позже пришло дополнительное разъяснение: отпуска откладываются. Новые даты назначались, переносились, отменялись. Потом, за двадцать четыре часа до отправления, им выдали проездные документы. В четырехдневный срок они были обязаны явиться в свои части. Прошел слух, что они будут проездом в Лондоне. Сесилия сделала все возможное, чтобы изменить график дежурств, и ей это отчасти удалось. Но в итоге все сорвалось. К тому времени, когда пришла открытка, в которой Робби сообщал о своем приезде, Сесилия уже была на пути в Ливерпуль, куда ее направили стажироваться в оказании помощи при тяжелых ранениях в больнице Олдер-Хей. Прибыв в Лондон, Робби тут же бросился за ней на север, но поезда ходили немыслимо медленно. Все преимущества имели военные составы, направлявшиеся на юг. В Бирмингеме он опоздал на пересадку, а следующий поезд отменили. Нужно было ждать до следующего утра. Полчаса он нервно мерил шагами платформу, не зная, как быть, и в конце

концов решил возвращаться. Опоздание к месту службы было серьезным нарушением дисциплины.

К тому времени, когда она вернулась из Ливерпуля, он уже высаживался с корабля в Шербуре, и впереди была самая унылая зима его жизни. Разумеется, они писали друг другу, как расстроены тем, что встреча не состоялась, но она считала своим долгом поддерживать его дух и казаться спокойной. «Я никуда не уеду, — заверила она его в первом же письме по возвращении из Ливерпуля. — Я буду ждать тебя. Возвращайся». И повторила это дважды, чтобы он запомнил. Отныне этими словами заканчивалось каждое письмо Сесилии к Робби во Францию. Были они и в последнем, которое пришло накануне того дня, когда объявили приказ отступить на Дюнкерк.

Для Британского экспедиционного корпуса, сражавшегося на севере Франции, то была долгая и бесславная зима. Ничего экстраординарного не происходило. Солдаты рыли окопы, охраняли подъездные пути и совершали учебные ночные вылазки, казавшиеся фарсом, поскольку пехотинцам никогда не объясняли задачу и у них не хватало оружия. В душе каждый был генералом. Даже рядовые понимали, что войну в окопах теперь не выиграешь. Но противотанковые орудия, которых все ждали, так и не прибыли. У них вообще почти не было тяжелого вооружения. Время проходило в тоске, футбольных матчах между подразделениями и дневных переходах по местным дорогам с полной выкладкой, во время которых оставалось лишь стараться маршировать в ногу и мечтать в такт шагам по асфальту. Робби полностью погружался в мысли о Сесилии, мысленно сочинял следующее письмо, оттачивая фразы и стараясь найти что-нибудь комичное в царящем вокруг унынии.

Должно быть, почувствовать потребность в примирении заставила его первая зеленая поросль вдоль французских тропинок и легкая дымка синих колокольчиков, просвечивавшая меж деревьев в лесу. Он решил убедить Сесилию связаться с родителями. Ей не обязательно прощать их или возвращаться к прежним спорам. Нужно просто написать короткое письмо, чтобы сообщить, где она и как живет. Кто знает, какие перемены готовят им всем предстоящие годы? Робби понимал: если она не примирится с родителями прежде, чем один из них умрет, потом ее замучат угрызения совести. И он себе не простит, что не смог уговорить ее.

Обо всем этом он написал ей в апреле. Ответ пришел лишь в середине мая, когда они уже пятились через собственные линии обороны, незадолго до приказа отступить ускоренным маршем на Дюнкерк. Тогда они еще не побывали под вражескими обстрелами. Это письмо, последнее, которое он

получил, перед тем как полевая почта прекратила свое существование, лежало в его нагрудном кармане.

...Я не собиралась говорить тебе об этом сейчас. Все еще не знаю, что думать, и хотела дожждаться нашей встречи. Но после того как получила твое письмо, молчание утратило смысл. Первый сюрприз — то, что Брайони вовсе не в Кембридже. Она не поехала туда прошлой осенью. Это меня удивило, поскольку я слышала от доктора Холла, что ее там ждут. Второй — то, что она учится на медсестру в моей прежней больнице. Ты можешь представить Брайони с подкладным судном? Наверное, и обо мне говорили то же самое. Но она ведь такая фантазерка — мы-то это на своей шкуре испытали. Мне жаль больных, которым она будет делать уколы. Ее письмо полно смущения и смущает. Она хочет встретиться. Начинает в полной мере осознавать, что натворила и чем это обернулось. Разумеется, то, что она отказалась от университета, имеет к этому какое-то отношение. Брайони пишет, что хочет приносить практическую пользу, но у меня такое ощущение, что сестринскую службу она избрала в качестве наказания себе. Просит, чтобы я разрешила ей приехать и поговорить. Может, я ошибаюсь, именно поэтому хотела дожждаться тебя, чтобы мы вместе встретились с ней, но мне кажется, она готова публично покаяться в содеянном. Думаю, Брайони хочет отречься от своих показаний вполне официально. Вероятно, это невозможно, учитывая, что твоя апелляция была отклонена. Нужно поточнее узнать законы. Наверное, мне придется проконсультироваться у адвоката. Не хочу, чтобы мы питали несбыточные надежды. Впрочем, вероятно, ничего подобного Брайони делать и не собирается или пока не готова. Вспомни, какая она мечтательница.

Я не буду ничего предпринимать, пока не получу от тебя ответа. Я бы не написала тебе всего этого, но ты сам снова поднял вопрос о моем примирении с родителями (я восхищена твоим великодушием), поэтому вынуждена посвятить тебя, поскольку ситуация может измениться. Если закон не позволяет Брайони предстать перед судьей и заявить, что она ошиблась, тогда она по крайней мере сможет поехать к родителям и все им рассказать. А потом пусть они сами решают, что им делать. Сумеют заставить себя написать тебе и подобающим образом

извиниться — тогда, быть может, мы попробуем все начать сначала.

Я постоянно думаю о ней. Стать сестрой милосердия, порвать со своим кругом для нее шаг куда более решительный, чем для меня. По крайней мере, я отучилась свое в Кембридже, и у меня была веская причина отречься от семьи. У нее тоже, наверное, есть свои резоны. Не стану отрицать, мне это любопытно. Но я жду, мой дорогой, что ты на это скажешь. Да, кстати, она сообщила, что Сирил Конноли, редактор «Горизонта», [\[24\]](#) вернул ей рукопись. Значит, хоть кто-то способен трезво оценить ее извращенные фантазии.

Помнишь ли ты тех недоношенных близнецов, о которых я тебе писала? Младший умер. Это случилось ночью, во время моего дежурства. Мать была в ужасном состоянии. Мы слышали, что отец младенцев — подручный каменщика, и ожидали увидеть цыплячьего вида мужичка с окурком, прилепленным к нижней губе. Он работал в Восточной Англии на подрядчиков, выполнявших военные заказы, строил береговые укрепления, поэтому-то и приехал с опозданием, и оказался очень красивым парнем лет девятнадцати, более шести футов росту, блондином с чубом, ниспадающим на лоб. У него стопа изуродована, как у Байрона, из-за этого его и в армию не взяли. Дженни сказала, что он похож на греческого бога. Как нежно, ласково, терпеливо он утешал жену. Мы все были растроганы. Самое печальное, что ему только-только удалось ее немного успокоить, как закончилось время посещений, пришла старшая сестра и выпроводила его вместе с остальными. Нам осталось лишь собирать осколки. Бедная девочка. Но — четыре часа, и «правила есть правила».

Бегу в Бэлхемское отделение сортировки почты, чтобы успеть отправить это письмо, и надеюсь, что оно уже к концу недели окажется на том берегу Ла-Манша. Но не хочу заканчивать на грустной ноте. По правде говоря, я очень взволнована новостями о сестре и тем, что это может для нас значить.

Меня позабавила твоя история о сержантских клозетах. Я прочла этот отрывок девочкам, они хохотали как безумные. Рада, что офицер связи, обнаружив, что ты владеешь французским, дал тебе соответствующую работу. Почему им потребовалось так много времени, что бы раскусить тебя? Наверное, ты сам

стараешься держаться в тени? Согласна с тобой насчет французского хлеба — после него уже через десять минут снова ощущаешь голод. Много воздуха — и ничего существенного.

Бэлхем не так плох, как я думала раньше, но подробнее об этом в следующий раз. Посылаю тебе стихотворение Одена на смерть Иейтса, которое я вырезала из прошлогоднего «Лондон меркьюри». В выходные собираюсь навестить Грейс, поищу там в ящиках твоего Хаусмена. Все, пора бежать. Думаю о тебе каждую минуту. Люблю. Я буду ждать тебя. Возвращайся.

Си.

Он проснулся оттого, что чей-то ботинок тыкался ему в затылок.

— Эй, начальник, вставай и пой!

Он сел, посмотрел на часы. Черный дверной проем амбара чуть посинел. Как выяснилось, он спал всего минут сорок пять. Мейс старательно вытряхнул солому из мешков и демонтировал стол. Усевшись на тюках с сеном, они молча выкурили по первой за день сигарете, а ступив за порог, увидели глиняный горшок, прикрытый тяжелой деревянной крышкой. Внутри, завернутые в чистую муслиновую тряпицу, лежали каравай и большой кусок сыра. Тернер тут же разделил провизию складным ножом на три части.

— На тот случай, если мы разойдемся, — тихо пояснил он.

В доме уже горел свет. Когда они уходили, собаки неистовствовали. Перемахнув через забор, они пошли по полю на север. Час спустя остановились в молодом лесочке попить из фляг и покурить. Тернер сверился с картой. Первые бомбардировщики уже гудели в небе, отряд примерно из пятидесяти «хейнкелей» направлялся вслед за ними к побережью. Вставало солнце, облаков почти не было. Идеальный день для люфтваффе. Еще час они шли в полном молчании. Тропы нигде не было, поэтому Робби прокладывал маршрут по компасу через засеянные турнепсом и пшеницей поля, которые топтали коровы и овцы. Вдали от дорог было не так безопасно, как он думал. На одном пастбище Робби насчитал с дюжину воронок; кости, ошметки плоти и пятнистой шерсти были разбросаны взрывной волной в радиусе сотни квадратных ярдов. Но каждый из их троички был погружен в свои мысли, и никто ничего не сказал. Изучение карты обеспокоило Тернера. Он понял, что до Дюнкерка осталось миль двадцать пять. И чем ближе они будут подходить, тем сложнее будет держаться в стороне от дорог. Все стягивалось к одной точке. Предстояло переправляться через реки и каналы. Пытаться срезать

расстояние на пути к переправам значило терять время.

Сразу после десяти они сделали еще один привал, потом перелезли через забор, чтобы выйти на проселочную дорогу, но Робби не смог найти ее на карте. Тем не менее она тянулась в нужном направлении через плоскую, почти лишенную растительности равнину. Прошагав еще с полчаса, они услышали сирену воздушной тревоги милях в двух впереди. Она доносилась оттуда, где виднелась остроконечная крыша церкви. Он снова остановился свериться с картой.

— Так на карте ж не указаны места, где живут крали, — пошутил капрал Неттл.

— Ш-ш! У него опять *сомнения*, — подхватил Мейс.

Тернер прислонился спиной к забору. Каждый раз, когда он наступал на правую ногу, его пронзала жуткая боль. Острый осколок, казалось, вылез из раны в боку и выпирал сквозь рубашку. Робби не смог побороть искушение притронуться к нему, но нащупал лишь мягкую развороченную плоть. После минувшей ночи ему не хотелось больше выслушивать капральские насмешки. Усталость и боль сделали его раздражительным, однако он сдержался, ничего не ответил и постарался сосредоточиться. Деревню на карте он нашел, а дорогу — нет, хотя она была под ногами и вела туда, куда надо. Получалось точно так, как он думал: им надо выйти на шоссе и двигаться по нему до самых береговых укреплений вдоль канала Берг-Фюрн. Другого пути не было. Развеселившиеся капралы не унимались. Робби сложил карту и пошел вперед.

— Ну, какой план, начальник?

Он не ответил.

— Ох-ох. Какие мы обидчивые.

Разрывы зенитных снарядов перекрывал гул артиллерии, доносившийся с запада. На подходе к деревне они услышали натужный рев медленно двигавшихся грузовиков, а потом и увидели их: растянувшись на север длинной цепочкой, машины тащились со скоростью пешехода. Было очень соблазнительно пристроиться на один из них, но Робби по опыту знал, какой легкой мишенью являются грузовики с воздуха. Когда идешь пешком, хоть видишь и слышишь, что происходит вокруг.

Проселочная дорога упиралась в шоссе там, где оно под прямым углом огибало деревню. Минут десять они просидели на краю каменного водостока, чтобы дать отдых ногам. Трех— и десятитонные грузовики, полуплатформы и санитарные машины, скрежеща, заворачивали за угол и со скоростью меньше одной мили в час удалялись от деревни по длинному прямому участку шоссе, вдоль левой обочины которого росли платаны.

Дорога шла строго на север, к черному облаку дыма от горящей нефти. Это облако, зависшее на горизонте, и служило ориентиром. За ним — Дюнкерк. Теперь не было никакой нужды в компасе. Пунктиром вдоль шоссе валялись искалеченные военные машины: ничто не должно было достаться врагу. Из открытых удалявшихся кузовов на капралов и Робби безучастно смотрели раненые, которые находились в сознании. Видны были в колонне и бронированные машины, штабные автомобили, прицепы с ручными пулеметами и мотоциклы. Вперемешку с ними, набитые под завязку, с прогибающимися под штабелями чемоданов и всевозможного домашнего скарба крышами, ехали гражданские машины, автобусы, деревенские грузовички; лошади или люди тащили тележки. Воздух был серым от выхлопов дизельного топлива, и через этот смрад устало брели сотни солдат, порой обгоняя автомобили на дороге. Большинство сутулилось под тяжестью винтовок и уродливых шинелей — в усиливавшейся утренней жаре амуниция была дополнительным бременем.

Рядом с солдатами целыми семьями шли мирные жители с чемоданами и узлами; младших детей несли на руках, старших тащили за руку. Сквозь рев моторов пробивался детский плач. Встречались среди беженцев и старики. Один — в элегантном костюме с галстуком-бабочкой и плюшевых шлепанцах — ковылял, загребая носами и помогая себе двумя палками. Он тяжело дышал и двигался так медленно, что даже еле ползущие машины его обгоняли. Куда бы старик ни направлялся, ему наверняка не суждено было туда пойти. На противоположной стороне шоссе, как раз на углу, еще работал обувной магазин. Тернер видел, как женщина с маленькой девочкой, которую она держала за руку, разговаривала с продавщицей; продавщица протягивала ей туфли от разных пар. На тех, кто шел сзади, наша тройка не обращала никакого внимания. Двигаясь против потока и пытаясь объехать магазин, появилась колонна сверкавших свежей краской бронемашин, еще не побывавших в сражении. Колонна шла на юг, навстречу наступающим немцам. Единственное, что бронемашины могли сделать, — это выиграть пару лишних часов для отступающих солдат у немецкой бронетанковой дивизии.

Тернер встал, сделал глоток из фляги и влился в процессию, пристроившись за двумя шотландскими стрелками-пехотинцами. Капралы привычно последовали за ним. Теперь, когда они присоединились к основной массе отступающих, Робби больше не чувствовал ответственности за своих спутников. От недосыпания он стал раздражительным. Сегодня подначки капралов ранили его и казались предательством братства, возникшего было предыдущей ночью. Если

признаться честно, он испытывал враждебность ко всем окружающим. Все его мысли сосредоточились на одном: выжить.

Желая избавиться от капралов, он ускорил шаг, обогнал шотландцев и поравнялся с группой монашек, опекавших десятка два с половиной детей в синих блузах. Они напомнили ему о школе-интернате под Лиллем, где он преподавал перед поступлением в Кембридж. Теперь та жизнь казалась далекой и чужой. Мертвой цивилизацией. Сначала рухнула его собственная жизнь, теперь рушится жизнь всех остальных людей. Робби сердито зашагал вперед, понимая, что долго такой темп выдерживать не сможет. Однажды, в первый день, ему уже доводилось идти в подобной колонне, и он знал, чего ищет. Справа находился глубокий кювет, который, к сожалению, не был ничем прикрыт: деревья росли вдоль противоположной стороны. Он начал пересекать шоссе прямо перед капотом «рено-купе». Шофер нажал на клаксон. Пронзительный звук привел Тернера в бешенство. Ну нет, хватит с него! Он подскочил к дверце и рванул ее на себя. На шоферском месте сидел коротышка в сером костюме и мягкой шляпе, рядом громоздились кожаные чемоданы, на заднем сиденье теснилась вся его семья. Тернер сгреб коротышку за галстук и хотел уже заехать по его глупой физиономии открытой правой, но в этот момент другая рука, обладавшая, судя по всему, недюжинной силой, схватила его за запястье.

— Эй, начальник, это не враг!

Не разжимая клешни, капрал Мейс оттащил Робби от машины. Стоявший за спиной Мейса Неттл ногой захлопнул дверцу «рено» с такой яростью, что отвалилось зеркало бокового обзора. Дети в синих блузах захлопали и весело заверещали.

Все трое перешли на другую сторону и продолжили путь под сенью деревьев. Солнце стояло довольно высоко, становилось жарко, но тень на дорогу еще не падала. Некоторые машины, валявшиеся в кювете, были подбиты во время воздушного налета. Вокруг брошенных грузовиков, мимо которых они шли, валялся груз, раскуроченный солдатами, искавшими еды, выпивки или горючего. Тернер с капралами шагали прямо через весь этот хлам: выкатившиеся из коробочек катушки для пишущих машинок с размотанными лентами, гроссбухи для двойной бухгалтерии, комплекты деталей для сборных жестяных столов и вращающихся стульев, кухонные принадлежности и части двигателей, седла, хомуты и вожжи, швейные машинки, кубки за победы в футбольных матчах, соломенные кресла, кинопроектор и бензиновый мотор, покореженные валявшимся тут же ломом. Попалась им свалившаяся в кювет и перевернувшаяся

санитарная машина без колеса. Медная табличка на дверце гласила: «Этот автомобиль — дар англичан, живущих в Бразилии».

Тернер обнаружил, что можно спать на ходу. Рев моторов враз прекратился, потом расслабились мышцы шеи, голова опустилась на грудь, просыпался он лишь тогда, когда спотыкался или отклонялся от курса. Неттл с Мейсом поначалу уговаривали его забраться в грузовик, но он рассказал о том, чему стал свидетелем в той первой своей колонне, — двадцать человек, сидевших в кузове расколовшегося на три части грузовика, были убиты одной бомбой. Он же, выброшенный на обочину, трусливо сунул голову в дренажную трубу и схлопотал кусок шрапнели в бок.

— Но вы поезжайте, если хотите, — бросил он. — А я уж пешочком.

Больше этот вопрос не поднимался. Капралы не хотели от него отрываться — он был их счастливым билетом.

Они снова пристроились за шотландскими стрелками, один из которых играл на волынке. Капралы развеселились и стали пародировать мелодию гнусавыми голосами.

— Если вы намерены задираться, то — без меня, — сказал Тернер и собрался перейти на другую сторону.

Кое-кто из шотландцев уже начал оборачиваться и ворчать.

Неттл пропел, подражая выговору кокни:

— «'орошенькыя ночь, 'олодной свет луны...»

Неизвестно, что бы за этим последовало, если бы в тот момент откуда-то спереди не прозвучал пистолетный выстрел. В открытом поле они увидели отряд французских кавалеристов, которые, спешившись, выстроились в шеренгу. Когда их часть процессии поравнялась с ними, волынка смолкла. От головы шеренги двигался офицер. Поочередно подходя к каждой лошади, он выстреливал ей в голову. Кавалеристы стояли по стойке «смирно», каждый возле своего коня, церемониально прижав к груди фуражку. Лошади покорно ждали своего часа.

Подобное демонстративное признание поражения усугубило всеобщую подавленность. У капралов пропала охота цапаться с шотландцами, те тоже забыли о них. Еще через несколько минут они увидели в кювете пять трупов: трех женщин и двух детей. Вокруг валялись чемоданы. На одной женщине были домашние шлепанцы, как на том старике в элегантном костюме. Тернер отвернулся, полный решимости не принимать ничего близко к сердцу. Если он хочет выжить, надо смотреть только в небо. Он так устал, так хотел все забыть! Стало жарко. Некоторые солдаты сбрасывали шинели прямо на землю. Великолепный день. То есть

при иных обстоятельствах его можно было бы назвать великолепным. Дорога медленно пошла в гору, идти стало труднее, боль в боку обострилась. Каждый шаг требовал усилия. На левой пятке вскочил волдырь, приходилось выворачивать ногу, чтобы не наступать на него. Не останавливаясь, Робби достал из вещмешка хлеб и сыр, но во рту так пересохло, что невозможно было жевать. Он закурил, желая заглушить голод, и постарался сконцентрироваться на задаче: надо было пройти оставшийся отрезок пути и добраться до побережья. Что может быть проще, если исключить все отвлекающие факторы? Он — единственный человек на земле, и цель его предельно ясна: дойти до моря. Конечно, он знал, что от реальности не так-то легко отрешиться, но он будет искать удобство — по крайней мере для ног — в отстраненности и ритме шагов. *Быстро марш по шоссе, добежать бы скорее до моря* — почти гексаметр. Пять ямбов и анапест. Вот в этом ритме он и будет шагать дальше.

Еще минут двадцать, и дорога начала выравниваться. Оглянувшись, Робби обозрел колонну, растянувшуюся вниз приблизительно на милю. Впереди конца ей не было видно. Теперь вдоль шоссе искореженная техника валялась почти сплошняком. За кюветом были свалены в кучу штук шесть двадцатипятифунтовых пушек, словно их сгребли туда гигантским бульдозером. Впереди, там, где начинался спуск, в шоссе упиралась проселочная дорога и наблюдалось какое-то бурление: солдаты смеялись, а с обочины раздавались возбужденные восклицания. Подойдя ближе, Тернер увидел майора из «Баффса», ^[25] офицера старой закваски, лет сорока, с красным лицом. Он кричал, показывал рукой на лес, находившийся за полем на расстоянии около мили, и пытался за руку вытащить из колонны то одного, то другого мужчину. Большинство не обращали на него внимания, продолжая двигаться вперед, кое-кто насмехался, но нашлось несколько человек, которые остановились — их впечатлило его звание, — хотя майору явно не доставало личного авторитета. Мужчины с винтовками в нерешительности обступили его.

— Вы. Да, вы это сделаете!

Рука майора легла на плечо Тернера. Тот остановился и отдал честь, еще не понимая, что от него требуется. Капралы топтались у него за спиной.

Маленькие усики щеточкой нависали над тонкими, напряженно сжатыми губами майора, изо рта вылетали рубленые фразы. Там, в лесу. Немец. В самолете. Мы захватили. Должно быть, разведчик. Забаррикадировался. У него два пулемета. Нужно выкурить.

От ужаса у Тернера по спине побежали холодные мурашки и стали

слабеть ноги. Он протянул майору свои ладони:

— Чем, сэр?

— Хитростью и четким взаимодействием.

Что взять с дурака? Тернер устал думать, но точно знал: он ничего делать не будет.

— Послушайте, там, на полпути, у меня пулеметы, оставшиеся от двух взводов...

Слово «оставшиеся» позволяло всем ясно представить судьбу взводов, и Мейс с солдатской хитростью перебил майора:

— Виноват, сэр. Разрешите обратиться.

— Не разрешаю, капрал.

— Спасибо, сэр. У нас приказ генштаба: двигаться с максимальной скоростью, без задержек и остановок, отклонений и отступлений от маршрута непосредственно на Дюнкерк с целью немедленной эвакуации по причине массированного наступления по всем направлениям, сэр.

Повернувшись, майор ткнул указательным пальцем в грудь Мейса:

— А теперь послушай меня. Это наш последний шанс показать, что...

Капрал Неттл мечтательно перебил его:

— Приказ подписан и лично разослан лордом Гортом, сэр.

Такое обращение к офицеру показалось Тернеру неподобающим. И рискованным. Но майор не понял, что над ним насмеются. Ему, видимо, почудилось, будто это сказал Тернер, поскольку ответную речь он адресовал ему:

— Это отступление не что иное, как кровавая бойня. Ради бога, парни. Это ваш последний шанс показать, на что мы способны, когда полны решимости. Более того...

Он долго еще что-то говорил, но Тернер, хотя и не спал на сей раз, вдруг ощутил, как тишина накрыла место действия звуконепроницаемым одеялом. Поверх майорского плеча он видел голову колонны. Там, вдали, футах в тридцати над землей, преломляясь в восходящих потоках горячего воздуха, горизонтально зависло нечто, напоминавшее деревянную планку с горбом посередине. Слова майора не доходили до него, да и собственные мысли враз испарились. Растянувшееся по горизонтали видение висело, не увеличиваясь, и, хотя он начинал понимать, что это, ноги отказывались его слушаться — как во сне. Единственное, что он сделал, это открыл рот, но не мог произнести ни звука, да даже если бы и мог, в тот момент он не знал, что сказать.

Лишь спустя несколько секунд, когда к нему вернулся дар речи, Робби сумел выкрикнуть; «Спасайтесь!» — и побежал к ближайшему укрытию.

Команда была расплывчатой и менее всего напоминала военную, но он слышал, что капралы побежали за ним. На сон было похоже и то, что он не мог так быстро, как хотел, передвигать ноги. Боли под ребрами он не ощущал, но что-то как будто скребло по кости. На ходу он скинул шинель. Ярдах в пятидесяти перед ним валялась перевернутая набок трехтонка. Черное промасленное шасси в форме характерной луковицы было единственным спасением. Робби не понадобилось много времени, чтобы добраться до него. Истребитель уже обстреливал колонну из пулеметов. Широкая струя огня накрывала ее со скоростью двухсот миль в час, трескучий, оглушающий град, извергаясь из расположенных по вращающемуся кругу дул, впивался в металл, разносил вдребезги стекло. Никто из сидевших внутри почти остановившихся машин не успел среагировать. Теперь водителям оставалось лишь наблюдать спектакль через лобовые стекла. Они находились там, где и Робби был еще несколько секунд назад. Люди, сидевшие в закрытых кузовах, ничего не понимали. Какой-то сержант, очутившийся на середине шоссе, вскинул винтовку. Закричала женщина, и огонь настиг их как раз в тот момент, когда Тернер нырнул под перевернутый грузовик. Стальной остов задрожал: по нему, словно барабанная дробь, замолотил свинцовый ливень. Потом в дело вступил пушечный огонь, сразу же швырнувший колонну наземь. Он сопровождался ревом моторов. По лежавшим на асфальте людям пронеслась тень штурмовика. Тернер втянулся поглубже в пустую нишу между шасси и передним колесом. Никогда еще запах отработанного машинного масла не казался ему таким сладостным. В ожидании следующего самолета он свернулся как эмбрион, закрыл голову руками, плотно зажмурился и думал только об одном — выжить.

Однако ничего не происходило. Слышалось лишь жужжание насекомых, спешивших по своим весенним делам, и после приличествующей паузы возобновилось пение птиц. А вслед за птицами, подхватив эстафету, начали стонать и кричать раненые, заплакали испуганные дети. Кто-то, как обычно, проклинал Королевские военно-воздушные силы. Как только Тернер вылез из укрытия и стал отряхиваться, рядом возникли Мейс и Неттл. Втроем они пошли обратно к майору, сидевшему на земле. У того в лице не было ни кровинки, он придерживал свою правую руку.

— Пуля прошла навылет, — объяснил он им. — Можно сказать, повезло.

Они помогли ему встать и предложили довести до санитарной машины, в которой капитан медслужбы и два санитар уже принимали

раненых. Но майор отказался, покачав головой, и продолжал — видимо, от шока — болтать без умолку:

— «Мессершмитт сто девять». Это его пулеметы. Пушка оторвала бы мне проклятую руку начисто. Двадцать миллиметров, знаете ли. Должно быть, он отбил от группы. Заметил нас по пути домой и не смог удержаться. Не стану его даже осуждать. Но это означает, что очень скоро здесь будут и другие.

Полдюжины мужчин, которых майору удалось собрать до начала обстрела, вылезли из кювета, подхватили винтовки и собрались уходить. Взглянув на них, он вспомнил:

— Эй, ребята, вы куда? Стройтесь.

У солдат не было, видимо, сил возражать ему, они построились. Майора начал бить озноб. Он обратился к Тернеру:

— И вы трое. Быстро.

— По правде сказать, старина, мы, пожалуй, не пойдем.

— А, понятно. — Майор покосился на плечо Тернера, словно прозрев там знаки высшего военного отличия, и, добродушно отсалютовав левой рукой, добавил: — В таком случае, сэр, если не возражаете, мы пошли. Пожелайте нам удачи.

— Удачи, майор.

Они смотрели, как он ведет свой отряд, собранный совсем не из добровольцев, к лесу, где их ждали пулеметы.

С полчаса колонна не двигалась. Тернер предложил свои услуги капитану медслужбы и помогал доставлять раненых к санитарной машине на носилках. Потом искал для них места в грузовиках. Капралов нигде не было видно. Он доставал из багажника и подносил инструменты и перевязочные материалы. Наблюдая за тем, как капитан зашивал солдату рану на голове, Тернер вдруг ощутил прилив былых амбиций. Но обилие крови не давало ему вспомнить то, что он читал в учебниках. На их отрезке дороги оказалось пять раненых и, на удивление, ни одного убитого, хотя сержант с винтовкой получил лицевое ранение и надежды на то, что он выживет, не было. У трех машин, отброшенных на обочину, снарядами снесло капоты. Из бензобаков выливалось горючее, покрышки были пробиты пулями.

Всех раненых перевязали, но в голове колонны по-прежнему не наблюдалось никакого движения. Тернер нашел свою шинель и побрел вперед. Его слишком мучила жажда, чтобы чего-то ждать. Пожилая бельгийка, раненная в колено, выпила остатки его воды. Язык у Робби распух, он мог думать лишь о том, где бы раздобыть воды. Об этом и еще о

том, что смотреть надо только в небо. Он миновал такой же участок дороги, как тот, на котором обстрел застиг его самого, — с развороченными машинами и ранеными, уложенными в грузовики, и минут через десять пути в траве рядом с горкой земли заметил голову Мейса. Это было ярдах в двадцати пяти от дороги, в густой тени от нескольких платанов. Хотя Робби и понимал, что в его нынешнем душевном состоянии лучше пройти мимо, все же двинулся туда. Мейс и Неттл стояли по грудь в яме, они заканчивали рыть могилу. За горкой земли лицом вниз лежал мальчик лет пятнадцати. Кровавое пятно на его спине расплзлось от шеи до поясницы.

Опершись на лопату, Мейс поднял голову и весьма удачно передразнил Тернера:

— «По правде сказать, старина, мы, пожалуй, не пойдем». Отлично сказано, начальник. Я это возьму на вооружение.

— Вижу, поскитались вы славно. В каком-то схроне вы его нашли? — спросил Тернер, указывая на мальчика.

— Какие мы умные, — усмехнулся Неттл, обращаясь к Мейсу и гордясь тем, что понял такое мудреное слово, как «схрон». — Не иначе, наш начальник в свое время заглотал какой-нибудь дерьмовый словарь.

— Просто когда-то я любил разгадывать кроссворды, — оправдываясь, пояснил Тернер.

— А «прямо при всех получать под зад»?

— Ага, это из песенки, которую распевали в сержантской столовке на прошлое Рождество, — подхватил Мейс, и, продолжая стоять в могиле, они с Неттлом фальшиво пропели:

Вот гадство, вот подлость,
Ну, кто ж будет рад,
Коль прямо при всех
Получаешь под зад.

Колонна за их спинами пришла в движение.

— Давайте поскорее закопаем его, — сказал капрал Мейс.

Втроем они подняли мальчика и положили лицом вверх на дно ямы. Из нагрудного кармана у того торчал частокол пишущих ручек. Капралы не тратили времени на церемонии и начали забрасывать яму землей. Вскоре мальчика не стало видно.

— Симпатичный парень, — заметил Неттл.

Связав два колышка от палатки бечевкой, капралы сделали крест.

Неттл утрамбовал могилу лопатой, после чего все двинулись к шоссе.

— Он шел с дедом и бабушкой, — сказал Мейс. — Они не хотели, чтобы он остался валяться в придорожной канаве. Я думал, они пойдут проводить его, но они совсем плохи. Надо бы показать им, где мы его похоронили.

Однако дедушки и бабушки мальчика нигде не было. Тернер на ходу достал карту и сказал:

— Поглядывайте на небо.

Майор был прав — после налета случайного «мессершмитта» следовало ожидать других. Наверняка они уже где-то на подлете. Канал Берг-Фюрн был обозначен на карте толстой ярко-синей линией. Страстное желание Тернера поскорее добраться до него усиливалось еще и жаждой. Он опустит лицо в эту синеву и будет долго пить. Это напомнило ему детские болезни с их железной, пугающей логикой, лихорадочные поиски прохладного уголка на подушке, мамину руку на лбу. Милая Грейс. Он притронулся ко лбу — кожа была сухой, как бумага. Воспаление вокруг раны, подумал он, усиливается, кожа натягивается, мышцы становятся твердыми, но не от крови, а от чего-то другого, что изливается на рубашку. Ему хотелось вдали от посторонних глаз осмотреть рану, но сейчас это едва ли было возможно. Колонна снова пришла в неумолимое движение. Дорога вела прямо к побережью — теперь срезать нечего. По мере их приближения черное облако, поднимавшееся, конечно же, над горящим нефтеперерабатывающим заводом у Дюнкерка, постепенно заволакивало все небо. Не оставалось ничего иного, кроме как идти прямо на него. Поэтому он снова опустил голову и принялся с трудом переставлять ноги.

Платаны больше не защищали дорогу. Уязвимая для самолетов и лишенная тени, она извивалась, словно бесконечно повторяющаяся буква «S», по холмистым просторам. Ненужные разговоры и пререкания отняли у Робби драгоценные силы. От усталости он чувствовал странную эйфорию, на что-то надеялся. Робби принаравливал мысли к ритму собственных шагов — *быстро марш по шоссе, добежать бы скорее до моря*. Все, что этому мешало, хотя бы отчасти следовало пересиливать тем, что помогало двигаться вперед. На одной чаше весов — его рана, жажда, волдырь, усталость, жара, боль в ногах, «юнгерсы», «мессершмитты», расстояние, Ла-Манш; на другой — *«Я буду ждать тебя»* и воспоминание о миге, когда Сесилия это сказала, он свято хранил это мгновение в сердце. А еще на другой чаше — страх попасть в плен. Его самые дорогие воспоминания — о тех нескольких минутах, что они провели в библиотеке, о поцелуе на автобусной остановке — стали затертыми, начали блекнуть и обесцвечиваться. Робби помнил целые страницы ее писем, в мыслях

постоянно возвращался к их стычке из-за вазы у фонтана, заново ощущал тепло ее руки за обеденным столом, перед тем как сбежали близнецы. Эти воспоминания поддерживали Робби, но все было не так-то просто, ведь они заставляли его переноситься в то место, где он пребывал, когда чаще всего вызывал их в памяти. Они находились по ту сторону временного разлома, не менее значительного, чем граница между периодами до и после Рождества Христова или началом Нового времени — до тюрьмы, до войны, до того, как зрелище трупов стало привычной деталью повседневной жизни.

Но подобные еретические мысли испарились, когда Робби прочел последнее письмо Сесилии. Тернер приложил руку к нагрудному карману. Это стало своего рода ритуалом. Письмо на месте. Еще одна крупинка на вторую чашу весов. Вера Робби в то, что имя его может быть обелено, была такой же искренней и простодушной, как любовь. Сама возможность такого исхода напоминала о том, сколь многое в нем будто скукожилось и отмерло. К примеру, интерес и вкус к жизни, бывшие амбиции и удовольствия. Перспектива оправдания сулила возрождение, триумфальное возвращение всего этого. Он снова сможет стать тем мужчиной, который когда-то, на закате дня, там, в Суррее, пересек парк в своем лучшем костюме, распираемый радостью от того, как много обещала жизнь, вошел в дом и со всей чистотой страсти предался любви с Сесилией — нет, он даже рискнет употребить грубое слово из капральского жаргона: они с Сесилией трахались, пока остальные потягивали на террасе коктейли. Все может начаться сначала, все, о чем он мечтал, направляясь в тот вечер к их дому. Они с Сесилией больше не будут добровольными изгоями. Их любовь вновь расцветет. Он не пойдет с протянутой рукой просить извинений у друзей, которые отвернулись от него. Но и в позу оскорбленной гордости становиться не будет, в свою очередь сторонясь их. Он точно знал, как поведет себя: просто начнет все сначала. Если криминальное прошлое будет вычеркнуто из его биографии, он сможет после войны поступить в медицинский колледж или еще раньше получить звание офицера медицинской службы. А когда Сесилия помирится с семьей, он, не выражая недовольства, будет держаться на расстоянии. Дружеские отношения с Эмилией и Джеком, конечно, больше невозможны. Она настаивала на его судебном преследовании с непонятным жаром, а он отстранился и в тот момент, когда был особенно нужен, удалился в свое министерство.

Теперь все это не имело особого значения. Отсюда все казалось простым. Они шли мимо бесконечных трупов, лежавших на дороге и в сточных канавах, — множество солдат и мирных людей. Зловоние стояло

невыносимое, оно проникало даже в складки одежды. Колонна вступила в разбомбленную деревню или, возможно, предместье небольшого городка. Поскольку от домов остались только груды камней, определить точнее было невозможно. Да и какая разница? Кто сможет когда-нибудь описать царящий нынче хаос и восстановить для истории названия этих деревень? Кто взглянет на все это трезво и почувствует вину? Никто никогда не узнает, каково было очутиться здесь. А без деталей не получится общей картины. Брошенными запасами, снаряжением и машинами, превратившимися в груды металлолома, с обеих сторон было завалено все шоссе. Этими обломками и еще телами. Идти приходилось по самой середине дороги. Впрочем, и это было не важно, поскольку колонна больше практически не двигалась. Солдаты выбирались из войсковых грузовиков и продолжали путь пешком, спотыкаясь о кирпичи и куски черепицы. Раненых оставляли ждать в грузовиках. В узких местах, где было тесно, росло раздражение. Опустив голову, Тернер старался следовать за человеком, шедшим впереди, и отгородиться от происходящего броней своих мыслей.

Имя его будет очищено от грязи. Отсюда, где никто не желал чуть выше поднять ногу, чтобы перешагнуть через руку мертвой женщины, казалось, что ему не нужны будут никакие извинения и воздаяния. Снятие обвинения станет восстановлением истины, констатацией правды. Робби мечтал об этом страстно, как о свидании с любимой. Он мечтал об этом так, как другие солдаты мечтали о домашнем очаге, о выплате по аттестатам или о гражданской специальности. Если торжество справедливости представлялось столь естественным здесь, почему должно быть иначе по возвращении в Англию? Пусть ему вернут его честное имя, а уж дело остальных — изменить свое отношение к нему. Он принес свою жертву, теперь их черед потрудиться. Его дело нехитрое: найти Сесилию, любить ее, жениться на ней и жить без стыда.

Но была во всем этом деталь, которую Робби не мог осмыслить до конца, расплывчатое пятно, которое в неразберихе, царившей здесь, в двенадцати милях от Дюнкерка, ему никак не удавалось привести к четкому контуру. Брайони. Тут он наталкивался на внешнюю границу того, что Сесилия называла его великодушием. И на свою рациональность. Если Сесилия воссоединится с семьей, если сестры сблизятся снова, избежать встреч с Брайони не удастся. Но сможет ли он принять ее? Сможет ли находиться с ней в одной комнате? Она предлагает возможность оправдания. Но не ради него. Он-то не сделал ничего дурного. Неужели он должен быть ей за это благодарен? Брайони делает это ради себя, потому

что собственное преступление не даст ей жить. Да, конечно, в тридцать пятом году она была ребенком. Он повторял это себе снова и снова, они с Сесилией без конца приводили друг другу этот аргумент. Да, она была всего лишь ребенком. Но не каждый ребенок своей ложью отправляет человека в тюрьму. Не каждый ребенок так целеустремлен, злобен и так настойчив: никаких колебаний, ни малейших сомнений. Да, она была ребенком, но это не мешало ему в тюремной камере мечтать о том, как он унизит, растопчет ее. Он придумывал десятки способов отомстить ей. Как-то в самую лютую неделю этой французской зимы, бесясь от злости и выпитого коньяка, он даже представил, как нанизывает ее на свой штык. Брайони и Дэнни Хардмен. Конечно, было неразумно и несправедливо ненавидеть Брайони, но от ненависти ему становилось немного легче.

Как же понять, что произошло тогда в голове этого ребенка? Лишь одна догадка представлялась правдоподобной. Июнь 1932 года, чудесное утро, тем более чудесное, что наступило внезапно, после затяжного периода дождей и пронизывающих ветров. Утро из тех, что словно выставляют себя напоказ, хвастаясь роскошью тепла, света, свежей листвы, — истинное начало, грандиозное преддверие лета. Таким утром они с Брайони идут мимо фонтана «Тритон», мимо низкой изгороди рододендронов, через узкие ворота и дальше — по извилистой узкой тропе, петляющей среди деревьев. Она возбуждена и говорит без умолку. Было ей тогда лет десять, она только начинала писать свои рассказы. Как и все прочие, он тоже получил сшитую шнурком, иллюстрированную автором историю любви, полную описаний превратностей судьбы и их преодоления и заканчивающуюся воссоединением влюбленных и свадьбой. Они направлялись к реке, он обещал научить ее плавать. Когда они вышли из дома, она, вероятно, рассказывала ему об очередном своем произведении или о только что прочитанной книге. Возможно, держалась за его руку. Она была тихой, впечатлительной маленькой девочкой, по-своему весьма чопорной, и такое словоизвержение было ей несвойственно. Он с удовольствием слушал ее. Для него то было тоже волнующее время. Ему исполнилось девятнадцать, почти все экзамены остались позади, и сдал он их блестяще. Скоро со школой будет покончено. Он успешно прошел собеседование в Кембридже и через две недели уезжал во Францию преподавать английский в католической школе. Во всем этом дне — в гигантских, едва трепещущих березах и дубах, в солнечных лучах, проникавших сквозь кроны деревьев, словно россыпь искрящихся драгоценных камней, которые, падая на землю, образуют световые лужицы

в прошлогодней листве, — было восхитительное великолепие. И это великолепие, полагал он в юношеском самомнении, знаменовало момент его славы.

Она продолжала щебетать, а он благостно слушал вполуха. Тропинка, вынырнув из леса, привела к широкому, поросшему травой берегу. Они прошли с полмили вверх по течению и снова углубились в лес. Там, в излучине реки, под нависающими деревьями, был пруд, выкопанный во времена деда Брайони. Благодаря каменной плотине течение здесь замедлялось, и это было излюбленное место для ныряния и прыжков в воду, а также наиболее подходящее для начинающих пловцов. Можно было соскальзывать в воду с плотины, а можно — прыгать с берега на девятифутовую глубину. Он нырнул, вынырнул и, держась на плаву, стал ждать ее. Их уроки плавания начались в предыдущем году, в конце лета, когда уровень воды в реке ниже и течение спокойнее. Теперь же даже здесь ощущалась мощная тяга воды. Брайони помешкала лишь мгновение, а потом с визгом прыгнула с высокого берега прямо ему в руки. Она ложилась на воду, и течение несло ее к плотине, потом он буксировал ее в исходную точку, и все начиналось сначала. Когда же она попыталась плыть брассом, сказала зимняя растренированность, ему пришлось поддерживать ее, что было нелегко, поскольку он сам не касался дна ногами. Если он убирал руки, она делала три-четыре гребка и начинала погружаться. Ее забавляло то, что, когда гребешь против течения, кажется, будто стоишь на месте. Но на месте она не стояла, течение относило ее к плотине, где она цеплялась за ржавое железное кольцо и ждала его. На фоне замшелых, свинцового цвета камней и позеленевшего цемента ее оживленное лицо сияло белизной. Она называла это «плыть в гору» и желала проделывать снова и снова, но вода была холодной, и спустя пятнадцать минут он велел ей выходить. Не обращая внимания на протесты Брайони, он подтолкнул ее к берегу и помог выбраться.

Достав из корзинки одежду, он зашел за деревья, чтобы переодеться. Вернувшись, застал ее на том самом месте, где оставил. Она стояла на берегу и, укутавшись в полотенце, смотрела на воду.

— Если я упаду в воду, ты меня спасешь? — спросила она.

— Разумеется.

Отвечая, он склонился над корзинкой и не увидел — услышал, как она прыгнула в реку. Полотенце осталось на берегу. Кроме расходившихся по воде кругов, никаких признаков ее присутствия не было. Потом ее голова с бульканьем показалась над поверхностью и тут же снова ушла под воду. В отчаянии он сначала подумал, что нужно бежать к плотине, чтобы

выловить Брайони там, но вода была мутно-зеленой и заиленной. Найти в ней девочку можно было лишь на ощупь. Делать нечего, он бросился в воду как был — в туфлях, куртке и всем прочем. Почти сразу же он нащупал ее руку, поднырнул ей под мышку и вытащил на поверхность. К его удивлению, она вовсе не задыхалась. Наоборот — весело рассмеялась и прильнула к его шее. Он вытолкнул ее на берег, потом выкарабкался сам — не без труда, поскольку был в мокрой одежде и туфлях.

— Спасибо тебе, спасибо, спасибо, — беспрестанно повторяла она.

— Это была чудовищная глупость.

— Я хотела, чтобы ты меня спас.

— Ты разве не понимаешь, что легко могла утонуть?

— Ты спас меня!

Перенесенный стресс, огорчение, облегчение вызвали в нем гнев. Он почти закричал:

— Глупая девочка! Из-за тебя мы оба могли погибнуть.

Она притихла. Сев на траву, он выливал воду из туфель.

— Ты же ушла под воду, я не мог тебя видеть. А мокрая одежда тянула меня на дно. Мы могли утонуть, оба. Это у тебя такое чувство юмора? Да?

Ответить было нечего. Она оделась, и они пошли обратно: Брайони впереди, он, хлюпая мокрыми туфлями, — сзади. Ему хотелось поскорее оказаться на парковой лужайке, под солнцем. А потом предстояло в таком виде тащиться к себе в бунгало, чтобы переодеться. Его гнев еще не иссяк. Не такая уж она маленькая, думал он, чтобы не понимать, что следует извиниться. Девочка тем не менее шла молча, опустив голову, вероятно, дулась — лица ее он не видел. Когда они вышли из лесу и прошли через узкую калитку, она остановилась и повернулась к нему. Тон ее был решительным, даже вызывающим. Она не столько дулась, сколько давала отпор:

— Знаешь, почему мне хотелось, чтобы ты меня спас?

— Нет.

— Разве это не очевидно?

— Нет, не очевидно.

— Потому что я тебя люблю.

Она выпалила это отважно, высоко вздернув подбородок и быстро моргая — словно внезапно открывшаяся судьбоносная истина ослепила ее.

Он подавил желание рассмеяться. Значит, он — объект девичьего смятения?

— Что, господи прости, ты имеешь в виду?

— То же, что и все, кто произносит эти слова. Я тебя люблю.

На этот раз фраза прозвучала на высокой жалобной ноте. Он понимал: следует воздержаться от иронии. Но это было трудно. И он сказал:

— Ты меня любишь и поэтому бросилась в реку?

— Я хотела знать, спасешь ли ты меня.

— Теперь знаешь. Я рисковал ради тебя жизнью. Но это не значит, что я тебя люблю.

Она отступила на шаг.

— Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты спас мне жизнь. Я буду вечно помнить об этом.

Наверняка — строчки из какой-нибудь книги, из последней прочитанной, или из рассказа, который она написала.

— Ладно, — сказал он. — Только никогда больше не проделывай этого — ни со мной, ни с кем бы то ни было другим. Обещаешь?

Она кивнула и на прощание повторила:

— Я люблю тебя. Теперь ты знаешь.

Потом зашагала к дому. Дрожа, несмотря на палящее солнце, он смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, затем отправился домой. До отъезда во Францию он с ней больше не виделся, а в сентябре, по его возвращении, ее уже не было — уехала в интернат. Вскоре и он отправился в Кембридж, Рождество провел с друзьями. Они с Брайони не встречались до следующего апреля, а к тому времени все забылось.

Или так только казалось?

У него было много времени, чтобы поразмыслить над этим, слишком много. Он не мог припомнить ни одного другого необычного разговора между ними, ни одного случая странного поведения с ее стороны, многозначительного взгляда или надутых губ — ничего, способного свидетельствовать о том, что детская влюбленность продолжалась и после того июньского дня. Почти на каждые каникулы он возвращался в Суррей, и у нее всегда была возможность найти его в бунгало или послать записку. Сам он в тот период был слишком захвачен новизной студенческой жизни и намеренно хотел создать некоторую дистанцию между собой и семейством Толлис. Но существовало, наверное, нечто, чего он не заметил. В течение трех лет Брайони, вероятно, пестовала свое чувство, прятала его, питала фантазиями или отражала в рассказах. Она была из тех девочек, которые живут в своем закрытом мирке, и могла все это время готовить в душе драму, разыгравшуюся на берегу реки.

Догадка Робби, или даже убежденность, основывалась на единственном эпизоде — их встрече в сумерках на мосту. Годами он

размышлял над этим. Брайони наверняка знала, что он приглашен на ужин. И вот стояла там, босая, в испачканном белом платье. Это само по себе уже было необычно. Должно быть, она его поджидала, вероятно, приготовила небольшую речь, даже прорепетировала ее вслух, сидя на каменном парапете. Но когда он появился, у нее язык не повернулся. Это тоже могло служить своего рода доказательством. Даже тогда ему показалось странным, что она не сказала ему ни слова. Он передал ей письмо, и она тотчас убежала. А уже через несколько минут прочла послание. Конечно, была шокирована, и не только словом, в нем содержащимся. По представлениям Брайони, Робби предал ее, предпочтя сестру. Потом, в библиотеке, она утвердилась в худших своих подозрениях, и все ее мечты окончательно рухнули. Сначала она испытала разочарование и отчаяние, затем — ожесточение. И наконец, во время поисков близнецов, в темноте, наткнулась на возможность взять реванш. Она назвала его имя — и никто, кроме ее сестры и его матери, не усомнился. Импульсивный порыв, вспышка злобы, детская склонность к разрушению — это он мог понять. Но удивительна глубина девичьей ненависти, упрямство, с которым она повторяла свою историю без конца, пока его не препроводили в тюрьму Уондсуорт. Теперь появилась вероятность восстановить свое честное имя, это радовало. Тернер понимал, какое мужество потребуется Брайони, чтобы предстать перед судом и отказаться от показаний, которые она в свое время дала под присягой. Но он не думал, что сможет побороть неприязнь к ней. Да, она была тогда ребенком, но он не простил ее. И никогда не простит. Нанесенный ею ущерб невосполним.

Впереди снова началась какая-то неразбериха, слышались крики. Невероятно, но навстречу пешим и сидевшим в автомобилях солдатам и беженцам по шоссе ехала колонна броневиков. Толпа неохотно расступалась. Люди втискивались в промежутки между брошенными машинами или прижимались к разрушенным стенам, ныряли в зияющие дверные проемы. Это была французская колонна — небольшой отряд: три бронемшины, две грузовые полуплатформы и два транспортера для перевозки личного состава. Никакой демонстрации поддержки войск не наблюдалось. Среди британских военнослужащих господствовало мнение, что французы их предали, не обнаружив готовности сражаться за собственную страну. Раздраженные тем, что их согнали с дороги, томми ругались и подначивали союзников криками: «Мажино!» В свою очередь, французские *poilus*,^[26] должно быть уже знавшие о тотальной эвакуации и посланные прикрывать тылы отступающих, тоже не могли сдержать раздражения: «Трусы! Валяйте на свои корабли! В штаны наложили!» Но

вот колонна прошла, и толпа, снова сомкнувшись на шоссе в клубах дизельных выхлопов, двинулась дальше.

Они приближались к последнему дому на дальнем краю деревни. Впереди, в поле, Тернер заметил мужчину, который в сопровождении своего колли шел за тащившей плуг лошадью. Как и те женщины возле обувного магазина, этот крестьянин, похоже, не обращал никакого внимания на колонну отступавших. И он, и те женщины будто жили в некоем параллельном мире — война представлялась им лишь увлечением энтузиастов и заслуживала не более серьезного отношения, чем охота со сворой гончих. У следующей изгороди они поравнялись с машиной, на заднем сиденье которой женщина что-то самозабвенно вязала, а в ближайшем саду на лужайке мужчина учил сына играть в футбол. Да, здесь будут все так же пахать землю, выращивать урожай, кто-то соберет и смелет зерно, кто-то будет есть испеченный из этой муки хлеб, и далеко не все погибнут...

Ход мыслей Робби прервал Неттл, дергавший его за рукав и указывавший вперед. За ревом моторов удалявшейся французской колонны звука не было слышно, зато стало отчетливо видно: их было не меньше пятнадцати, они летели на высоте десяти тысяч футов — маленькие точки на голубом фоне, зависшие над дорогой. Тернер с капралами остановились, не сводя глаз с неба; все, кто стоял рядом, тоже подняли голову.

Где-то рядом кто-то устало пробормотал:

— Черт бы побрал эти окаянные королевские ВВС! Да где же они наконец?

Другой человек со знанием дела успокоил:

— Эти погонятся за лягушатниками.

И тут же, словно опровергая последнее утверждение, одна из точек вильнула в сторону и начала почти вертикально пикировать прямо на них. В течение нескольких секунд звук не доносился до земли. Тишина со страшной силой давила на уши, этого давления не облегчили даже отчаянные крики, послышавшиеся тут и там:

— В укрытие! Рассредоточиться! Рассредоточиться! Бегом!

Было трудно сдвинуться с места. Робби мог размеренным шагом тащиться по шоссе, мог стоять, но чтобы среагировать на уже забытую команду, свернуть с дороги и побежать, требовалось неимоверное усилие, усилие памяти. Они стояли у последнего деревенского дома, позади которого находился амбар, а по обе стороны от строений расстилалось поле — его пахал крестьянин. Теперь он вместе с собакой спрятался под деревом, словно для того, чтобы переждать дождь. Запряженная в плуг

лошадь щипала траву на еще не вспаханной полосе. Солдаты и мирные жители разбегались в разные стороны от шоссе. Мимо Тернера промчалась женщина с ребенком на руках, но вдруг передумала, вернулась и встала, нерешительно озираясь, на краю дороги. Куда кинуться? Во двор или в поле? Ее растерянность помогла Тернеру освободиться от своей. Вой начался в тот момент, когда он подтолкнул женщину в плечо. Ночной кошмар превращался в реальность. Люди, простые смертные, уже не раз представляли себе этот сатанинский вой. И вот он уже рвет барабанные перепонки! То был голос самой паники, нараставший и начинавший душить до смерти, которая, как понимал каждый, ждет его впереди. Сей глас каждому следовало принимать персонально на свой счет. Тернер потащил женщину через ворота: хотел, чтобы она выбежала вместе с ним в поле. Он сдвинул ее с места, принял решение за нее и теперь чувствовал свою ответственность. Но мальчику, которого женщина держала на руках, было не меньше шести лет, он был тяжелым, и она почти не продвигалась вперед.

Тернер выхватил ребенка у нее из рук и закричал:

— Быстрее!

На борту «юнкерса» есть одна, но тысячетонная бомба. Все, кто был на земле, старались держаться подальше от зданий, машин и других людей. Пилот вряд ли станет тратить свой драгоценный груз на одинокую фигуру в поле. Вот когда он вернется, чтобы атаковать с бреющего полета, тогда другое дело. Тернеру доводилось видеть, как летчики просто ради спортивного интереса гонялись за одиноким спринтером. Свободной рукой Робби тащил женщину, ухватив за запястье. Мальчик обмочил штанишки и визжал ему в ухо. Мать, казалось, больше не могла бежать. Она протягивала к Тернеру руку и что-то кричала — наверное, хотела забрать сына. Ребенок рвался ей навстречу поверх его плеча. И тут раздался свист летящей бомбы. Их учили, что, услышав его, нужно остановиться и ждать взрыва, потому что время все равно истекло. Падая в траву, Тернер увлек за собой женщину и пригнул ей голову. Своим телом он наполовину прикрывал ребенка, когда земля содрогнулась от немыслимого рева. Взрывная волна подняла их над землей. Они закрыли лица руками от жалящих брызг грязи и слышали, как «юнкерс» взмывает вверх, выходя из пике, и вновь накатывает леденящий душу рев атаки. Бомба упала на шоссе менее чем в восьми ярдах от них. Схватив мальчика под мышку, Тернер попытался поднять женщину.

— Надо бежать. Мы слишком близко от дороги.

Женщина что-то ответила, но он не разобрал что. Они снова,

спотыкаясь, помчались по полю. Боль в боку жгла огнем. Мальчик извивался у него под мышкой, женщина по-прежнему тянула назад, пытаясь отнять сына. Теперь сотни людей бежали по полю к его дальней оконечности, чтобы спрятаться в лесу. Каждый раз, когда раздавался жуткий свист бомбы, все бросались на землю от страха. Но у женщины, видимо, отключился инстинкт самосохранения, и Тернеру каждый раз приходилось дергать ее за руку, чтобы заставить лечь. На сей раз они уткнулись лицами в свежевывороченную пахоту. Когда человеческая речь стала различима, оказалось, что женщина выкрикивает что-то напоминающее молитву, и Робби понял, что она говорит не по-французски. Следующий взрыв прозвучал по другую сторону шоссе, ярдах в ста пятидесяти от них. Но теперь первый «юнкерс», возвращаясь, заходил над деревней и готовился атаковать. От потрясения мальчик онемел. Его мать продолжала сидеть на земле. Тернер показал на появившийся над крышами самолет. Они находились прямо у него по курсу, для пререканий времени не оставалось. Женщина не двигалась. Тернер рухнул в борозду. Рваная пулеметная очередь вспорола пахоту, рев мотора пронесся мимо. Закричал раненый солдат. Тернер вскочил. Но женщина не протянула ему руки. Сидя на земле и крепко прижимая к себе мальчика, она обращалась к нему по-фламандски, утешала, наверняка говорила, что все будет хорошо, что мама не даст его в обиду. Тернер не понимал ни слова, но это не имело значения. Женщина все равно не обращала на него никакого внимания. Мальчик невидящими глазами уставился на него поверх материнского плеча.

Тернер отступил на шаг. Потом побежал. Перескакивая с борозды на борозду, он слышал, как его преследует пулеметный огонь. Жирная земля липла к ботинкам. Только в кошмарном сне ноги бывают такими тяжелыми. Очередная бомба упала далеко, в центре деревни, где стояли грузовики, но грохот взрыва перекрыл другой, разразившийся над полем прежде, чем Тернер успел упасть. Взрывная волна отнесла его на несколько футов вперед и воткнула головой в землю. Когда он вынырнул наружу, его глаза, уши и рот были забиты грязью. Он попытался сплюнуть, но слюны не было. Выковыривать землю пальцем оказалось еще хуже: то он давился только ею, а теперь еще и своим грязным пальцем. Он высморкался — смешанная с землей влага залепила рот. Но лес был близок, там наверняка есть ручьи, водопады и озера. Ему представился рай. Когда снова послышался рев приближавшегося штурмовика, Робби попытался определить его местонахождение. Или это сирена отбоя? Его мозг, казалось, тоже был забит грязью. Он не мог ни сплюнуть, ни сглотнуть, ни свободно дышать, ни думать. Лишь когда увидел крестьянина с собакой,

все так же терпеливо переживавшего налет под деревом, память стала возвращаться к нему, и он оглянулся. На месте, где оставались женщина с мальчиком, зияла воронка. Он подумал, что знал это заранее, поэтому и бросил их. Его задача — выжить, хотя он забыл зачем. Он пошел дальше, к лесу.

Углубившись на несколько шагов под деревья, Тернер сел, прислонившись спиной к стволу молодой березки. Единственной его мыслью была мысль о воде. В лесу пряталось более двух сотен людей, включая раненых, которым удалось сюда доползти. Неподалеку кричал и корчился от боли мужчина, гражданский. Тернер встал и побрел дальше. Молодая зелень тоже шелестела о воде. Над шоссе и деревней продолжали летать штурмовики. Расчистив землю от прошлогодней листвы, Тернер стал копать ее каской. Земля была сырой, но вода не скапливалась в ямке, даже когда ее глубина достигла дюймов восемнадцати. Отчаявшись, он сел и, продолжая думать о воде, попытался рукавом очистить язык. При каждом налете «юнкерсов» приходилось напрягаться и съеживаться, хотя казалось, что сил на это уже нет. Напоследок самолеты сделали заход над лесом, полив его огнем, но без всякого успеха — лишь листья да тонкие веточки посыпались с крон. Потом самолеты улетели, и над полем, лесом и деревней повисла необъятная тишина, не прерываемая даже птичьим пением. Спустя некоторое время с дороги послышались свистки, означавшие отбой воздушной тревоги. Но никто не двинулся с места. Тернер помнил, что так было и в прошлый раз: все оцепенели от шока, от многократно повторявшегося кошмара. С каждым новым заходом самолета люди, жавшиеся к стенам или зарывавшиеся в землю, оказывались перед лицом смерти. Если казнь не свершалась, суд продолжался, и страх не отступал. Для оставшихся в живых окончание воздушной атаки означало паралич от потрясений, от множества последовательно перенесенных потрясений. Сержанты и младшие офицеры могли сколько угодно бродить по округе, кричать, пинать солдат мысами ботинок, чтобы заставить их встать, — те оставались безучастны.

Тернер, как и все остальные, сидел на земле в оцепенении так же, как тогда, на краю той деревни, названия которой не мог вспомнить. Эти французские деревни с бельгийскими названиями... Тогда он потерял свое подразделение и — что еще хуже для пехотинца — винтовку. Сколько же дней прошло с тех пор? Ни за что не вспомнить. Он осмотрел свой револьвер — дуло тоже забито землей. Сняв патронную сумку, Робби закинул ее вместе с револьвером в кусты. Спустя какое-то время за спиной раздался голос, и рука легла ему на плечо.

— Так вот куда ты умотал. На, подарочек от гринховардов.^[27] — Капрал Мейс протягивал ему флягу какого-то убитого солдата.

Поскольку фляга была полна, Тернер позволил себе первым глотком прополоскать рот, но это оказалось бесполезно, и он вместе с водой заглотал всю грязь.

— Мейс, ты — ангел.

Капрал протянул руку и помог ему встать.

— Надо давать отсюда деру. Говорят, проклятые бельгийцы скопытились. Нас могут отрезать с востока, а впереди еще много миль.

Когда они пересекали поле в обратном направлении, к ним присоединился Неттл. У него была бутылка вина и плитка «Амо», они стали передавать их по кругу.

— Отличный букет, — сказал Тернер, прилично хвадив.

— Пахнет мертвыми лягушатниками.

Крестьянин и его колли снова шагали за плугом. Троица подошла к воронке, из которой шел сильный запах пороха. Воронка представляла собой идеально симметричный перевернутый конус с гладкими стенками, будто землю просеяли и разровняли. Никаких человеческих останков, ни клочка одежды или обуви. Мать с сыном испарились. Тернер задержался было, чтобы осмыслить этот факт, но капралы спешили, тащили его, и вскоре троица присоединилась к бредущей по шоссе колонне. Теперь идти стало легче. Машины не двинутся, пока саперы со своими бульдозерами не расчищают дорогу. Над горизонтом, словно разгневанный великан, возвышался столб горящей нефти. В вышине монотонно жужжали два ровных потока бомбардировщиков: один направлялся к цели, другой возвращался, закончив бомбежку. Тернеру пришло в голову, что процессия на шоссе напоминает стадо, идущее на бойню. Но эта дорога была единственной, и выбора не оставалось. Шоссе вело их к правому краю дымного столба, на восток от Дюнкерка, где проходила бельгийская граница.

— Поющие Дюны, — вспомнил он название на карте.

— Мне нравится это название, — заметил Неттл.

Они обогнали мужчин, которые из-за стертых ступней едва волочили ноги. Некоторые шли босиком. Несколько солдат тащили товарища с кровавой раной в груди на допотопной ручной тележке. Какой-то сержант вел под уздцы ломовую лошадь, через спину которой был перекинут офицер, то ли без сознания, то ли мертвый. Руки и ноги у него были связаны под животом лошади — чтоб не свалился. Встречались солдаты на велосипедах, но большинство шли пешком, по двое или по трое. Мимо

проехал на «Нортоне» связной Шотландского полка легкой пехоты. Его окровавленные ноги беспомощно волочились по земле, педали крутил сидевший на багажнике пассажир с забинтованными по самые плечи руками. Вдоль дороги валялись шинели, сброшенные солдатами, которым стало слишком жарко. Тернер уговорил капралов не следовать их примеру.

Приблизительно после часа пути они услышали позади размеренный топот, напоминавший тиканье гигантских часов, и, оглянувшись, увидели, что их догоняет нечто похожее на огромную, плашмя летящую над дорогой дверь. Это был взвод уэльских гвардейцев, двигавшихся строевым шагом, с винтовками «на плечо», предводительствуемый младшим лейтенантом. При виде этих печатавших шаг, устремивших взоры вперед, высоко вскидывавших в марше правую руку храбрых воинов колонна расступилась. Время было циничное, но никто не посмел свистнуть им вслед. Демонстрация дисциплины и сплоченности заставила многих устыдиться. Все с облегчением вздохнули, когда четкий ритм гвардейских шагов стих впереди и можно было, снова погрузившись в собственные мысли, брести дальше.

Пейзаж был знакомым, разбросанный вокруг арсенал — тем же, только теперь всего было больше: машин, воронок, обломков. И тел. Тернер упорно шел вперед, пока не ощутил запах моря, принесенный через плоскую болотистую равнину свежим ветерком. Стремившийся в одну сторону поток людей, объединенных общей целью, экстравагантное облако, знаменовавшее пункт их назначения, непрерывное самодовольное курсирование самолетов в небе вызвали в усталом перевозбужденном мозгу давно забытое приятное детское воспоминание: то ли карнавал, то ли спортивный праздник, на который все они собрались. Сидя у отца на плечах, Тернер никак не мог определить, где же центр всеобщего ликования. Как ему не доставало сейчас этих плеч! О пропавшем отце он почти ничего не помнил. Завязанный узлом шейный платок, специфический запах, неясные очертания человека, вечно погруженного в раздумья, его раздражительность. Интересно, уклонился ли он от участия в Великой войне или погиб где-нибудь здесь под чужим именем? А может, выжил? Грейс была уверена, что он слишком труслив и хитер, чтобы вступить в армию, но у нее были свои причины для ожесточения. Почти у каждого, кто шел сейчас в этой колонне, имелся отец, помнивший Северную Францию или погребенный в ее земле. Тернер хотел, чтобы и у него был такой отец, живой или мертвый. Давным-давно, до войны, до Уондсуорта, наслаждаясь свободой, он мечтал самостоятельно построить

свою жизнь, лишь слегка опираясь на помощь Джека Толлиса. Теперь понял, сколь иллюзорной была та надежда. Столь же беспочвенной, сколь и тщетной. Ему был нужен отец, и по той же причине он сам хотел стать отцом. Ничего удивительного: видя столько смертей вокруг, хотелось иметь ребенка. Естественное человеческое желание, и оно все сильнее его одолевало.

Когда вокруг кричат раненые, мечтаешь о маленьком домике в каком-нибудь тихом местечке, об обычной жизни, продолжении рода, семейных узах. Рядом молча шли такие же мужчины, погруженные в размышления о том, как они изменят свою жизнь, и строившие планы на будущее. «Если я когда-нибудь выберусь из этой мясорубки...» Кто сосчитает всех живших в их мечтах детей, мысленно зачатых по пути в Дюнкерк и впоследствии обретших плоть? Он найдет Сесилию. Ее адрес на конверте, лежащем в его кармане вместе со стихотворением: «...бьет души твоей родник на сердечном пустыре и людей ведет к хвалу». И отца он тоже найдет. Армия Спасения имеет большой опыт в розыске пропавших без вести. Прекрасное название — Армия Спасения. Он восстановит историю жизни отца, быть может, покойного — все равно он станет сыном своего отца.

Они шли весь день, пока впереди, в миле от них, там, где посреди поля вздымался желто-серый столб дыма, не показался мост через канал Берг-Фюрн. Теперь у дороги не было ни одного целого крестьянского дома, ни одного амбара. Одновременно с запахом дыма их ноздрей достигли миазмы гниющей плоти — сваленные в кучу, в поле лежали сотни трупов пристреленных лошадей. Неподалеку от них возвышался холм тлеющего обмундирования и одеял. Здоровенный младший капрал кувалдой разбивал пишущие машинки и мимеографы. У обочины были припаркованы две санитарные машины с открытыми задними дверцами. Оттуда доносились стоны и крики раненых. Кто-то беспрерывно выкрикивал не столько с болью, сколько с яростью:

— Воды! Я хочу пить!

Как и все, Тернер прошел мимо.

Люди снова начали собираться в толпы. Перед въездом на мост образовался затор, от Дюнкерка по дороге, тянувшейся вдоль канала, следовала колонна трехтонок, которую военная полиция пыталась направить в поле, за кучу лошадиных трупов. Но из-за толпы, перекрывшей дорогу, колонна вынуждена была остановиться. Водители жали на клаксоны и безбожно ругались. Толпа напирала. Уставшие от ожидания люди выкарабкивались из кузовов. Послышался крик: «Берегись!» — и

прежде чем кто-либо успел оглянуться, взорвали кучу обмундирования. На землю посыпались хлопья зеленоватой сажи. Невдалеке подразделение артиллеристов крушило прицелы и затворы орудий. Тернер заметил, что один из них плакал, обрушивая молот на свою гаубицу. На краю поля капеллан со служкой поливали бензином ящики с молитвенниками и Библиями. Через поле бежали люди, направлявшиеся к брошенному имуществу в надежде раздобыть курево и выпивку. Когда раздался их призывный клич, к ним, отделившись от колонны, бросились еще несколько десятков человек. У ворот разрушенной усадьбы группа людей, сидя на земле, примеряла новую обувь. Мимо Тернера промчался солдат с набитым ртом, в руках он держал коробку бело-розового зефира. В ста ярдах от дороги жгли кучу резиновых сапог, противогазов и плащ-палаток, ядовитый дым обволакивал толпу, пробивавшуюся к мосту. Наконец трехтонки сдвинулись с места, свернув в поле к югу от канала. Военные полицейские выстраивали их и подравнивали ряды, как распорядители на сельском празднике. Грузовики присоединялись к уже стоявшим здесь полуплатформам, мотоциклам, транспортерам для ручных пулеметов и походным кухням. Способ выведения машин из строя был, как всегда, прост: пуля в радиатор и мотор, оставленный на холостых оборотах, пока не заглохнет.

Мост охраняли колдстримские гвардейцы.^[28] Два пулеметных блокпоста, аккуратно обложенные мешками с песком, прикрывали колонну. Гвардейцы были чисто выбриты, они с легким презрением смотрели на грязную, оборванную, неорганизованную толпу, текущую мимо. На дальнем берегу канала виднелась дорожка, обрамленная равномерным пунктиром белых камней, она вела вглубь, к хибарке, служившей канцелярией. Вдоль берега, к востоку и к западу от моста, укрепились, хорошо окопавшись на своих позициях, гвардейцы. Дома, фасадом обращенные к воде, были заняты военными, черепица с крыш сбита, окна завалены мешками с песком и превращены в пулеметные дзоты. Командовал на мосту суровый сержант. Он решительно завернул назад лейтенанта на мотоцикле: никакой боевой техники и никакого имущества пропускать не разрешалось. Развернули даже человека с попугаем в клетке. Чтобы выставить линию обороны по периметру, сержант выдергивал из толпы боеспособных мужчин и делал это куда авторитетнее, чем несчастный майор. У канцелярии уже неловко топтался постепенно увеличивавшийся отряд невезучих «новобранцев». Тернер с капралами сразу поняли, что происходит.

— Эй, приятель, гляди, сцапают тебя за здорово живешь, — сказал

Тернеру Мейс. — Поганая пехота. Если хочешь вернуться домой к своей цыпочке, становись между нами и хромай.

Испытывая унижение, но полный решимости выжить, Робби положил руки на плечи капралам, и все трое заковыляли вперед.

— Не забывай, начальник: у тебя ранена левая нога, — сказал Неттл. — Хочешь, я для достоверности проткну ее штыком?

— Большое спасибо. Обойдусь.

Когда они пересекали мост, Тернер уронил голову на грудь и поэтому не видел сурового сержантского взгляда, хотя почувствовал жар, который тот, казалось, излучал.

— Эй ты! — пролаял сержант.

Какой-то бедолага, шедший сзади, был выужен из толпы, чтобы пополнить ряды тех, кому предстояло сдерживать яростную атаку — она, несомненно, должна была начаться здесь в ближайшие два-три дня, пока остатки британских сухопутных войск будут грузиться на корабли. Единственное, что видел Тернер, опустив голову, была баржа, скользившая под мостом в направлении бельгийского Фюрна. Матрос сидел у румпеля, попыхивая трубкой и бесстрастно уставившись вперед. У него за спиной, милях в десяти, горел Дюнкерк. Впереди, на носу, двое мальчишек склонились над перевернутым велосипедом — наверное, заклеивали проколотую шину. Через палубу была протянута веревка, на которой сушилось белье, в том числе и женское. Над баржей плыл аромат готовившейся еды, пахло луком и чесноком. Миновав мост, они пошли по обложенной белеными камнями дорожке, напомнившей Тернеру тренировочный лагерь с его генеральными уборками. В канцелярии звонил телефон.

— Ну ты, пока мы на виду, давай-ка хромай как следует, черт тебя дерит, — пробормотал Мейс.

Расстилавшаяся на много миль вокруг равнина была абсолютно плоской, и никто не мог знать, куда именно смотрит в данный момент сержант, а оглядываться они не рисковали. Через полчаса они присели отдохнуть на ржавую сеялку и стали наблюдать за двигавшейся мимо поверженной армией. Задача состояла в том, чтобы пристроиться к совершенно незнакомой части, где внезапное «выздоровление» Тернера не привлекло бы внимания офицера. Большинство проходивших мимо мужчин были раздосадованы тем, что берег не открылся сразу за каналом, и подозревали, что маршрут был указан ошибочно. Тернер же, видевший карту, знал: до моря оставалось еще семь миль, и именно эти семь миль оказались самыми тяжелыми, самыми изнурительными за все время

отступления. Лишенная каких бы то ни было отличительных черт равнина создавала иллюзию полного отсутствия продвижения вперед. Хотя прямые солнечные лучи задерживались расплывавшимся дымным облаком от горевшей нефти, жара стояла чудовищная — хуже, чем во все предыдущие дни. Они видели, как впереди самолеты, кружившие высоко в небе, сбрасывали бомбы на порт. Хуже того: «юнкерсы» обстреливали именно тот участок побережья, куда они направлялись. Раненые, которые больше не в силах были идти, словно нищие, сидели по обочинам, моля о помощи или хотя бы о глотке воды. Некоторые просто лежали в кювете — либо без сознания, либо оцепенев от отчаяния и безнадежности. Разумеется, следовало организовать постоянные рейсы санитарных машин от оборонительной линии до побережья. Если нашли возможность белить камни и выкладывать ими дорожку, то уж на перевозку раненых тем более нужно было выделить время. Не было воды. Вино они допили, и жажда мучила теперь еще сильнее. Чего от них ждут — чтобы они тащили дюжину раненых на своих горбах, когда они и сами едва волочат ноги?

В приступе раздражения капрал Неттл вдруг уселся прямо на дорогу, сорвал ботинки и забросил их в поле, заявив, что ненавидит их, ненавидит эти гребанные ботинки больше, чем всех гребанных немцев, вместе взятых, и что у него такие волдыри на ногах, что лучше уж вообще все послать к такой-то матери.

— До Англии еще далеко, в одних носках не дойдешь, — заметил Тернер и отправился на поиски ботинок капрала, ощущая странное головокружение.

Один ботинок он нашел сразу, поиски другого потребовали времени. Наконец он заметил его в траве возле какой-то покрытой черным мхом массы, которая, как ему показалось, когда он подходил, то ли шевелилась, то ли пульсировала. Внезапно целый рой трупных мух с сердитым жужжанием поднялся в воздух, обнажив гниющее тело. Тернер задержал дыхание, схватил ботинок и помчался назад, мухи снова опустились на свою добычу, и опять воцарилась тишина.

После долгих пререканий Неттл согласился принять ботинки обратно, но не обул, а связал их шнурки и перекинул через шею. Да и это он сделал, по его словам, только в порядке одолжения Тернеру.

В моменты просветления Робби одолевала тревога. Дело было не в ране, хотя она причиняла невыносимую боль при каждом шаге, и не в бомбардировщиках, круживших над побережьем в нескольких милях к северу. Дело было в его голове. Время от времени в памяти случались

провалы. Последовательность каждодневных действий прерывалась, привычные ориентиры, позволявшие понимать, где он и что с ним, расплывались, и он погружался в сон наяву, в голове бродили какие-то мысли, но он понятия не имел, кому они принадлежат. Его напрочь покидало чувство ответственности, память о том, что происходило в предыдущие часы, исчезало представление о том, где он, куда идет, что собирается делать. И никакого желания вспомнить. Он оказывался в плену противоречивших логике фактов.

Именно в таком состоянии Тернер пребывал, когда через три часа пути они добрались до восточной оконечности курортного городка и вступили на усеянную битым стеклом и черепицей улицу, на которой, наблюдая за проходившими мимо военными, играли дети. Неттл снова обул ботинки, но не зашнуровал, шнурки волочились по земле. Внезапно, словно чертик из табакерки, из подвала муниципального здания, реквизированного под штаб, вынырнул лейтенант Дорсетского полка. Быстрым шагом он подошел к ним с важным видом и зажатым под мышкой «дипломатом». Они отдали честь. Пораженный внешним видом капрала, офицер велел ему немедленно завязать шнурки и пригрозил в противном случае наложить на него взыскание.

Пока Неттл, опустившись на колени, выполнял приказ, лейтенант — костлявый человек с округлыми плечами, отнюдь не военной выправкой и пучком рыжих усиков — заявил:

— Такие, как вы, парни — позор армии, черт вас дерит!

В своем сумеречно-расслабленном состоянии Тернер испытал острое желание выстрелить офицеру в грудь. Так будет лучше для всех. Здесь и обсуждать нечего. Он потянулся за пистолетом, но пистолет пропал — Робби не мог вспомнить где, — а лейтенант тем временем уже удалялся.

Еще несколько минут у них под ногами трещало битое стекло, потом треск прекратился: дорога кончилась, начался песчаный пляж. Через просвет между дюнами они слышали море, еще до того как увидели его, и ощутили соленый привкус во рту. Памятный аромат каникул. Сойдя с дороги, троица взобралась на песчаный гребень, откуда открывался заветный вид на море, и долго стояла молча. Свежий влажный ветерок, дувший с моря, привел Тернера в чувство. Может, все дело было в температуре, которая у него постоянно скакала?

До того как он увидел берег, ему казалось, что впереди — полный хаос. Теперь понял, что проклятый армейский дух, заставлявший белить камни перед лицом неотвратимой гибели, торжествует. Он попытался найти логику в беспорядочном движении на берегу и почти преуспел: вот

центр сосредоточения войск, унтер-офицеры за самодельными письменными столами, резиновые штампы и реестры, вот цепочки людей, ждущих парохода, за веревочным ограждением, грозные сержанты, тоскливые очереди к передвижным войсковым лавкам — словом, конец какой бы то ни было личной инициативе. По-своему представляя все это себе, Тернер шел к этому побережью много дней. Но настоящее побережье, то, на которое они с капралами сейчас взирали, было не более чем вариацией того же, что они видели раньше: дорога оказалась длинной, и вот ее конечный пункт. Увидев собственными глазами, они поняли, что бывает, когда беспорядочное отступление заходит в тупик. Всего минута потребовалась Тернеру, чтобы освоиться в новой ситуации. Тысячи мужчин — десять, двадцать тысяч, быть может, больше — заполнили весь берег. Те, что стояли далеко, представлялись крупинками черного песка. Кораблей видно не было, если не считать перевернутого вельбота, вдали омываемого прибоем. Было время отлива, почти миля отделяла их от кромки воды. У длинного мола не швартовался ни один корабль. Тернер поморгал и присмотрелся получше. На молу люди, выстроившиеся в длинную очередь по шесть-восемь человек в ряд, стояли на мелководье: одни по колено в воде, другие по пояс, третьи по грудь — и ждали. Но на водной глади не было ничего, если не считать расплывчатых пятен на горизонте — это горели корабли, подбитые с воздуха. Нигде ничего, что могло бы достичь берега в течение ближайших часов. Однако солдаты в касках, с ружьями, поднятыми над водой, стояли, не сводя глаз с горизонта. Издали они казались безмятежными, как мирное стадо.

И эти люди были лишь малой частью общей массы. Большинство оставалось на берегу, пребывая в бессмысленном движении. Вокруг раненных во время последнего воздушного налета кучковались небольшие группы солдат. Так же бессмысленно, как люди, вдоль берега галопом носилась дюжина артиллерийских лошадей. Несколько человек пытались поставить на воду перевернутый вельбот. Кое-кто, раздевшись, плавал в проливе. На дальнем конце пляжа играли в футбол, оттуда же слабо донесся и вскоре стих хор, исполнявший гимн. Помимо игры в футбол это было единственным проявлением организованной активности. Вдоль берега впритык друг к другу выстроились грузовики, образовавшие временную дамбу. К ним продолжали подгонять все новые машины. Неподалеку от того места, где стоял Тернер с капралами, кое-кто касками выкапывал в песке одиночные окопы. Те, кто позаботился об убежище раньше, выглядывали из своих нор в дюнах с самодовольным видом собственников. Как сурки, подумал Тернер. Но большая часть солдат

слонялась по песку без всякой цели, словно жители итальянского городка в час вечерней прогулки. Они не видели настоящей необходимости уже сейчас вставать в огромную очередь, однако и удаляться от берега не хотели, чтобы не упустить корабль, если тот вдруг появится.

Слева находилась та самая курортная деревушка Поющие Дюны — веселый ряд кафе и маленьких магазинчиков, которые при иных обстоятельствах выдавали бы сейчас напрокат пляжные шезлонги и катамараны. В овальном парке на аккуратно подстриженной лужайке располагались эстрада и карусель, раскрашенная красной, белой и синей красками. В этой декорации, присев на корточки, устроилась еще одна беззаботная ватага. Солдаты взламывали двери кафе и, сидя за вынесенными на тротуары столиками, орали и хохотали, накачиваясь спиртным. По заблеванным тротуарам носились люди на велосипедах. Несколько пьяных спали, раскинувшись на траве возле эстрады. Одиноким пляжником в подштанниках лежал на полотенце лицом вниз, его плечи и ноги покрылись неравномерными пятнами загара и напоминали ванильно-клубничное мороженое — розовое чередовалось с белым.

Из трех кругов ада — море, пляж, набережная — выбрать было нетрудно: решение диктовалось жаждой, и капралы пустились в путь. Пройдя по дорожке от пляжа, они пересекли песчаную площадку, заваленную битыми бутылками, и вышли на набережную. Обходя особо шумные столики, Тернер заметил моряков, шедших навстречу, и остановился, залюбовавшись. Их было пятеро: два офицера и три матроса; обмундирование сияло свежестью, белизной, синевой и золотом. Никаких уступок маскировке. Суровые, с гордой осанкой, с револьверами в пристегнутых к поясам кобурах, они со спокойной уверенностью шли сквозь толпу чумазных солдат, одетых в унылую полевую форму, внимательно глядя по сторонам, словно эскорт какого-нибудь вельможи. Один из офицеров делал пометки в блокноте. Они направлялись к берегу. С детским чувством потерянности Тернер наблюдал за ними, пока они не скрылись из виду.

Вслед за Мейсом и Неттлом он зашел в шумный, смрадный, прокуренный зал первого попавшегося на пути бара. На стойке стояло два открытых чемодана, набитых сигаретами, но выпить было нечего; полки, тянувшиеся вдоль заваленной мешками с песком зеркальной стены позади стойки, зияли пустотой. Когда Неттл нырнул под стойку, чтобы пошарить там, посыпались насмешки — каждый вновь пришедший делал то же самое. Все спиртное давно оприходовали серьезные выпивохи, обосновавшиеся у входа. Протиснувшись сквозь толпу, Тернер вышел в

заднюю комнату, где располагалась кухня. Помещение оказалось развороченным, из кранов вода не текла. Во дворе он нашел лишь писсуар и штабеля порожней тары. Собака пыталась залезть языком в пустую банку из-под сардин, возя ее по застывшей цементной кляксе. Тернер вернулся в зал, тонувший в гомоне голосов. Электричества не было, сквозь окна и дверь проникал лишь дневной свет, грязно-коричневый, будто залитый вожделенным пивом. Хотя пить было нечего, люди продолжали толпиться в баре. Мужчины входили, расстраивались, но оставались, привлеченные бесплатным куревом и явными свидетельствами того, что здесь еще недавно бражничали. Гнезда дозаторов, из которых были вынуты бутылки, пустовали. От липкого цементного пола шел сладковатый запах алкоголя. Шум, теснота и влажный прокуренный воздух хоть как-то унимали тоску по субботнему ночному пабу. Здесь для этих людей была сейчас и Майл-Энд-роуд, и Сокихолл-стрит, ^[29] и все, что между ними.

Тернер стоял посреди зала, не зная, что делать. Чтобы выбраться из этой тесноты, требовалось приложить немало усилий. Из разговоров, которые велись вокруг, он понял, что накануне корабли приходили и, возможно, завтра тоже придут. Поднявшись на цыпочки, он с кухонного порога неопределенным пожатием плеч дал знать капралам, находившимся в другом конце зала, что здесь им не повезло. Неттл кивнул на дверь, и они стали пробиваться к выходу. Глотнуть хмельного, конечно, хотелось, но сейчас их больше интересовала вода. Подступы к выходу оказались заблокированы спинами собравшихся в кружок мужчин.

Тот, кто находился в его центре, наверное, был мал ростом — менее пяти футов шести дюймов, — потому что Тернер видел лишь часть его затылка.

— Нет, ты ответь на этот чертов вопрос, олух напوماженный.

— На какой вопрос?

— Где тебя черти носили?

— А где были вы, когда убивали моего товарища?

Смачный плевок прилип к затылку «олуха» и стал сползать за ухо по набрильянтиненным волосам. Тернер обошел вокруг, чтобы лучше рассмотреть, что происходит. Сначала он увидел серовато-голубой китель, потом — лицо, искаженное гримасой немого страха. Это был маленький жилистый мужчина в очках с толстыми грязными линзами. Он походил на писаря или телефониста, возможно, из какого-нибудь давно разбежавшегося штаба. Но на нем была летная форма, и это делало его козлом отпущения в глазах томми. Коротышка медленно поворачивал голову, обводя взглядом допрашивающих. Ему нечего было им ответить, да

он и не пытался отрицать свою ответственность за отсутствие «спитфайров» и «харрикейнов» в небе над побережьем. В правой руке он отчаянно сжимал берет, от усилия рука дрожала. Стоявший в дверях артиллерист врезал ему по спине с такой силой, что человечек, перелетев через кольцо мучителей, уткнулся в грудь солдата, тут же отправившего его тычком в голову обратно. Послышался гул одобрения. Наконец-то нашелся тот, кто ответит за их страдания.

— Так где же наши доблестные ВВС?

Чья-то вскинутая лапа, целиком обхватив некрупное лицо, отпасовала несчастного в противоположную часть круга, очки у него слетели, цокнув об пол, и этот звук, словно щелчок бича, послужил сигналом к началу нового акта представления. Сощутив подслеповатые глаза так, что они превратились в трепещущие щелочки, мужчина опустил на колени и стал шарить по полу. Этого делать не следовало. Пинок кованого армейского башмака в бок приподнял его над землей дюйма на два. Вокруг послышались довольные смешки. Предвкушение веселой забавы волной пробежало по бару и привлекло новых наблюдателей. Когда вокруг кольца экзекуторов вспухла большая толпа, остатки здравого смысла исчезли, людьми овладело безрассудство. Кому-то в голову пришла «оригинальная» мысль — погасить окурок о голову бедолаги; послышались одобрительные восклицания, а вырвавшийся у страдальца комичный визг вызвал гомерический хохот. Они его ненавидели, и он заслуживал всего того, что с ним теперь делали. Именно он был ответствен за свободу, которой люфтваффе пользовались в небе над их головами, за каждый налет «юнкерсов», за каждого убитого их товарища. Его хрупкая фигура воплощала сейчас все причины поражения английской армии. Тернер понимал, что не в состоянии ничем помочь этому человеку, не подвергнув себя угрозе линчевания. Но ничего не предпринимать тоже было невозможно. Лучше присоединиться к остальным, чем не делать ничего. Испытывая гнусное возбуждение, он стал протискиваться вперед. Теперь сакраментальный вопрос повторил голос с певучим валлийским акцентом:

— Ну и где же твои окаянные ВВС?

Странно, но мужчина не звал на помощь, не молил о пощаде, не убеждал в своей невиновности. Он словно вступил в тайный сговор с судьбой. Неужели он настолько глуп, что не понимает, как близко подкралась к нему смерть? Подобрав очки, коротышка аккуратно сложил их и засунул в карман. Без них его лицо казалось голым. Он щурился, как крот на свету, обводя глазами своих мучителей и приоткрыв рот, скорее от удивления, чем от желания что-то сказать. Почти слепой без очков, он

вовремя не заметил удара, направленного ему прямо в лицо. Теперь в ход пошли кулаки. Когда голова у него откинулась назад, кто-то ботинком снизу саданул ему в челюсть. Из толпы болельщиков слышались отдельные подбадривающие возгласы, раздалось несколько неуверенных хлопков, как на деревенской лужайке во время игры в пятнашки. Прийти на помощь человеку, оказавшемуся в подобном положении, было безумием, не прийти — подлостью. В то же время Тернер понимал, что коллективная эйфория, которая охватывает толпу в такие моменты, весьма заразна. Он опасался, что ему самому может захотеться выкинуть что-нибудь эдакое с помощью складного ножа, чтобы заслужить восхищение зевак. Желая отогнать подобную мысль, он заставил себя сосредоточиться на двух-трех солдатах, которые были явно крупнее и сильнее, чем он. Но истинная угроза исходила от толпы в целом, охваченной «праведным гневом». Уж она-то удовольствия не упустит.

К этому моменту создалась ситуация, когда всякий, кто — хоть простодушно, хоть с вывертом — нанесет следующий удар, заслужит всеобщее одобрение. Воздух был наэлектризован пылким желанием каждого выделиться какой-нибудь особой выходкой. Никто не хотел сфальшивить. В течение нескольких секунд опасение взять неверную ноту всех сдерживало, но по своему тюремному опыту Тернер знал, что стоит кому-то начать, как на несчастного обрушится лавина. И тогда пути назад уже не будет: горемыку ждала неотвратимая гибель. Под его правым глазом расплылось красное пятно. Ссутулившись, он прикрывал подбородок, по-прежнему крепко сжимая берет руками. Его поза была оборонительной, но одновременно выдавала слабость и обреченность, провоцируя дальнейшее насилие. Если бы он хоть что-нибудь сказал — все равно что, — окружающие его солдаты, вероятно, вспомнили бы, что он тоже человек, а не кролик, с которого они готовы содрать шкуру. Тот самый валлиец, кряжистый сапер, снял брезентовый ремень и поднял над головой.

— Ну, как думаете, парни?

Его внятный, произнесенный вкрадчивым голосом вопрос таил в себе чудовищное предложение, смысла коего Тернер сразу даже не осознал. Зато он понял: это последний шанс что-то предпринять. Оглянувшись в поисках капралов, он услышал, как по толпе, словно круги по воде, покатился рокот, напоминавший рев быка, в которого вонзили бандерилью. Толпа всколыхнулась и начала плотнее смыкаться, сквозь нее, орудуя локтями, в центр круга пробирался Мейс. Издав дикий вопль наподобие вайсмюллеровского Тарзана, он, как медведь, сгреб несчастного летчика сзади, высоко поднял над землей и сильно встряхнул. Толпа огласилась

торжествующими воплями, свистом, топаньем и ковбойским гиканьем.

— Я знаю, что с ним сделаю, — прогудел Мей. — Утоплю в этом поганом море!

Ответом ему была новая буря радостного гиканья и оглушительного топота. Внезапно рядом с Тернером вырос Неттл. Они обменялись понимающими взглядами, догадавшись, что собирается сделать Мейс, и стали пробираться к выходу — нужно было спешить. Идея утопить ненавистного представителя ВВС понравилась не всем. Несмотря на охватившее солдат безумие, кое-кто вспомнил, что сейчас отлив и от воды их отделяет чуть ли не миля песка. Особенно недоволен был валлиец, он чувствовал себя обманутым и, потрясая ремнем, что-то кричал. Наряду с восторженными возгласами слышались неодобрительный свист и шиканье. Не выпуская жертву из рук, Мейс рванул к выходу. Тернер и Неттл были уже впереди и расталкивали толпу. Добравшись до двери — слава богу, одинарной, не двойной, — они пропустили Мейса и, сомкнув плечи, заблокировали проем, хотя внешне казалось, что они безумствуют, как и все остальные, грозя кулаками и выкрикивая проклятия. Спинами они ощущали колоссальный напор возбужденной людской массы, сдерживать который могли не более нескольких секунд. Но этого оказалось достаточно, чтобы позволить Мейсу убежать — не к морю, разумеется. Резко свернув налево и еще раз налево, он скрылся на узкой кривой улочке позади шеренги баров и магазинчиков.

Неистовая толпа, отшвырнув наконец Тернера с Неттлом, вырвалась из бара, как шампанское из откупоренной бутылки. Кому-то показалось, что Мейс мелькнул среди дюн, и с полминуты человеческое стадо несло в том направлении. Когда же преследователи осознали ошибку и повернули обратно, след Мейса и маленького летчика уже простыл. Тернер с Неттлом тоже благоразумно исчезли.

Вид необозримого берега с тысячами людей, скопившихся на нем в ожидании, и моря без единого признака плавучих средств вернули томми к мыслям о собственном незавидном положении и заставили очнуться. Вдали на востоке, откуда надвигалась ночь, оборонительные рубежи обстреливала артиллерия врага. Немцы приближались, а Англия была все так же далеко. Оставалось совсем немного времени, чтобы до наступления темноты найти ночлег. С канала подул холодный ветер, а шинели остались лежать вдоль дороги далеко позади. Толпа начала рассыпаться. О человеке из ВВС уже никто не вспоминал.

Тернер с Неттлом отправились было на поиски Мейса, чтобы

похвалить его за сообразительность, поздравить с удачным побегом и задним числом посмеяться над опасным происшествием, но вскоре забыли о нем. Побродив по деревне, они очутились на какой-то узенькой улочке. Тернер не думал ни о вражеском наступлении, ни о стертой ступне — он просто стоял на этой маленькой улочке и самым изысканным образом обращался к пожилой даме, вышедшей на порог дома, окруженного террасой. Когда он произнес слово «вода», она с подозрением посмотрела на него, догадываясь, что на самом деле он желает получить не только воду. Дама была весьма привлекательна — смуглая кожа, надменный взгляд, прямой длинный нос, серебристые волосы, покрытые цветастым шарфом. Тернер сразу угадал в ней цыганку, которую не мог обмануть его французский язык. Она смотрела на него в упор и видела все его прегрешения, даже знала, что он сидел в тюрьме. Потом дама перевела неприязненный взгляд на Неттла и наконец указала рукой вдоль улицы, туда, где возле сточной канавы рыла носом землю свинья.

— Поймайте ее, — сказала женщина, — тогда посмотрим, что у меня для вас найдется.

— Да пошла она, — ругнулся Неттл, когда Тернер перевел ему выдвинутое условие. — Мы и попросили-то всего-навсего стакан воды. Пойдем возьмем сами.

Но Тернер, чувствуя, как им овладевает уже знакомое ощущение нереальности происходящего, не решился пренебречь мыслью о том, что женщина обладает некой сверхъестественной силой. В тусклом свете воздух вокруг ее головы, казалось, пульсировал в такт его собственному сердцебиению. Он прислонился к плечу Неттла, чтобы не покачнуться. Она предлагала ему хорошо знакомое испытание, противиться которому он от усталости не мог. По этой части у него был слишком большой опыт, и, находясь так близко от дома, он не собирался рисковать и попадаться в западню. Лучше проявить осторожность.

— Да черт с ней, давай поймаем эту свинью, — предложил он Неттлу. — Это займет всего несколько минут.

Неттл давно привык повиноваться решениям Тернера, поскольку в основном они бывали разумными, но сейчас, направляясь к свинье, пробормотал:

— Что-то с тобой не так, начальник.

Из-за волдырей на ногах шли они медленно. Хрюшка оказалась молодой, шустрой и свободолюбивой. К тому же Неттл ее боялся. Когда они загнали ее в угол у дверей какого-то магазинчика и она бросилась прямо на него, он с не таким уж притворным визгом отскочил в сторону.

Тернер пошел попросить у женщины веревку, но никто не откликнулся на его зов, и он засомневался, не ошибся ли домом. Тем не менее теперь он был почему-то уверен, что если они не поймают свинью, то никогда не вернутся домой. У него снова начала подниматься температура, но дело было не в этом. Свинья казалась ему залогом удачи. В детстве Тернер много раз пытался убедить себя, что глупо пытаться предотвратить внезапную смерть мамы тем лишь, чтобы не наступать на расщелины в асфальте тротуара возле школьной игровой площадки. И все же он никогда на них не наступал — и мама осталась жива.

По мере того как они продвигались вперед, свинья отступала ровно настолько, чтобы оставаться вне пределов их досягаемости.

— Чтоб ее черти съели! — ругался Неттл. — Так мы ее никогда не поймает.

Однако выбора не было. Тернер оторвал кусок провода с поваленного телеграфного столба и сделал петлю. Они преследовали свинью до границы курортной зоны, за которой начинался ряд одноэтажных домиков с маленькими палисадниками. Идя вдоль изгороди, они открывали все ворота справа и слева, потом сделали обходной маневр, чтобы оказаться в тылу у свиньи и гнать ее в обратном направлении, к дому. Как и предполагалось, свинья вскоре забрела в один из палисадников и начала рыть землю. Тернер закрыл ворота и, перегнувшись через изгородь, накинул петлю ей на шею.

На то, чтобы оттащить упирающееся и визжащее животное домой, ушли последние силы. К счастью, Неттл точно помнил, где живет хозяйка. Когда свинья была наконец благополучно водворена в свой крохотный загон, женщина вынесла им два глиняных кувшина с водой. Под ее неусыпным наблюдением, стоя на маленьком заднем дворе возле кухонной двери, они блаженно утоляли жажду. Даже когда им уже казалось, что животы у них вот-вот лопнут, они продолжали жадно глотать, впиваясь губами в края кувшинов. Потом женщина вынесла им мыло, полотенца и два эмалированных таза. Вода в тазу у Тернера, после того как он умылся, приобрела ржаво-коричневатый цвет. Корка засохшей крови, принявшая форму его верхней губы, отвалилась почти целиком. Покончив с мытьем, он ощутил приятную легкость воздуха, который ласково овеивал кожу и проникал в ноздри. Грязную воду они выплеснули под купу львиного зева. Цветы, по словам Неттла, напомнили ему о родительском палисаднике и вызвали приступ тоски по дому. Цыганка наполнила их фляги водой и принесла каждому по литровой бутылке красного вина, по ломтю хлеба и кругу колбасы; все это изобилие они тут же затолкали в вещмешки. Когда

они уже собирались уходить, женщина вспомнила о чем-то еще, снова пошла в дом и вернулась с двумя небольшими пакетами — в каждом было по дюжине засахаренных миндалин.

Они обменялись торжественными рукопожатиями.

— Мы будем помнить вашу доброту до конца своих дней, — сказал Тернер.

Женщина кивнула и, насколько он понял, произнесла:

— Моя свинья тоже будет постоянно напоминать мне о вас. — При этом выражение ее лица оставалось таким же суровым, и невозможно было понять, как следовало истолковать ее реплику: как оскорбление или как шутку. Считала ли она, что они недостойны ее доброты?

Тернер неловко попятился и, когда они уже шли по улице, перевел ее слова Неттлу. Капрал сомнениями не мучился.

— Она живет одна и обожает свою хрюшку. Все просто: она нам очень благодарна, — сказал он, после чего настороженно добавил: — Эй, начальник, ты хорошо себя чувствуешь?

— Отлично, спасибо.

Хромая из-за волдырей, они поплелись обратно к берегу, надеясь найти Мейса и поделиться с ним добытой провизией. Но Неттл считал, что поимка свиньи — честный повод для того, чтобы одну бутылку открыть немедленно. Его вера в здравомыслие Тернера была восстановлена. На ходу они передавали бутылку друг другу. Даже в густых сумерках черное облако над Дюнкерком различалось отчетливо. В противоположном направлении наблюдались вспышки от разрыва снарядов, сплошь, без промежутков, очерчивавшие линию обороны.

— Проклятые ублюдки, — сказал Неттл.

Тернер понял, что он имеет в виду военных, которых они видели возле походной канцелярии, и заметил:

— Они не смогут долго держать оборону.

— Нас здесь накроют.

— Поэтому мы должны — кровь из носу — завтра попасть на корабль.

Утолив жажду, они мечтали теперь поесть. Тернер представлял себе уютную маленькую комнату с квадратным столом, покрытым льняной зеленой скатертью, с фарфоровой французской масляной лампой, свисающей с потолка на шнуре, с разложенными на деревянной доске хлебом, сыром, колбасой, с бутылкой вина...

— Сомневаюсь, что там, на берегу, найдется подходящее место для ужина, — вздохнул он.

— Нас там обдерут в два счета, — согласился Неттл.

— Кажется, я знаю, что нам нужно, — сказал Тернер, вспоминая дом старой дамы.

Они двинулись по улице, расположенной позади знакомого бара. Взглянув на аллею, по которой недавно пришли сюда, они увидели людей, в сумерках двигавшихся на фоне последних бликов моря, а за ними чуть в стороне — темную массу, скорее всего представлявшую собой скопление солдат на берегу, а может, поросший травой песок или просто нагромождение дюн. Мейса там и днем-то найти было бы нелегко, а теперь и подавно. Они побрели дальше в поисках пристанища. Здесь собрались сотни солдат, многие шумными компаниями бродили по улицам, горланя песни и выкрикивая непристойности. Неттл предусмотрительно спрятал бутылку в вещмешок. Без Мейса они чувствовали себя менее уверенно.

Поравнявшись с отелем, в который попал снаряд, Тернер подумал: не поискать ли комнату здесь, а Неттлу пришла в голову мысль разжиться там постельными принадлежностями. Они вошли в здание через пролом в стене и в темноте стали перебираться через вывороченные кирпичи и рухнувшие балки, пока не наткнулись на лестницу. Но оказалось, что счастливая мысль посетила не только их, а еще десятки людей. Цепочка солдат стояла в очереди, чтобы подняться по лестнице, другая пробивалась вниз, волоча набитые конским волосом матрасы. На верхней площадке они видели лишь многочисленные обутые в тяжелые башмаки ноги, сновавшие туда-сюда, — там происходила борьба, слышалось кряхтение и глухие удары кулаков по человеческой плоти. Вдруг раздался пронзительный крик, и несколько солдат с верхних ступенек повалились на тех, кто стоял внизу. Послышались смех и ругательства, упавшие поднимались, ощупывая руки и ноги. Но один, даже не пытаясь встать, лежал поперек лестницы в странной позе — ноги выше головы — и хрипло, почти беззвучно подвывал, словно спящий, которого мучает страшный сон. Кто-то поднес к его лицу зажигалку, стали видны оскаленные зубы и пена, застывшая в уголках губ. Человек, скорее всего, сломал позвоночник, но никто ничего не мог сделать, и теперь одни перешагивали через него, уже обзаведясь одеялами и подголовными валиками, другие — направляясь за вещами вверх.

Тернер и Неттл выбрались из отеля и снова побрели прочь от берега, туда, где жила старая дама со свиньей. Электроснабжение из Дюнкерка, должно быть, отрезано, но сквозь просветы в плотно зашторенных окнах пробивался охряный свет то ли свечей, то ли масляных ламп. На противоположной стороне улицы солдаты колотили в двери, однако ожидать, что хоть одна из них откроется, было теперь бессмысленно.

Именно в этот момент Тернеру пришло в голову рассказать Неттлу, какое место для ужина он хотел бы найти. Он приукрашивал для привлекательности, добавляя к прежним фантазиям двустворчатые французские окна, распахнутые на балкон с фигурной кованой решеткой, сплошь увитой глициниями, граммофон на круглом столике, покрытом зеленой скатертью из синели, и персидский ковер, наброшенный на шезлонг. И чем больше распалял он свое воображение, тем ближе казалась ему эта комната с балконом. Словно слова имели способность материализовываться.

Прикусив нижнюю губу и снова став похожим на озадаченного добродушного грызуна, Неттл дослушал его до конца и сказал:

— Я знаю, где это место. Разрази меня гром, я его знаю.

Они стояли перед разбомбленным домом, подвал которого частично оказался под открытым небом и напоминал гигантскую пещеру. Схватив Тернера за рукав, Неттл потащил его вниз по битым кирпичам. Он осторожно вел его через подвал в зияющую впереди черноту. Тернер понимал — это совсем не то место, но у него не было сил противиться неожиданной решительности Неттла. Впереди показался огонек, потом еще один и еще. Это курили уже нашедшие здесь убежище мужчины.

— Мать вашу! — послышался голос из темноты. — Проваливайте отсюда. Здесь и без вас полна коробочка.

Неттл чиркнул спичкой и поднял ее повыше. Повсюду, привалившись к стенам, сидели люди, причем большинство спали. Несколько человек лежали на полу прямо посередине, но место еще оставалось, и, когда спичка догорела, Неттл надавил Тернеру на плечо, заставив сесть. Выгребая из-под себя обломки кирпичей, Тернер почувствовал, что рубашка снова намокла. Должно быть, кровь или какая-то другая жидкость. Боли он в тот момент не чувствовал. Неттл накинул ему на плечи шинель. По ногам стало разливаться восхитительное ощущение легкости, и Тернер понял: ничто не заставит его сдвинуться с места этой ночью, как бы к этому ни отнесся Неттл. Монотонное раскачивание, к которому он привык за целый день непрерывной ходьбы, передалось теперь полу. Тернер чувствовал, как пол накреняется и взбрыкивает под ним в кромешной тьме. Теперь задача состояла в том, чтобы поесть, избежав угрозы нападения. Чтобы выжить, нужно стать эгоистом. Однако он ничего не предпринимал, в голове было пусто. Через какое-то время Неттл разбудил его, ткнув в бок, и вложил в руки бутылку с вином. Тернер сомкнул губы вокруг горлышка, запрокинул бутылку и отпил. Кто-то услышал бульканье.

— Эй, что у тебя там?

— Овечье молоко, — ответил Неттл. — Еще теплое. Хочешь?

Раздался харкающий звук, и что-то теплое и желеобразное шлепнулось Тернеру на тыльную сторону ладони.

— Ты, стало быть, богатенький, да?

Другой голос прозвучал угрожающе:

— Заткнись. Дай поспать.

Беззвучным движением Неттл вытащил из вещмешка колбасу, разломил ее на три части и передал кусок Тернеру вместе с ломтем хлеба. Тернер растянулся на цементном полу во весь рост, накрылся с головой шинелью, чтобы никто не почувствовал запаха мяса и не услышал, как он жует, и, задыхаясь от спертого воздуха, ощущая, как острые осколки кирпича и гравия впиваются в щеку, стал поедать вкуснейшую в своей жизни колбасу. От лица еще шел запах ароматизированного мыла. Он вгрызался в хлеб, отдающий армейским брезентом, рвал зубами и сосал колбасу. Когда пища достигла желудка, тепло стало распространяться по груди и гортани. Ему казалось, что всю свою жизнь он только и делал, что шел по проклятой дороге. Закрывая глаза, Тернер видел бегущий навстречу асфальт и собственные ботинки, то появляющиеся в поле зрения, то исчезающие. Не переставая жевать, он время от времени на несколько секунд проваливался в сон, в иное измерение, превращался в уютно лежащую на его же языке засахаренную миндалину, сладость которой принадлежала нездешнему миру. Он слышал, как люди жаловались на холод в подвале, радовался, что укрыт шинелью, и испытывал отеческую гордость за то, что не позволил капралам бросить шинели на дороге.

Еще одна группа солдат вошла в подвал, ища пристанища, и, так же как чуть раньше они с Неттлом, стала чиркать спичками. Он почувствовал враждебность по отношению к ним, его раздражал их западный просторечный акцент. Как все обитатели подвала, он хотел, чтобы они убрались отсюда. Но солдаты нашли место где-то у него в ногах. Он уловил запах бренди и возненавидел их еще больше. Вновь пришедшие шумно устраивались на ночлег, но когда откуда-то от стены раздалось: «Деревенщина проклятая», — один из них метнулся на голос. Вот-вот готова была вспыхнуть потасовка, однако темнота и вялые протесты уставших «старожилов» позволили сохранить мир.

Вскоре тишину подвала нарушало лишь мерное дыхание и храп. Пол продолжал крениться то вправо, то влево, потом вошел в режим ритмичных колебаний, и Тернер снова, как тогда, в амбаре, обнаружил, что слишком возбужден, слишком устал и слишком переполнен впечатлениями, чтобы

уснуть. Сквозь шинельное сукно он ощущал связку ее писем. *Я буду ждать тебя. Возвращайся.* Не то чтобы слова эти утратили смысл, но сейчас они его не трогали. Возникло ощущение, что два человека, ждущие встречи друг с другом, — это некая арифметическая сумма, лишенная эмоций. Ожидание. Один, ничего не делая, ждет, другой к нему приближается. Ожидание — грузное слово. Он чувствовал, как оно придавливает его своей тяжестью, словно грубая шинель. Все ждут — и тут, в подвале, и на берегу. И она ждет, да, ждет, но что из того? Он пытался вспомнить, каким голосом она произносила эти слова, но слышал лишь собственный, перекрываемый глухими ударами сердца, не мог даже представить себе ее лицо. Он попытался направить мысли в новое русло, как предполагалось, к счастливому концу. Все сложности куда-то исчезли, не надо было больше спешить. Брайони изменит показания, перепишет прошлое так, что виновный окажется безвинным. Но что есть вина в наши дни? Слово, которое ничего не стоит. Виновны все, и не виновен никто. Никого не спасет изменение показаний, ибо не хватит ни людей, ни бумаги, ни перьев, ни у кого не достанет ни терпения, ни спокойствия, чтобы записать показания всех свидетелей и собрать все факты. Да и свидетели тоже виновны. День за днем мы являемся свидетелями преступлений друг друга. Ты сегодня никого не убил? Но скольких ты оставил умирать? Здесь, в подвале, нас это не тревожит. Поспим — и все забудем. Брайони. Ее имя на вкус напоминало засахаренную миндалину, это казалось настолько странным и невероятным, что он даже усомнился: правильно ли он его запомнил. Как, впрочем, и имя Сесилии. Значит, он всегда принимал странность этих имен как нечто само собой разумеющееся? Даже на этом вопросе ему трудно было сосредоточиться. Здесь, во Франции, у него осталось столько незавершенных дел, что казалось почти разумным отложить возвращение в Англию, несмотря на то что уже упакованы чемоданы, его странные, тяжелые чемоданы. Если он оставит их здесь, никто их не увидит. Невидимый багаж. Нужно вернуться и снять мальчика с дерева. Однажды он это уже сделал. Он направился туда, куда никому другому не пришло в голову пойти, нашел мальчишек под деревом, посадил Пьеро на плечи, Джексона взял за руку и повел через парк. Как же тяжело! Он любил — Сесилию, двойняшек, успех, зарю и причудливо пламенеющий в ее лучах туман. И вдруг — такой прием! Теперь-то он пообвыкся с подобными вещами, они стали обыденными, но тогда, до того как душа его огрубела и замкнулась в немоте, когда это было еще внове, когда все еще было внове, он чувствовал очень остро. Его тронуло и то, что она подбежала к нему, уже стоявшему у открытой двери полицейской

машины, и то, что она ему сказала. *Я непорочен был и мил, / Когда тебя любил.* ^[30] Значит, предстоит проделать в обратном направлении весь проделанный путь, снова пройти через все поражения, через осушенные и сумрачные болота, мимо строгого сержанта на мосту, через разбомбленную деревню, вдоль ленты дорог, на протяжении многих миль рассекающей холмистые поля, снова увидеть перевернутый грузовик на краю деревни, напротив обувного магазина, а в двух милях от него перелезть через забор из колючей проволоки, потом пройти через лес и поле, чтобы остановиться на ночь в амбаре у братьев-фермеров, а на следующий день в желтом утреннем свете в соответствии с указаниями дрожащей стрелки компаса поспешать через восхитительную местность с маленькими долинами, речками, роящимися пчелами и по узкой тропинке подняться к печальной сторожке путевого обходчика. Подойти к дереву. Выудить из дорожной грязи кусочки обгоревшей, разорванной одежды, клочки пижамы, потом опустить в могилу несчастного бледного мальчика и устроить скромные похороны. Симпатичный парень. Пусть виновный хоронит невинного, и пусть никто не меняет своих показаний. Где теперь Мейс, кто поможет рыть могилу? Отважный медведь, капрал Мейс. Вот еще одно незавершенное дело и еще одна причина, по которой он не может отсюда уехать. Он должен найти Мейса. Но прежде придется снова пройти много миль, чтобы достичь поля, по которому шли за плугом крестьянин с собакой, и спросить женщину-фламандку и ее сына, считают ли они его ответственным за свою смерть. Потому что порой человек в порыве самобичевания принимает на себя слишком много. Возможно, она скажет «нет» — по-фламандски. Ты пытался нам помочь. Ты не мог перенести нас обоих через поле. Близнецов мог тащить на закорках, а нас — нет. Нет, ты не виноват. Нет.

Послышался шепот, и он ощутил дыхание говорившего на своей разгоряченной щеке:

— Слишком громко, начальник.

За головой капрала Неттла начала синеть широкая полоска неба, на ее фоне четко вырисовывался неровный край развороченного подвального потолка.

— Громко? Я что, говорил вслух?

— Кричал «нет!» так, что всех перебудил. Кое-кому из парней это не очень понравилось.

Тернер попытался поднять голову, чтобы осмотреться, но не смог. Капрал чиркнул спичкой.

— Господи! Ну и видок у тебя — в гроб краше кладут. Ну-ка давай,

хлебни.

Он поднял Тернеру голову и приложил к его губам флягу.

У воды был металлический привкус. Глотнув, Робби ощутил, как мощный океанский прилив изнеможения выталкивает его наверх. Он шел по земле до тех пор, пока не упал в океан. Чтобы не напугать Неттла, он постарался придать своим словам рассудительность, для которой на самом деле не было никаких оснований:

— Послушай, я решил остаться. У меня здесь есть еще кое-какие дела.

Грязной ладонью Неттл вытер Тернеру лоб. Тернер не понимал, почему капрал, приблизив к нему свое похожее на мордочку грызуна лицо, так озабоченно смотрел на него.

— Начальник, ты меня слышишь? — спросил Неттл. — Ты слушаешь? Около часа назад я вышел облегчиться. Угадай, что я видел? По дороге шел моряк, собиравший офицеров. Они идут на берег. Корабли пришли. Мы едем домой, приятель. Тут лейтенант из «темно-желтых», он поведет нас к причалу в семь утра. Так что поспи немного и больше не ори.

Теперь единственное, чего ему хотелось, это спать — спать тысячу часов кряду. Так легче. Вода была мерзкой на вкус, но помогла, как и утешительная новость, которую нашептал Неттл. Их построят на улице в каре и — шагом марш! — поведут на берег. Порядок будет восстановлен. В Кембридже им не объясняли преимуществ маршировки колонной. Там уважали свободный, не подчиняющийся правилам дух. Поэты. Но что знают поэты об искусстве выживания? О выживании большой группы мужчин. Недопустима даже мысль о том, чтобы нарушить строй, брать корабли приступом, никаких «кто смел, тот и съел», никаких «каждый сам за себя». Никакого бега на подступах к линии прибоя. Руки стоящих в волнах людей с готовностью протянуты вверх, чтобы предотвратить чрезмерный крен корабля и подстраховать тех, кто взбирается на палубу. Но море здесь спокойное, и теперь, успокоившись сам, он снова понял: как хорошо, что она его ждет. К черту арифметику. *Я буду ждать тебя* — вот что главное. Вот для чего он выжил. Этим она просто давала ему понять, что никакой другой мужчина ей не нужен. Только он. *Возвращайся*. Он вспомнил и почти физически ощутил, как гравий впивался в ступни сквозь тонкие подошвы туфель и ледяное прикосновение наручников к запястьям. Они с инспектором уже подошли к машине, когда за спиной послышался звук ее шагов. Как он мог забыть то зеленое платье, плотно облегавшее ее бедра, стеснявшее шаги и обнажавшее красоту плеч, несмотря на густой туман! Его не удивило, что полицейский позволил им пообщаться. Он об

этом тогда даже не задумался. Они с Сесилией говорили так, будто были одни. Не позволяя себе плакать, она сказала, что верит ему и любит его. Он ответил лишь, что всегда будет это помнить, желая тем самым показать, как ей благодарен, особенно тогда, особенно сейчас. Коснувшись пальцем наручников, она сказала, что ей ничуть не стыдно, что стыдиться им нечего. Потом взяла за лацкан пиджака, легонько встряхнула и именно в этот момент произнесла: «Я буду ждать тебя. Возвращайся». И она была искренна. Время докажет, что она была искренна. После этого его затолкали в машину. Прежде чем дать волю слезам, сдерживать которые больше не могла, она поспешно проговорила: то, что было между ними, принадлежит им, только им. Она, разумеется, имела в виду то, что случилось в библиотеке. Да, это принадлежало им, и никто не мог этого у них отнять. За секунду до того, как хлопнула дверца, она, не таясь, чтобы слышали все, крикнула:

— Это наша тайна!

— Больше не скажу ни слова, — пообещал он Неттлу, хотя голова товарища давно исчезла под шинелью. — Разбуди меня около семи. Обещаю: ты больше не услышишь от меня ни звука.

Часть третья

Предчувствие беды витало не только в стенах больницы. Казалось, оно постепенно прибывало вместе с бурными коричневатыми водами реки, переполнявшейся апрельскими дождями, а по вечерам опускалось на затемненный в целях маскировки город, как душевный мрак, поразивший всю страну, как неподвижный зловещий туман, неизбежный в позднюю пору холодной весны, независимо от благодати, которую она с собой несла, как ожидание неотвратимого конца. Представители старшего медицинского персонала тайно совещались, собираясь на коридорных перекрестках. Молодые врачи словно стали чуть выше ростом, походка их сделалась более решительной, а главный врач-консультант во время обходов казался рассеянным и однажды утром даже, подойдя к окну, долго смотрел на реку, забыв о медсестрах, безропотно застывших в ожидании у кроватей больных. Пожилые санитары, перевоза пациентов из палат в процедурные кабинеты и обратно, выглядели подавленными и, судя по всему, напрочь забыли жизнерадостные цитаты из радиоспектаклей, которыми прежде любили пересыпать речь; последнее в некотором роде даже радовало Брайони, поскольку она терпеть не могла их вечное: «Зовите любовь, а то ведь она может и не прийти».

На пороге между тем уже явно что-то замаячило. Больницу постепенно, незаметно для стороннего взгляда, начали освобождать. Поначалу это казалось случайным совпадением — внезапной эпидемией здоровья, которую иные недалекие практикантки склонны были приписывать совершенствованию своего мастерства. Но постепенно начала вырисовываться закономерность. Койки, пустовавшие и в их отделении, и в соседних, ночью напоминали мертвецов. Брайони казалось, что удалявшиеся шаги в широких, стерильно чистых коридорах звучали теперь приглушенно и словно виновато, в то время как раньше они служили признаком решительности и компетентности персонала. Рабочие, которых прислали поменять муфты брандспойта, висевшего на лестничной площадке за лифтами, и установить новые ящики для песка, трудились весь день без перерыва и ни с кем не разговаривали, даже с санитарями. В отделении из двадцати коек заняты были только восемь, и, хотя работы стало больше, чем обычно, какая-то тревога, почти суеверный ужас удерживали сестер-практиканток от жалоб, даже когда они оставались одни во время перерыва на чай. Все они как-то притихли, стали более

покладистыми и уже не протягивали друг другу руки, сравнивая свои цыпки.

Кроме того, их неотступно преследовал страх совершить ошибку. Они безумно боялись сестры Марджори Драммонд, боялись ее сухой, зловещей улыбки и вкрадчивых манер, предвещавших вспышку гнева. Брайони отлично знала, что за последнее время допустила несколько ошибок. Четыре дня назад, несмотря на подробные наставления, одна из ее подопечных выпила карболку — по словам видевшего это санитаря, она проглотила ее залпом, как пинту «Гиннеса», — и ее вырвало прямо на одеяло. Брайони также подозревала, что сестра Драммонд видела, как она несла всего три подкладных судна, между тем как теперь им полагалось уметь уверенно пронести через палату стопку из шести поставленных один на другой сосудов — наподобие официанта-виртуоза из парижского ресторана «Ла Куполь». Вероятно, она допустила и еще какие-нибудь промахи, о которых забыла из-за усталости или которых вовсе не заметила. Хуже всего дело обстояло с осанкой — забываясь, Брайони переносила центр тяжести на одну ногу, что приводило в неописуемую ярость ее наставницу. Упущения и оплошности могли накапливаться в течение нескольких дней: не туда поставленная метла, одеяло, заправленное ярлыком наружу, едва заметный перекосяк туго накрахмаленного воротника, колесики кровати, выбивающиеся из ряда или повернутые не внутрь, а наружу, хождение по отделению с пустыми руками — все это молча фиксировалось до тех пор, пока чаша терпения не переполнялась. И тогда, если вовремя не уловить предзнаменований, гнев обрушивался на голову несчастной неожиданно, именно в тот момент, когда она полагала, что все сделала правильно.

Впрочем, в последнее время сестра не расточала стажеркам своих безжалостных улыбок и не разговаривала с ними вкрадчивым тихим голосом, приводившим их в ужас. Она вообще почти забросила свои обязанности, была чем-то чрезвычайно озабочена, и ее часто можно было видеть в отделении мужской хирургии, где она подолгу совещалась с коллегой. Порой сестра и вовсе исчезала дня на два.

В другой обстановке, имея другую профессию, она, с ее округлыми формами, выглядела бы доброй матушкой, а то и чувственной дамой — ее не знавшие помады губы были полными, яркими, красиво очерченными, а кукольное лицо с круглыми щеками, пышущими здоровым румянцем, предполагало мягкий нрав. Однако это впечатление рассеялось сразу же, когда стажерка из группы Брайони, крупная, добрая, медлительная девушка с безобидным коровьим взглядом, испытала на себе всю растерзывающую

силу ее гнева. Практикантка Лэнгленд была временно отправлена в отделение мужской хирургии, и ее попросили подготовить молодого солдата к аппендэктомии. Оставшись на несколько минут наедине с больным, она немного поболтала с ним, чтобы ободрить перед операцией. Вероятно, он задал ей естественные вопросы, на которые она простодушно ответила, нарушив тем самым непреложное правило. Оно было четко сформулировано в учебном пособии, хотя никто и представить не мог, насколько строгим считалось его требование. Через несколько часов после операции, отходя от наркоза, солдат произнес имя практикантки в присутствии стоявшей у его постели старшей сестры. Практикантка Лэнгленд была с позором изгнана в свое отделение, но предварительно всех собрали и прочли лекцию в назидание. Положение бедняжки Сьюзен Лэнгленд оказалось бы не намного тяжелее, даже если бы она по неосторожности или злему умыслу угробила дюжину больных. Сестра Драммонд закончила свою речь, заявив, что практикантка нарушила принципы, завещанные сестрой Найтингейл, коим все они должны хранить верность, и следует считать большим везением, что в ближайший месяц ей доверят хотя бы разбирать грязное белье. Не только Лэнгленд, но и другие девушки плакали навзрыд.

Брайони не плакала, но в тот вечер перед сном все еще чуть дрожащими руками лишний раз пролистала учебник, желая убедиться, что не упустила еще какого-нибудь правила профессионального этикета. Перечтя, она повторила наизусть требование: ни при каких обстоятельствах сестра не должна сообщать пациенту имя, данное ей при крещении.

Отделения пустели, а работы прибавлялось. Каждое утро кровати сдвигали к центру, чтобы практикантки могли до блеска отдраить все углы тяжеленными швабрами. Мести полы следовало трижды в день. Освободившиеся тумбочки отскребали, матрасы дезинфицировали, медные крючки вешалок, дверные ручки и замочные скважины полировали до блеска. Все деревянные предметы — включая двери и плинтусы — мыли раствором карболки, так же как железные рамы и пружины кроватей. Судна драили жесткими щетками, мыли и сушили, пока они не начинали сиять, как столовый фарфор. Армейские трехтонки подъезжали к воротам складских помещений и выгружали все новые партии кроватей — старых и грязных. Кровати приходилось долго скоблить, прежде чем их разрешали внести в отделение, выстроить рядами и обработать карболкой. Между этими занятиями девушки десятки раз на день мыли свои растрескавшиеся руки с кровоточащими цыпками грубым мылом в ледяной воде. Борьба с микробами не прекращалась никогда. Практикантки были обязаны

исповедовать культ гигиены. Их учили, что нет ничего опаснее, чем угол одеяла, свисающий с кровати и вбирающий в себя батальоны, дивизии вредоносных бактерий. Каждодневное кипячение, скобление, полировка и протираание стали для них знаком профессионального отличия, ради которого следовало, не задумываясь, жертвовать любым личным комфортом.

Санитары приносили со складов огромное количество нового оборудования и перевязочных материалов, которые требовалось распаковать, инвентаризировать и разложить по местам, — бинты, лотки, шприцы для подкожных инъекций, три новых автоклава и множество упаковок с надписью «Пакеты Баньяна», назначения которых им пока не объяснили. В отделении поставили новый металлический шкаф для лекарств и — разумеется, после трехкратного мытья жесткой щеткой — набили его препаратами. Шкаф запирался на ключ, ключ хранился у сестры Драммонд, но однажды утром, когда шкаф оказался открытым, Брайони заметила в нем ряды коробок с ампулами морфия. Когда ее посылали по разным поручениям, она видела, что такие же приготовления ведутся и в других отделениях. Одно было уже полностью освобождено и сияло чистотой в безмолвном ожидании. Задавать какие бы то ни было вопросы запрещалось. Отделения, располагавшиеся на верхнем этаже, в целях защиты от бомбежек были закрыты год назад, сразу после объявления войны. Операционные располагались теперь в полуподвале. Окна нижнего этажа завалили мешками с песком, все слуховые окна зацементировали.

Армейский генерал в сопровождении полудюжины врачей совершил обход больницы. Никакие церемонии во время этого обхода не соблюдались, даже тишины никто не требовал. Рассказывали, что обычно во время подобных важных визитов линия носа каждого больного обязана была совпадать с центральной складкой на отвороте простыни. На сей раз готовиться не было времени. Генерал, кивая и что-то бормоча, проследовал со своей свитой через отделение и вышел.

Тревога нарастала, но строить предположения было некогда, да это и официально было запрещено. Если стажерки не находились на дежурстве, они слушали лекции, присутствовали на практических занятиях или самостоятельно штудировали учебники. За их питанием и сном наблюдали так, словно они были ученицами Роудин-скула^[31] первого года обучения. Когда Фиона, девушка, спавшая на кровати, соседней с кроватью Брайони, отодвинула тарелку, заявив, не обращая ни к кому персонально, что она «органически не в состоянии» есть овощи, сваренные в бульоне из кубиков

«Оксо»,^[32] сестра-хозяйка из корпуса сестер милосердия имени Флоренс Найтингейл стояла над ней до тех пор, пока тарелка не опустела. Фиона была подругой Брайони; в дортуаре в первый же день обучения она попросила Брайони срезать ей ногти на правой руке, поскольку, как объяснила, не могла держать ножницы в левой и раньше ей всегда помогала мама. Девушка была рыжеволосой и веснушчатой, что сразу насторожило Брайони. Но в отличие от Лолы Фиона оказалась шумной и веселой. На тыльной стороне ладоней у нее были ямочки, а необъятный бюст служил постоянным объектом для шуток: девушки говорили, что с таким бюстом Фиона обречена когда-нибудь стать старшей сестрой. Ее родители жили в Челси. Как-то ночью она шепотом сообщила Брайони, что ее отец вскоре должен стать членом военного кабинета министров Черчилля. Но когда состав кабинета обнародовали, его фамилии в списке не оказалось, Фиона никак это не объяснила, а Брайони не стала расспрашивать. В первые месяцы учебы у Фионы и Брайони не было возможности разобраться, нравятся ли они друг другу. Общим было удобно считать, что нравятся. Они были из тех немногих, кто не имел никакого опыта. Большинство девушек уже окончили курсы первой помощи, а некоторые успели послужить в добровольных санитарных отрядах и соприкоснуться с кровью и смертью, по крайней мере они сами так утверждали.

Но развивать дружеские отношения было нелегко. Практикантки постоянно дежурили в отделениях, три часа в день посвящали самостоятельным занятиям, время оставалось только на сон. Расслаблялись они лишь во время чаепития, между четырьмя и пятью, когда снимали с полок, сколоченных из деревянных реек, свои персональные миниатюрные коричневые чайнички и садились чаевничать в маленькой комнате отдыха. Разговоры были осторожными, поскольку сестра-хозяйка присматривала за тем, чтобы все было пристойно. Кроме того, стоило им сесть, как наваливалась усталость, тяжелая, как три ватных одеяла. Одна девушка заснула сидя, с чашкой в руках, и ошпарила ногу. Сестра Драммонд, явившаяся на крик, сочла это прекрасным поводом попрактиковаться в лечении ожогов.

Да и вообще Брайони была закрыта для дружбы. В те первые месяцы она считала, что ей следует ограничиться отношениями с сестрой Драммонд. Та постоянно была рядом: то надвигалась из дальнего конца коридора с каким-нибудь ужасным заданием, то оказывалась за плечом Брайони, долдоня ей в ухо, что она была невнимательна во время подготовительного курса, и вот результат — она не может правильно провести обтирание больного: только после *второй* смены воды следует

давать пациенту намыленную фланельку и влажное полотенце, чтобы он мог «сам закончить процедуру». Душевное состояние Брайони менялось чуть ли не каждый час в зависимости от того, как оценивала ее работу старшая сестра. Каждый раз, ловя на себе взгляд сестры Драммонд, она ощущала холод в желудке. Невозможно было понять, правильно ли ты все сделала. Брайони ужасно боялась навлечь на себя гнев старшей сестры. О похвале не могло быть и речи. Самое большее, на что можно было рассчитывать, — это отсутствие замечаний.

В редкие моменты, когда она принадлежала себе, обычно в темноте, перед тем как заснуть, Брайони вспоминала призрачный параллельный мир детства, Гертон, чтение Мильтона. Она могла бы сейчас учиться в том же колледже, где училась ее сестра, а не работать в больнице. Но Брайони считала, что в военное время должна приносить пользу. В сущности, она свела свою жизнь к общению с женщиной, которая была на пятнадцать лет ее старше и обладала над ней властью куда более сильной, чем власть матери над младенцем.

Это ограничение, которое прежде всего означало отказ от собственных личных интересов, она приняла на себя задолго до того, как услышала о сестре Драммонд. Урок унижения был преподан ей в первый же день учебы перед лицом всего класса. Вот как это случилось. Она подошла к сестре-наставнице, желая вежливо указать, что в ее имени на нагрудной карточке допущена ошибка: она «Б. Толлис», а не «С. Толлис».

Ответ прозвучал спокойно и невозмутимо: «Вы называетесь и будете называться впредь так, как здесь написано. Меня не интересует ваше настоящее имя. А теперь сядьте, пожалуйста, на место, сестра Толлис».

Девушки посмеялись бы, если б посмели, потому что у всех на карточках был один и тот же инициал — безличное «Н», но они почувствовали, что веселье не встретит одобрения. Тогда они слушали лекции по гигиене и учились делать обтирания на манекенах в натуральный рост человека — миссис Макинтош, леди Чейз и малыше Джордже, неотчетливо выраженные половые особенности которого позволяли использовать его и в качестве девичьего манекена. То было время, когда они привыкали к бездумному повиновению, учились носить подкладные судна стопками и усваивали основное правило: никогда не слоняться по отделению с пустыми руками. Физические нагрузки помогали Брайони сузить мыслительный кругозор. Высокий, туго накрахмаленный воротник безбожно натирал шею. Из-за необходимости десятки раз в день мыть руки хозяйственным мылом под обжигающе ледяной водой у нее огрубела и потрескалась кожа. Туфли, которые пришлось купить за

собственные деньги, отчаянно сдавливали пальцы. Форма, как любая казенная одежда, лишала индивидуальности и требовала постоянного ухода — приходилось каждый день заглаживать складки, прикалывать капор шпильками, вытягивать швы, чистить туфли, следить, чтобы не стоптались каблуки, — и это постепенно отодвигало на второй план прочие заботы. К тому времени, когда девушки были готовы начать практику в отделениях под руководством сестры Драммонд и подчинить себя рутине жизни «между подкладным судном и „Боврилом“^[33]», воспоминания о прежней жизни поблекли и стали почти неразличимы. Головы практиканток оказались в определенном смысле пусты, система защиты рухнула, так что им ничего не стоило признать безоговорочный авторитет старшей сестры. Она заполняла их опустошенные умы, не встречая никакого сопротивления.

Об этом не говорилось вслух, но система обучения была армейской. Мисс Найтингейл, которую здесь никогда не называли по имени, Флоренс, достаточно много времени провела на Крымской войне, чтобы осознать значение дисциплины, четкого подчинения приказам и высокой натренированности воинского состава. Вот почему, лежа в темноте и прислушиваясь к нескончаемому храпу Фионы — та спала на спине, — Брайони уже тогда понимала, что линия параллельной жизни, которую она еще недавно легко могла представить по воспоминаниям о своих визитах в Кембридж, где навещала Леона и Сесилию, скоро начнет безнадежно отклоняться от линии жизни нынешней. Здесь, в этом регламентирующем каждый шаг режиме, теперь ее университет, ее четырехгодичный курс обучения, и у нее нет ни желания, ни возможности уйти. Она обрекла себя на жизнь, полную ограничений, правил, ухода за больными и постоянного страха навлечь на себя гнев начальства. Хотя новый набор практиканток осуществлялся каждые несколько месяцев, она была пчелой только своего роя и вне его не имела индивидуальности. Здесь не вели дискуссий и никто не жертвовал сном ради ее интеллектуального развития. Она выносила судна и мыла их, подметала и натирала полы, варила какао и «Боврил», приносила, уносила и была избавлена от рефлексии. Практикантки второго года обучения говорили, что позднее собственная ловкость начнет доставлять удовольствие. И в последнее время Брайони довелось вкушать этого удовольствия, когда ей — под присмотром, разумеется, — доверяли измерить пульс и температуру больного и занести показания в карточку. Что касается собственно лечебных процедур, то она научилась прижигать ляписом язвы у больных стригущим лишаем, смазывать порезы эмульсией аквафлавина и делать свинцовые примочки. Но в основном она была кем-то

вроде прислуги за все, а в свободные часы — зубрилой, заучивавшей простейшие факты, и радовалась, что у нее нет времени размышлять о чем-то другом. Но когда перед сном, стоя в халате у окна, Брайони смотрела на раскинувшийся по ту сторону реки затемненный город и думала о том, что там, на улицах, царит такая же тревога, как здесь, душа ее погружалась во мрак. И никто в этой размеренной жизни, даже сестра Драммонд, не мог защитить ее от этого мрака.

За полчаса до того, как выключали свет, выпив какао, девушки были обязаны прекратить хождение по комнатам, рассестись по кроватям и писать письма родным или возлюбленным. Некоторые все еще роняли слезы, тоскуя по дому, и в такие моменты, обнявшись, шептали друг другу слова утешения. Брайони казалось смешным и неестественным, что без пяти минут взрослые женщины плакали по своим мамочкам или, как сквозь всхлипывания сказала одна из них, по аромату папиной трубки. Слишком уж они упивались этими взаимными утешениями. В подобной сентиментальной атмосфере Брайони иногда писала краткие письма домой, в которых сообщала лишь, что здорова, не испытывает особых трудностей и недостатка в средствах и ничуть не жалеет о своем поступке вопреки предсказаниям матери. Другие девушки в подробностях описывали повседневные обязанности и напряженную учебу, чтобы потрясти любящих родителей. Брайони такое доверяла только дневнику и даже в нем была крайне сдержанна. Она не хотела, чтобы мать проведала, какой грязной работой она занимается. Отчасти ее решение стать медсестрой диктовалось стремлением к независимости, и ей было важно, чтобы родители, особенно мать, знали о ее жизни как можно меньше.

Если не считать повторявшихся из письма в письмо вопросов, которые оставались без ответов, Эмилия в основном писала об эвакуированных. Три мамы с семьей детьми, все из лондонского района Хакни, были расквартированы в доме Толлисов. Одна из эвакуированных женщин опозорилась в деревенском пабе, и дорога туда была для нее теперь закрыта. Другая была правоверной католичкой и с тремя детьми регулярно ходила на воскресные службы в ближайший городок за четыре мили. Однако Бетти, которая сама, как известно, была католичкой, подобная набожность ничуть не трогала. Она одинаково ненавидела всех трех женщин и их отпрысков. В первое же утро те заявили, что им не понравилась ее стряпня. Она утверждала, будто видела, как усердная прихожанка плюнула на пол в холле. Старший из детей, тринадцатилетний подросток, выглядевший на восемь, залез в фонтан, вскарабкался на

скульптуру и отломал рог, в который трубил Тритон, вместе с рукой — по самое плечо. Джек сказал, что ничего не стоит приделать все это обратно. Но отломанная деталь, которую принесли в дом и положили в буфетной, пропала. Бетти, ссылаясь на свидетельство старого Хардмена, твердила, что парень утопил рог в озере. Мальчик отвечал, что знать ничего не знает. Хотели было спустить воду из озера, но на нем гнездилась лебединая пара, и птиц пожалели. Мать яростно защищала сына, говорила, что опасно иметь фонтан рядом с домом, в котором живут дети, и что она пожалуется депутату парламента. Сэр Артур Ридли был крестным отцом Брайони.

Тем не менее Эмилия считала везением, что им определили на постой эвакуированных, поскольку был момент, когда дом вообще хотели реквизировать под нужды армии. Впрочем, потом предпочли усадьбу Хью ван Влайета, поскольку там имелся стол для игры в снукер.^[34] Еще Эмилия сообщала, что ее сестра Гермiona по-прежнему в Париже, но подумывает о переезде в Ниццу, а также что коров пришлось развести по трем разным выпасам, чтобы иметь возможность засеять пшеницей северную часть парка. Полторы мили чугунной ограды, отлитой в 1750 году, сняли и увезли на переплавку для производства «спитфайров». Даже рабочие, которые демонтировали ее, понимали, что этот металл для самолетостроения негоден. На берегу реки, точно на ее излучине, прямо среди осоки, из кирпича и цемента соорудили укрепленную огневую точку, разрушив гнезда чирков и серых трясогузок. Еще одну строят в том месте, где главная дорога вливается в деревню, у почты. Все хрупкие вещи, включая клавесин, снесли в подвал. Несчастная Бетти уронила на ступеньках вазу дядюшки Клема и разбила вдребезги. Она сказала, что большой осколок сам собой отломился под ее пальцами, отчего ваза и выпала из рук, но в это верится с трудом. Дэнни Хардмен записался во флот, остальные молодые люди из деревни вступили в Восточносуррейский полк. Джек слишком много работает. Недавно участвовал в какой-то закрытой конференции, вернулся худой, осунувшийся, усталый и не имел права даже сказать, где был. Он взбесился из-за вазы и почти орал на Бетти, что на него совсем не похоже. В довершение несчастий она потеряла карточки, и им пришлось две недели обходиться без сахара. Их постоянщица, та, которую изгнали из «Красного льва», где-то посеяла свой противогаз, другого ей не выдали. Уполномоченный по светомаскировке, брат констебля Уокинса, три раза приезжал проверять, как они соблюдают эту самую светомаскировку. В последнее время он приобрел привычки маленького диктатора. Его никто не любит.

Читая подобные письма в конце изнурительного дня, Брайони

испытывала смутную ностальгию, неясную тоску по давно ушедшей жизни. Едва ли она жалела себя. Порвать с домом было ее собственным решением. Между окончанием подготовительного курса обучения и началом практических занятий, когда им дали недельный отпуск, она поехала к дядюшке и тетушке в Примроуз-Холл и, разговаривая с матерью по телефону, не соглашалась на ее уговоры: почему бы Брайони не приехать хоть на денек, здесь все так мечтают увидеть ее, хотят послушать рассказы о ее новой жизни. И почему она так редко пишет? Отвечать прямо на эти вопросы — потому что теперь нужно держаться подальше от семьи — было трудно. В тумбочке возле кровати Брайони хранила большую тетрадь в картонном переплете с мраморным рисунком. К тетради шнурком был привязан карандаш. Чернилами и автоматическими ручками в спальне пользоваться запрещалось. Брайони начала вести дневник в первый же вечер по прибытии в больницу и почти каждый день урывала для него хоть десять минут перед тем, как выключали свет. Поначалу дневник состоял из творческих манифестов, банальных жалоб, зарисовок характеров и бесхитростного перечисления ежедневных дел, но постепенно стали появляться и описания фантазий. Брайони редко перечитывала дневник, но любила перелистывать густо исписанные страницы. Здесь, по эту сторону именной карточки и казенной формы, скрывалось и втайне упорно копилось ее истинное «я». Радость, которую она испытывала в детстве при виде собственной рукой исписанных страниц, не исчезла. Причем ей было почти все равно, что именно там написано. Поскольку тумбочка не запиралась, о сестре Драммонд она старалась писать иносказательно, изменяла и фамилии больных. А с переменой фамилий становилось легче преобразовывать обстоятельства и события. Брайони любила наделять своими фантазиями их беспорядочные мысли и не чувствовала себя обязанной писать только правду — ведь она не давала обета создавать хронику событий. Ведение дневника было единственным занятием, при котором она могла чувствовать себя свободной. Она сочиняла маленькие рассказы — не слишком убедительные, порой вычурные — о людях, окружавших ее в отделении. Некоторое время она представляла себя кем-то вроде «медицинского» Чосера, летописцем, чья епархия изобиловала живописными характерами: чудаками, пьяницами, старомодными типами, милыми душками, скрывающими страшные тайны. Позднее она жалела, что не придерживалась фактов строже и не накопила побольше документального материала. Было бы полезно точнее помнить, что тогда происходило, как все выглядело, кто присутствовал и что именно сказал. Но в то время дневник помогал ей сохранить достоинство: она

могла выглядеть как сестра-практикантка, жить ее жизнью, вести себя как положено в этом качестве, но в душе мнила, что на самом деле под этой маской скрывается серьезный писатель. В отрыве от всего, что было ей близко, — от семьи, дома, друзей, — сочинительство представлялось ниточкой, не дававшей оборваться связям. К тому же это было то, что она привыкла делать раньше.

В течение дня редко выдавались моменты, когда Брайони могла дать волю мыслям. Иногда ее посылали с каким-нибудь поручением на аптечный склад, где в ожидании провизора можно было ходить по коридору до лестничной площадки, из окна которой открывался вид на реку. Слегка перенеся тяжесть тела на одну ногу, она невидящим взором смотрела на здание парламента, находившееся на другом берегу, и думала не о своем дневнике, а о повести, которую написала и отнесла в журнал. Во время каникул в Примроуз-Холле Брайони попросила у дяди пишущую машинку, прочно обосновалась в столовой и одним указательным пальцем напечатала окончательный вариант. Она занималась этим всю неделю по восемь часов в день, пока не начинало ломить спину и шею, а перед глазами не принимались плясать разнообразные завитушки — фрагменты печатных знаков. Но никогда еще она не испытывала такого удовольствия, как по окончании работы, когда смотрела на аккуратную стопку страниц — сто три листка! — и огрубевшими подушечками пальцев ощущала вес своего творения. Собственного творения. Никто другой не мог этого написать. Оставив себе сделанный под копирку второй экземпляр, Брайони упаковала повесть (совершенно неподходящее слово) в коричневую оберточную бумагу, села в автобус до Блумсбери, дошла до дома на Лэнсдон-Террас, где находилась редакция нового журнала «Горизонт», и передала пакет симпатичной молодой женщине, вышедшей на звонок.

Что больше всего нравилось ей в собственном сочинении, так это строгая геометрия композиции при нарочитой неопределенности взгляда, характеризовавшей, по ее представлениям, современное сознание. Эпоха четких ответов миновала вместе с эпохой характеров и сюжетов. Несмотря на зарисовки с натуры, которые делала в дневнике, Брайони больше не верила в идею создания характеров средствами литературы. Они были для нее теперь лишь изящным вымыслом, принадлежащим девятнадцатому веку. Сама концепция «персонажа художественного произведения» основывалась на ошибке, которую развенчала современная психология. Сюжет тоже представлялся ржавым механизмом, колеса которого навсегда прекратили вертеться. Современному романисту пристало создавать характеры и сюжеты не более чем современному композитору сочинять

симфонии в духе Моцарта. Брайони интересовали мысли, восприятия, чувства, индивидуальное сознание, которое течет, как река, сквозь время, и способы, коими можно передать это течение, а равно и движение тех притоков, которые оно вбирает на своем пути, и те препятствия, которые заставляют его менять русло. Ах, если бы она могла воспроизвести ясный свет летнего утра, ощущения ребенка, стоящего у окна, кружащий и ныряющий полет ласточки над озером! Роман будущего не будет похож ни на что созданное прежде. Она три раза перечла «Волны» Вирджинии Вулф, убедилась, что сама природа человека претерпевает великую трансформацию и что только художественная литература, новая литература, в состоянии уловить суть этой перемены. Внедриться в чужое сознание, показать, как оно работает или реагирует на внешние воздействия, и написать об этом в рамках строгой композиции — вот это был бы триумф художника. Так размышляла сестра Толлис, слоняясь по коридору аптечного склада в ожидании провизора, глядя на противоположный берег Темзы и забыв о подстерегающей опасности: могла ведь появиться сестра Драммонд и заметить, что девушка стоит, опираясь на одну ногу.

Прошло три месяца, ответа из «Горизонта» не было.

На свою вторую рукопись Брайони тоже не получила никакого отклика. В канцелярии она узнала адрес Сесилии и в начале мая написала сестре письмо, но теперь начинала думать, что молчание и было ее единственным ответом.

В последние майские дни поток оборудования и перевязочных материалов возрос. Больных с неопасными заболеваниями выписали домой. Большинство палат опустело бы полностью, если бы неожиданно не поступило сорок моряков — какая-то редкая разновидность желтухи обрушилась на королевский флот. У Брайони теперь не оставалось времени для дневника. Они осваивали новые медицинские навыки и слушали курс основ анатомии. Первокурсницы спешили с дежурств на лекции, потом в столовую, затем бросались штудировать учебники. На третьей странице их начинало клонить в сон. Куранты Биг-Бена отбивали смену этих дневных периодов, и, бывало, одинокая нота, означавшая четверть часа, исторгала у иной практикантки сдавленный стон ужаса, поскольку девушка понимала, что в этот момент ей надлежало быть уже в другом месте.

Всеобщий ночной сон считался самостоятельной медицинской процедурой. Большинству пациентов, независимо от их состояния, запрещалось в это время сделать даже несколько шагов до туалета.

Поэтому день начинался с подкладных суден. При этом не приветствовалось, чтобы нянечки носились по палатам как теннисные мячи. К половине восьмого утра, когда полагалось начинать раздачу лекарств, все должно было быть «во славу Господа» вынесено, вычищено, вымыто и возвращено на свои места. Потом весь день — снова судна, обтирания, мытье полов. Девушки жаловались на боли в спине от бесконечной заправки кроватей и на то, что у них горят ступни — от необходимости проводить на ногах много часов подряд. Дополнительной обязанностью практиканток стало занавешивание огромных окон темными маскировочными полотнищами. Ближе к концу дня — опять судна, мойка плевательниц, приготовление какао. Между окончанием дежурства и началом занятий едва оставалось время, чтобы забежать в спальню за тетрадями и учебниками. Дважды за один день Брайони, неосмотрительно пробегая по коридору, поймала на себе осуждающий взгляд старшей сестры, но оба раза реприманд был сделан бесстрастным тоном. Только кровотечения и пожар считались достаточно вескими поводами для того, чтобы бегать по отделению.

Но основное время младшие практикантки проводили в моечной. Поговаривали, что в госпитале установят автоматические мойки для суден и уток, однако, скорее всего, те, кто это говорил, выдавали желаемое за действительное. Пока девушкам приходилось работать так же, как до них работали их предшественницы. В тот день, когда Брайони дважды получила замечание за пробежку, ее лишний раз, вне очереди, послали в моечную. Конечно, мог произойти случайный сбой в неписаном графике, но это было маловероятно. Закрыв за собой дверь, она надела тяжелый резиновый фартук. Единственным возможным для нее способом освобождать судна от содержимого было закрыть глаза, задержать дыхание и отвернуться. Потом следовало промыть судно карболкой. Не дай бог забыть проверить, вымыты ли и насухо ли вытерты ручки пустого судна, — это грозило серьезной карой со стороны старшей сестры.

Выполнив внеочередное задание, Брайони перешла к вечерней уборке палаты — ставила на место сдвинутые тумбочки, вытряхивала пепельницы, собирала накопившиеся за день газеты. При этом она автоматически взглянула на развернутую страницу «Санди грэфик». Вообще новости она узнавала от случая к случаю, лишь иногда выхватывая взглядом отдельные, не связанные между собой сообщения. У нее никогда не хватало времени сесть и внимательно почитать газету. Она знала, что линия Мажино прорвана, знала о бомбежках Роттердама, о капитуляции голландской армии, а прошлой ночью девочки в спальне шептались о неминуемом

падении Бельгии. События на фронтах развивались наихудшим образом, но должен был наступить перелом. Сейчас внимание Брайони привлекла одна вроде бы утешительная фраза — она была значительна не сама по себе, а тем, что за ней неловко пытались скрыть: британская армия в Северной Франции «совершает стратегическое отступление на заранее подготовленные позиции». Даже Брайони, совершенно не знакомой ни с военной стратегией, ни с особенностями журналистских штампов, стало ясно, что это эвфемизм бегства. Наверное, она была последним человеком в больнице, который осознал наконец, что происходит. До сих пор она воспринимала освобождающиеся палаты, поток медикаментов и оборудования как обычные военные приготовления. Слишком уж она была погружена в собственные незначительные заботы. Теперь стали вспоминаться отдельные газетные заголовки, они постепенно обретали смысл и сделали очевидным для нее то, что остальные давно знали и к чему администрация больницы тщательно готовилась: немцы вышли к Ла-Маншу, британская армия попала в тяжелейшее положение. Во Франции все обернулось очень плохо, хотя никто пока не представлял, насколько плохо. Вот, стало быть, что означали все эти предзнаменования, этот витавший повсюду немой страх, который она подсознательно ощущала.

Приблизительно в то время, когда последнего пациента проводили домой, пришло письмо от отца. После кратких приветствий и вопросов об учебе и здоровье он сообщал ей то, что узнал от коллег и чему получил подтверждение из семейных источников: Пол Маршалл и Лола Куинси венчаются через неделю, в субботу, в церкви Святой Троицы клэпемского прихода. Отец никак не комментировал новость и не вдавался в причины, побудившие его поделиться ею с дочерью, просто небрежно приписал внизу страницы: «Любовь берет свое».

Все утро, выполняя привычные обязанности, Брайони думала об этом сообщении. Она не видела Лолу с того самого лета, поэтому невеста у алтаря представлялась ей тщедушной пятнадцатилетней девочкой. Помогая выписывающейся пациентке, пожилой даме из Ламбета, собирать чемодан, Брайони старалась сосредоточиться на ее жалобах. Дама сломала палец на ноге, ей велели двенадцать дней не вставать с постели, а она пролежала всего семь. Посадив пациентку в кресло-коляску, санитар увез ее. Отрабатывая смену в моечной, Брайони сделала в уме кое-какие подсчеты. Лоле сейчас двадцать, Маршаллу скоро двадцать девять. В самом факте их женитьбы не было ничего удивительного; ее шокировало то, что этот брак служил доказательством. Он стал возможен благодаря ей.

В течение всего дня, снуя вдоль коридоров по отделению, Брайони с

новой силой ощущала знакомое чувство вины. Она скоблила освободившиеся тумбочки, помогала мыть карболкой кровати, мела и мыла полы, моталась по поручениям начальства на аптечный склад и в канцелярию с удвоенной скоростью, не переходя при этом на бег, помогала в отделении мужской терапии делать перевязку после вскрытия фурункула и прикрывала Фиону, которой пришлось пойти к стоматологу. В этот первый действительно теплый день мая она вся взмокла под своей накрахмаленной формой. Но единственное, чего ей хотелось, это, отработав смену, принять ванну и проспять до следующей смены. Впрочем, Брайони понимала, что это бесполезно. Какой бы тяжелой и грязной работой она ни занималась, как бы хорошо и усердно ее ни выполняла, какую бы хорошую память ни оставила по себе со временем в аудиториях и на спортивных площадках колледжа, она никогда не сможет возместить ущерб, который причинила. Ей нет прощения.

Впервые за много лет ей захотелось поговорить с отцом. Его отстраненность она всегда воспринимала как должное и ничего не ждала. Может, посылая ей письмо с таким специфическим сообщением, отец хотел дать понять, что знает правду? После чаепития, несмотря на крайнюю нехватку времени, она направилась к телефону-автомату, находившемуся за больничной территорией, неподалеку от Вестминстерского моста, и попыталась дозвониться к нему на службу. Телефонистка соединила ее с любезным гнусавым голосом, после чего связь прервалась, пришлось набирать номер снова. Но срыв повторился, а на третий раз после слов: «Сейчас попытаюсь соединить» — на линии вообще воцарилась полная тишина.

К тому времени у нее кончились монеты и пора было возвращаться в отделение. Она постояла немного возле телефонной будки, любуясь огромными кучевыми облаками, плывущими по бледно-голубому небу. Вспухшая от весеннего паводка река несла воды к морю, отражение облаков и неба на ее поверхности играло серыми и зелеными бликами. Биг-Бен, казалось, нескончаемо заваливался на фоне движущегося неба. Несмотря на выхлопные газы, в воздухе витал запах весенней свежести — то ли скошенной в больничном саду травы, то ли молодой листвы растущих вдоль реки деревьев. Хотя воздух сверкал на солнце, ощущалась чудесная прохлада. Ничего более приятного она не видела много дней, а то и недель. Слишком много времени приходилось проводить в помещении, пропитанном запахами дезинфекции. На обратном пути Брайони повстречались два молодых офицера, врачи из военного госпиталя, располагавшегося на набережной Миллбэнк, они дружески улыбнулись ей.

Она опустила взгляд, тут же пожалев, что хоть как-то не ответила на их приветствие. Не обращая внимания ни на что вокруг, они пошли через мост, занятые разговором. Один из них высоко поднял руку, словно показывая, как достает что-то с полки, и его спутник рассмеялся. На середине моста они остановились, с восхищением глядя на проплывавшую канонерку. Брайони отметила, как свободны и жизнерадостны офицеры медицинской службы, и ей захотелось хоть с опозданием улыбнуться им в ответ. Значит, в душе ее еще теплились, казалось бы, напрочь забытые чувства. Она опаздывала, и теперь у нее не было иного выхода, кроме как побежать, несмотря на отчаянно жмущие туфли. Сюда, на грязный, не промытый карболкой тротуар, власть сестры Драммонд не распространялась. Не было ни пожара, ни кровотечений, но, совершая пробежку до больничных ворот со всей возможной в туго накрахмаленном переднике скоростью, она испытала удивительное, почти физическое наслаждение — словно вкусила глоток свободы.

Теперь больница погрузилась в усталое ожидание. В ней оставались только желтушные моряки. Сестры с восторгом и упоением обсуждали их: то, как строго они соблюдают дисциплину, даже находясь на больничных койках, как штопают носки, как, несмотря ни на какие уговоры, сами стирают белье и сушат его на струнах, протянутых вдоль радиаторов. Те, кто оставался пока лежачим, терпели жуткие мучения, но ни за что не просили принести утку. Было сказано, что порядок в палатах моряки поддерживают сами: подметают и моют полы тяжелыми швабрами. Такая аккуратность мужчин была девушкам в диковинку, и Фиона заявила, что ни за что не выйдет замуж за человека, не прошедшего службу в королевском флоте.

Без всякого видимого повода стажерок на полдня освободили от работы и занятий, однако запретили снимать форменную одежду. После обеда Брайони с Фионой, перейдя через мост и миновав здание парламента, отправились в Сент-Джеймссский парк. Обошли озеро, выпили чаю, стоя за столиком у кафетерия, взяли напрокат кресла, чтобы послушать адаптированного для медных духовых инструментов Элгара в исполнении оркестра, состоявшего из пожилых представителей Армии Спасения. В те майские дни, до того как стало ясно, что происходит во Франции, до сентябрьских бомбежек, в Лондоне были заметны признаки войны, но лондонцы еще не осознали ее начала. Обилие военных в форме, плакаты, предупреждающие об опасности «пятой колонны», два огромных противовоздушных навеса, установленные посреди парковых лужаек, и,

разумеется, засилие бюрократии. Пока девушки сидели в своих взятых напрокат креслах, к ним подошел человек в фуражке, с повязкой на рукаве и потребовал, чтобы Фиона показала ему свой противогаз. В целом же все было тихо и невинно. Даже тревога по поводу ситуации во Франции, охватившая всю страну, в этот солнечный день словно отступила на время. Еще не приходили похоронки, а без вести пропавшие считались живыми. В своей обыденности обстановка казалась какой-то призрачной. Молодые матери возили по дорожкам коляски с поднятым верхом, а в них, защищенные от прямых солнечных лучей, лежали младенцы с мягкими темечками и впервые взирали на огромный мир. Дети, которых не увезли в эвакуацию, бегали по траве с криками и хохотом, оркестр безнадежно пытался справиться со слишком сложной для него мелодией, а взять кресла напрокат все еще стоило два пенса. Трудно было представить, что менее чем в сотне миль отсюда разразилась катастрофа.

Брайони продолжала думать о своем. Возможно, Лондон подвергнется газовой атаке или на город будет сброшен немецкий десант, поддержанный с земли «пятой колонной», до того, как состоится свадьба Лолы. Брайони слышала, как санитар-всезнайка не без некоторого удовольствия говорил, будто теперь ничто не сможет остановить немецкую армию. У них есть новая тактика, а у нас — нет, они модернизировали свою армию, мы — нет. Нашим генералам не мешало бы прочесть книгу Лидделла Харта или заглянуть в комнату санитаров во время чаепития и внимательно прислушаться к их разговорам.

Фиона тем временем рассказывала о своем маленьком братике, о том, какие умные вещи он изрекает за обеденным столом. Делая вид, что слушает, Брайони думала о Робби. Если он сражался во Франции, возможно, его уже взяли в плен. Или того хуже... Как переживет такое сообщение Сесилия? Когда музыкальная тема, одушевленная импровизационными диссонансами, воспарила к своей пронзительной кульминации, Брайони, вцепившись в деревянные подлокотники, закрыла глаза. Если с Робби что-то случится, если Сесилии и Робби не суждено быть вместе... Ее душевные муки и всеобщая тревога в связи с войной всегда казались ей ипостасями разных миров, но теперь она поняла, что война может усугубить ее преступление. Единственным приемлемым решением проблемы было бы отменить прошлое. Если Робби не вернется... Брайони страстно мечтала, чтобы у нее было другое прошлое, чтобы она сама была кем-нибудь другим, ну, например, душевной девушкой вроде Фионы с ее незамутненным будущим, с ее любящей огромной семьей, у членов которой все собаки и кошки неизменно носили

латинские имена, с домом, ставшим любимым местом встреч творческой элиты Челси. Единственное, что требовалось от Фионы, — это жить своей жизнью и следовать по заданному пути в ожидании предначертанных судьбой событий. Что же касается Брайони, то ей казалось, будто ее жизнь протекает в комнате, не имеющей выхода.

— Брайони, что с тобой?

— Что? Нет, ничего. Все в порядке, спасибо.

— Я тебе не верю. Принести воды?

Под гром аплодисментов — судя по всему, никто не сетовал на то, что оркестр играл плохо, — Брайони наблюдала, как Фиона шла через лужайку мимо музыкантов, мимо человека в коричневом костюме, выдававшего кресла, к кафетерию, приютившемуся среди деревьев. Следующим номером программы оркестра Армии Спасения был «Прощай, черный дрозд» — куда более подходящее для этих музыкантов произведение. Слушатели, сидевшие в креслах, присоединились к исполнителям, хлопая в такт. Импровизированный хор звучал несколько вымученно, не знакомые друг с другом певцы смущенно переглядывались, когда чей-нибудь голос выбивался из общего ряда, однако Брайони решила не обращать на это внимания. Пение так или иначе взбодрило ее, и, когда Фиона вернулась с чашкой воды, а оркестр уже исполнял попури из любимых старых песен, включая «Долог путь до Типперери», разговор коснулся работы. Девушки посплетничали насчет новообращенных: кто из них им нравится, а кто раздражает; о сестре Драммонд, чей голос Фиона умела имитировать, о сестре-хозяйке, почти такой же величественной и недоступной, как главный врач. Они припоминали эксцентричные выходки пациентов и делились огорчениями: Фиону бесило то, что ей не разрешают класть вещи на подоконник, Брайони — то, что в одиннадцать часов выключают свет. Но говорили они обо всем этом с явным, хотя и застенчивым удовольствием и постепенно, забываясь, смеялись все громче, так что люди стали оборачиваться, картинно прижимая пальцы к губам. Однако делали они это скорее шутливо, большинство тех, кто оглядывался на девушек, снисходительно улыбались, поскольку было нечто особенное в этих двух молодых медсестрах — медсестрах военного времени, — в их бело-розовых одеяниях, темно-синих накидках с капюшонами и безукоризненно белых, почти по-монашески безупречных чепцах. Девушки отдавали себе отчет в собственной неуязвимости и, весело насмешничая, хихикали все громче. Фиона обнаружила недюжинные способности к подражанию, а в ее юморе, при всей его бесшабашности, был оттенок жестокости, что нравилось Брайони. Ее подруга по-своему воспроизводила говор кокни,

свойственный сестре Лэмбет, и, безжалостно преувеличивая, пародировала мольбы и нытье больных, наблюдательно подмечая их невежество: «Сестра, сэрце у мене прыгат. Оно у мене не с той стороны. У мамыши так же было», «А правда, шо дети выпрыгиват снизу, сестра? И как это мой выпрыгнет, я ж вся закрытая», «У мене было шесть ребятенков, потом поехала я на автобусе, на восемьят восьмом, из Брикстона, и потеряла одного. Наверно, на сиденье забыла. Ой, сестра, я ж так его и не нашла. Уж как я убивалась — все глазоньки выплакала».

На обратном пути к Парламент-сквер у Брайони от того, что они так много смеялись, слегка кружилась голова и ощущалась слабость в коленках. Она удивлялась, как быстро, оказывается, может меняться ее настроение. Чувство вины и тревоги не исчезло, но отодвинулось на задний план, переживания временно утратили остроту. Держась за руки, девушки перешли Вестминстерский мост. Половодье начинало спадать, и в ярком солнечном свете изрытый мириадами дождевых червей ил, оставшийся на берегах, казался сияющей фиолетовой пленкой, испещренной крохотными резкими штрихами. Свернув на Лэмбет-Пэлэс-роуд, девушки увидели перед въездом в больничные ворота колонну армейских грузовиков и притворно тяжело вздохнули: опять распаковывать и раскладывать оборудование.

Но очень скоро они заметили среди грузовиков санитарные машины, а подойдя ближе, увидели носилки, десятки носилок, беспорядочно сваленных на землю, а также кучи полевых форм и грязных бинтов. Тут и там группами стояли оцепеневшие неподвижные солдаты, одни были в кровавых бинтах, другие лежали на земле. Больничные грузчики вытаскивали из кузовов винтовки. Между ранеными сновали сестры, врачи и санитары. Перед входом стояло пять-шесть каталок — явно недостаточно. С минуту Брайони и Фиона ошарашенно смотрели на все это, потом не сговариваясь бросились вперед.

Уже через несколько секунд они были среди раненых. Свежий весенний ветерок не мог разогнать смрада выхлопных газов и гниющих ран. Лица и руки солдат были черными, и, с одинаково стриженными тусклыми короткими волосами, с бирками, выданными им на сборных санитарных пунктах, они были почти неотличимы друг от друга — дикое племя мужчин, пришедших из страшного мира. Даже те, что стояли, казались спящими. Из больницы выбегали все новые врачи и медсестры. Один из врачей принял на себя обязанности разводящего, и система сортировки раненых четко заработала. Самых тяжелых укладывали на каталки. Впервые за весь период обучения к Брайони обратился врач-ординатор, которого она никогда прежде не видела:

— Беритесь за тот конец носилок.

Сам врач взялся за передние ручки. Ей еще не доводилось носить носилки, и ее поразило, какие они тяжелые. Когда они с врачом и раненым уже были в здании, прошли ярдов десять по коридору, она почувствовала, что левая рука немеет. На кителе раненого были сержантские лычки. Он был бос, и от его посиневших пальцев исходил гнилостный запах. Повязка на голове покрылась алыми и черными пятнами. Края разорванных брюк въелись в рану на бедре. Брайони показалось, что она видит выпирающий осколок белой кости. Каждый их шаг причинял сержанту чудовищную боль. Его веки были плотно сомкнуты, но рот беспрерывно открывался и закрывался в беззвучной мольбе. Если левая рука подведет Брайони, носилки накрелятся. Когда они вошли в лифт и наконец поставили носилки на пол, пальцы у нее уже почти отнялись. Пока лифт медленно поднимался, врач определял пульс у раненого и громко сопел при этом. На Брайони он не обращал никакого внимания. Третий этаж проплывал мимо, и она думала только об одном: сможет ли она преодолеть последние несколько ярдов до палаты. Наверное, она обязана была предупредить врача, что не сможет. Но врач, стоя к ней спиной, уже с лязгом раздвинул железные створки наружных дверей лифта и велел поднимать носилки. Она молилась лишь о том, чтобы левая рука не отказала и чтобы врач шел побыстрее. Если она уронит носилки, то не переживет позора. Раненый с почерневшим лицом продолжал открывать и закрывать рот, словно что-то жуя. Его язык был покрыт белым налетом. Почерневшее, так же как лицо, адамово яблоко поднималось и опускалось. Брайони не могла отвести от него взгляд. На пороге палаты ее пальцы начали соскальзывать с ручек. На ее счастье, кровать оказалась возле двери, рядом уже стояли медсестра и опытная санитарка. Когда носилки расположили параллельно кровати, пальцы Брайони разжались, но она вовремя подставила колено. Деревянная ручка впиалась ей в бедро. Носилки закачались, однако медсестра подхватила их. У раненого вырвался вздох, напоминающий вздох изумления, словно он не верил, что боль может быть такой ужасной.

— Девушка, ради бога, — пробормотал врач.

Они переложили сержанта на кровать.

Брайони постояла немного, не зная, нужна ли она здесь еще. Но теперь все трое хлопотали над раненым и не обращали на нее никакого внимания. Санитарка снимала повязку с его головы, сестра разрезала брюки. Ординатор, подойдя ближе к свету, изучал бирку, которую оторвал от рубашки сержанта. Брайони тихонько кашлянула, сестра оглянулась, явно раздраженная тем, что практикантка все еще здесь.

— Не бездельничайте, сестра Толлис. Спускайтесь вниз и помогайте!

Брайони униженно побрела назад, чувствуя, как в животе разливается ощущение пустоты. В первый же момент, когда война коснулась ее непосредственно, она оказалась не на высоте. Если ее опять заставят нести носилки, она не продержится и полдороги до лифта. Но и отказаться не посмеет. А если она выпустит ручки, то просто уйдет, соберет вещички и отправится в Шотландию, запишется там в добровольческую Земледельческую армию, на сельскохозяйственные работы. Так будет лучше для всех. Проходя по коридору нижнего этажа, она увидела Фиону, державшую передний край носилок, которые несли навстречу. Фиона была сильнее Брайони. Лица человека, лежавшего на носилках, почти не было видно под бинтами, открытым оставался лишь черный овал на месте рта. Девушки встретились взглядами, и что-то пробежало между ними: потрясение или стыд оттого, что еще совсем недавно они хохотали в парке.

Выйдя на улицу, Брайони с облегчением заметила, что последние носилки поднимают на каталку и санитары ждут, чтобы увезти ее. Опытные медсестры, в том числе и из ее отделения, стояли, выстроившись в шеренгу, с чемоданами у ног. Однако времени расспрашивать, куда их направляют, не было. Видно, где-то происходило нечто еще более ужасное. Теперь дошла очередь до ходячих раненых. На улице их оставалось больше двухсот. Какая-то сестра велела Брайони отвести пятнадцать человек в палату сестры Беатрис. Они пошли за ней цепочкой по двое, как школьники на прогулке. У одних были подвязаны руки, другие имели черепные травмы или ранения грудной клетки. Трое ковыляли на костылях. Никто не разговаривал. У дверей лифта образовалась пробка из каталок: одни следовало спустить в полуподвал, где находились операционные, другие — поднять в палаты. Брайони нашла место в нише, где раненые на костылях могли подождать сидя, велела им никуда не уходить, а остальных повела по лестнице пешком. Двигались они медленно, отдыхая на каждой площадке.

— Уже недалеко, — все время повторяла она, но подопечные, казалось, не слышали ее.

О прибытии в палату Брайони, согласно правилам, была обязана доложить старшей сестре. Но той не оказалось в кабинете. Брайони обернулась к команде, стоявшей у нее за спиной. Однако раненые смотрели не на нее. Они вперили взгляды куда-то поверх ее головы, в викторианский простор величественной палаты с высокими колоннами, пальмами в кадках и аккуратно выстроенными кроватями, застеленными одеялами с отворотами чистейших простыней.

— Подождите здесь. Придет старшая сестра и укажет каждому его

кровать, — сказала Брайони и направилась в дальний угол, где сестра и две санитарки обихаживали больного, но тут же услышала шаркающие шаги позади и, оглянувшись, увидела, что солдаты вползают в палату. Ужаснувшись, Брайони хлопнула в ладоши: — Назад, пожалуйста, отойдите назад и ждите.

Но они уже разбрелись по палате, каждый сам выбрал себе постель. Не получив указаний, не сняв ботинок, не приняв ванну, не пройдя санобработку, не переодевшись в больничные пижамы, они укладывались на кровати. На фоне подушек уже вырисовывались их черные лица и немытые слипшиеся волосы. Сестра решительным шагом вышла из своего угла, в величественной тишине палаты эхо удвоило дробь ее каблучков. Подойдя к кровати, на которой лицом вверх лежал и нянчил свою выскользнувшую из перевязи руку солдат, Брайони дернула его за рукав. Солдат вытянул ноги, на одеяле остался черный масляный след. Это она во всем виновата.

— Немедленно встаньте, — сказала Брайони, когда сестра уже стояла рядом, и тихо добавила: — Существует же определенная процедура.

— Раненым нужно поспать. Оставим процедуру на потом. — Сестра говорила с ирландским акцентом. Положив руку на плечо Брайони, она развернула ее так, чтобы видеть нагрудную карточку. — Сестра Толлис, отправляйтесь в свое отделение. Думаю, там вы нужнее, — добавила она и осторожно подтолкнула Брайони к выходу.

В этом отделении, в отличие от ее собственного, прекрасно обходились без дисциплинарных строгостей. Раненые уже спали, а она снова выставила себя идиоткой. Ну конечно же, им прежде всего необходимо выпасться. А она просто действовала так, как ее учили. В конце концов, не она устанавливала все эти правила. Ей в течение нескольких месяцев вдалбливали процедуру приема новых больных. Откуда ей было знать, что на самом деле это ничего не значит? Брайони негодовала, пока шла до своего отделения, но тут вспомнила о трех раненых на костылях, которых оставила ждать лифта, и поспешила вниз по лестнице. Ниша оказалась пустой, в коридоре тоже не было видно ее подопечных. Ей не хотелось демонстрировать собственную некомпетентность, расспрашивая сестер и санитаров. Вероятно, кто-то уже поднял раненых наверх. Больше она их никогда не видела.

Ее собственное отделение ввиду огромного количества раненых было преобразовано в нечто вроде перевалочного пункта для последующей неотложной хирургии. Впрочем, название значения не имело. Можно было назвать его и фронтовым эвакуационным пунктом. Набрали новых сестер и

старших санитарок. Пять или шесть врачей занимались самыми тяжелыми пациентами. Прибыли два священника, один сидел у кровати лежавшего на боку раненого, другой читал молитву над умершим, с головой накрытым одеялом. На всех сестрах и санитарках были марлевые маски, у всех, в том числе и у докторов, засучены рукава. Медсестры бесшумно сновали между кроватями, делали уколы — скорее всего морфия, — ставили капельницы для переливания крови или плазмы. Красные и желтые пластмассовые мешочки свисали с высоких стоек, как экзотические фрукты. Практикантки разносили по палатам бутылки с горячей водой. Просторные помещения были наполнены тихим резонирующим гулом, больничным гулом, который то и дело пронизывали стоны и крики раненых. Все койки были заняты, вновь прибывавших оставляли на носилках, которые ставили между кроватями, чтобы иметь возможность и этим больным делать внутривенные вливания. Два санитары всегда были наготове, чтобы выносить покойников. Склонившись над кроватями, сестры снимали с раненых грязные повязки. Каждый раз приходилось решать, что лучше: делать это медленно и осторожно или резко рвануть, чтобы боль хотя бы была кратковременной. В этом отделении предпочитали второе, что чаще всего и становилось причиной криков. И повсюду висел специфический спертый запах — смесь вязкого кисловатого запаха свежей крови, вони грязной одежды и пота, солянки, дезинфицирующих средств, медицинского спирта, а поверх всего — смрад гангренозной плоти. Двум раненым, отправленным в операционную, пришлось сделать ампутацию.

Ввиду того что большинство старших сестер откомандировали в эвакуационные госпитали, расположенные ближе к фронтовой зоне, а поток раненых все прибывал, теперь в отделении распоряжались сестры среднего звена. Практиканток из набора Брайони наделили новыми обязанностями. Для начала ей велели снять грязную повязку с ноги капрала, лежавшего на носилках у двери, и обработать рану. Новую повязку накладывать не следовало до того, как рану осмотрит врач. Капрал лежал лицом вниз. Когда она, опустившись на колени и приблизив губы к его уху, объяснила, что собирается делать, его лицо исказила гримаса.

— Простите заранее, если я буду кричать, сестра, — пробормотал он. — Да, вы уж промойте ее. Я не хочу потерять ногу.

Брючина была разорвана. Наложенная кое-как повязка казалась относительно недавней. Брайони начала разматывать бинт. Когда продеть руку под голень раненого оказывалось невозможно, она прибегала к помощи ножниц.

— Меня подцепило в Дувре, на набережной.

Теперь рану, распоровшую ногу от колена до щиколотки, прикрывала только марля, почерневшая от свернувшейся крови. Черной была и вся безволосая нога. От ужаса Брайони приоткрыла рот.

— Как же вас угораздило? — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал бодро.

— Меня взрывной волной отбросило на забор из рваной рифленой жести.

— Не повезло. Сейчас я буду снимать марлю.

Она осторожно подцепила уголок, капрал поморщился.

— Сосчитайте до трех и быстро рваните, — попросил он и стиснул кулаки.

Брайони крепко зажала край марли большим и указательным пальцами и резко дернула. В голове промелькнуло детское воспоминание о знаменитом фокусе со скатертью, который показали как-то у нее на дне рождения. Марля оторвалась в один прием со скрипучим звуком — словно разъединили два склеенных листа бумаги.

— Меня сейчас вырвет, — сказал капрал.

Она быстро поднесла к его рту лоток. Раненый рыгнул, но и только. В складках кожи на затылке появились капельки пота. Рана имела не менее восемнадцати дюймов в длину, а может, и больше, и изгибалась чуть ниже колена. Швы были наложены неумело и неровно. В нескольких местах один край разорванной кожи накладывался на другой, обнажая жировой слой с крохотными вкраплениями, похожими на миниатюрные гроздья винограда, проросшие сквозь расщелины.

— Не двигайтесь, — попросила Брайони. — Я буду обрабатывать кожу вокруг и не хочу задеть рану. — По правде говоря, ей вообще не хотелось прикасаться к его ноге.

Нога была черной и мягкой, как перезрелый банан. Брайони обмакнула вату в спирт и, страшась, что кожа начнет сходить вместе с грязью, осторожно провела тампоном вокруг щиколотки в двух дюймах от краев раны. Потом еще раз, уже решительнее. Кожа оказалась упругой, поэтому Брайони усиливала нажим, пока капрала не передернуло. Она убрала руку и осмотрела очищенные участки. Тампон стал черным. Это не гангрена. Она не смогла сдержать вздох облегчения, у нее даже перехватило дыхание.

— В чем дело, сестра? — спросил раненый. — Вы можете сказать мне всю правду. — Приподнявшись на локтях, он попытался через плечо заглянуть ей в глаза. В его голосе звучал страх.

Брайони сглотнула и невозмутимо произнесла:

— Мне кажется, заживление идет хорошо.

Она оторвала еще клочок ваты. Нога была в мазуте, смешанном с прибрежным песком, отмыть его было нелегко. Через несколько минут Брайони, двигаясь вдоль раны, очистила кожу уже дюймов на шесть и тут почувствовала, как ей на плечо опустилась рука, и услышала женский голос:

— Хорошо, сестра Толлис, но нужно немного побыстрее.

Брайони стояла на коленях, склонившись над носилками, зажатыми между соседними кроватями, поэтому обернуться было трудно. А к тому времени, когда ей это удалось, она увидела лишь удалявшуюся знакомую фигуру. Когда она начала промывать кожу между швами, раненый уже спал. Он дергался и вздрагивал во сне, но не просыпался. Изнеможение действовало как снотворное. Когда, закончив обработку, она распрямилась и собрала грязные тампоны, подошел врач и отпустил ее.

Тщательно вымыв руки, она получила новое задание. Теперь, когда у нее за плечами было пусть маленькое, но достижение, все выглядело по-иному. Ей поручили поить солдат, пребывавших в забытии. Было важно предотвратить их обезвоживание. Ну же, рядовой Картер. Попейте и можете спать дальше. А сейчас приподнимитесь... Одной рукой она держала маленький эмалированный поильник, пока они тянули воду через его носик, другой прижимала к фартуку грязные головы этих гигантских младенцев. Потом снова отмывала руки и разносила судна. Никогда еще это занятие не вызывало у нее так мало неприятных ощущений. Ее послали ухаживать за солдатом, раненым в живот. Этот несчастный лишился части носа. Сквозь дыру в окровавленном хряще Брайони видела зев и изодранный корень языка. От нее требовалось вымыть несчастному лицо. Как и в первом случае, этот человек был перепачкан мазутом и вьевшимся в кожу песком. Раненый не спал, как она догадалась, но лежал с закрытыми глазами. Морфий успокоил его, он медленно раскачивался из стороны в сторону, будто в голове у него звучала музыка. Когда из-под грязевой маски стало проступать лицо, она вспомнила проявляющиеся картинки, которые так любила в детстве: трешь тупым концом карандаша — и возникает рисунок. Среди раненых вполне мог оказаться Робби, подумала она. Вот так же она могла снять повязку, осторожно начать оттирать ватным тампоном пятна грязи, и вдруг показались бы знакомые черты, а он повернул бы к ней благодарное лицо и, увидев, кто она, взял ее за руку и молча сжал в знак прощения. А потом позволил бы ей укрыть его одеялом и убаюкать.

Обязанностей у Брайони становилось все больше. С инструментами и лотком ее послали в соседнюю палату к летчику, у которого в ноге застряли

осколки шрапнели. Тот внимательно наблюдал, как она раскладывает инструменты.

— Если осколки надо вынимать, я предпочитаю операцию, — сказал он.

Руки у Брайони задрожали. Но она даже удивилась, как легко ей удалось справиться с волнением и заговорить бодро и уверенно, как умеют некоторые сестры, не допускающие никаких возражений. Она поставила ширму у его кровати и сказала:

— Не говорите глупостей. Мы вынем их — глазом моргнуть не успеете. Как это случилось?

Объясняя, что занимался строительством взлетных полос на полях Северной Франции, летчик по-прежнему не сводил глаз с металлических пинцетов, которые она вынимала из автоклава. Они сверкали в лотке с синей каемкой.

— Мы шли на работу, в небе появился «джерри»^[35] и сбросил на нас свой груз. Мы рванули назад, на другое поле, он — за нами, мы — еще дальше. И так — пока не уперлись в море.

Брайони улыбнулась и откинула одеяло.

— Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь, хорошо?

Его ноги уже были отмыты от мазута и въевшейся грязи. Из мышц голени торчали осколки. Раненый приподнялся, взволнованно глядя на Брайони.

— Лягте на спину, чтобы я могла осмотреть ногу.

— Они мне нисколько не мешают, — заверил летчик.

— Пожалуйста, лежите спокойно.

На голени виднелось несколько осколков. Вокруг каждого кожа немного вспухла и воспалилась.

— Сестра, они мне и правда не мешают. Я даже рад буду сохранить их на память. — Он неубедительно рассмеялся. — Будет что показывать внукам.

— Они вызывают воспаление, — объяснила она. — И могут уйти внутрь.

— Внутрь?

— Да, внутрь, а потом — попасть в кровь, и кровотоком их может отнести к сердцу. Или в мозг.

Похоже, он поверил ей, потому что лег на спину и вздохнул, адресуясь к высокому потолку:

— Черт с вами. Ой, извините, сестра. Просто я не думал, что это будут делать уже сегодня.

— Давайте вместе сосчитаем их. Давайте?

Они начали считать вслух, хором. Восемь. Брайони легонько толкнула летчика в грудь:

— Они выйдут легко. Лежите. Я постараюсь сделать все как можно быстрее. Если вам так будет легче, ухватитесь руками за спинку кровати.

Ноги раненого были напряжены и, когда она взяла в руку пинцет, задрожали.

— Не задерживайте дыхание. Постарайтесь расслабиться.

— Легко сказать — расслабиться! — хрипло хохотнул он.

Брайони подстраховывала правую руку левой. Было бы удобнее сесть на край кровати, но это считалось непрофессиональным и строго запрещалось. Когда она положила левую ладонь на невоспаленный участок ноги, больной поморщился. Она нашла самый маленький осколок на краю пораженного участка. Его выступающий наружу конец имел треугольную форму. Брайони ухватила его пинцетом, выдержала паузу, потом быстро и уверенно, но не дергая, удалила осколок.

— Мать твою! — не сдержал летчик вырвавшееся ругательство.

Слова, рикошетом отразившись от стен, повторились несколько раз. В палате по ту сторону ширмы не то чтобы все замерло, но стало явно тише. Брайони еще сжимала пинцетом окровавленный кусочек металла с острым концом длиной в три четверти дюйма, когда за ширмой послышались решительные шаги. Брайони бросила осколок в лоток. Сестра Драммонд чуть сдвинула край ширмы. Она совершенно спокойно взглянула на табличку с именем, прикрепленную к изножью кровати, оценила состояние раненого и, глядя ему прямо в глаза, тихо произнесла:

— Как вы посмели? Как вы посмели так выражаться в присутствии одной из моих сестер?

— Простите меня, сестра. Вырвалось.

Сестра Драммонд с презрением заглянула в лоток.

— По сравнению с ранами тех, кто поступил к нам за последние несколько часов, авиатехник Янг, ваши — пустяк. Можете считать, вам повезло. Так что извольте держаться мужественно и не позорить честь мундира. Продолжайте, сестра Толлис.

В тишине, следовавшей за уходом старшей сестры, Брайони весело сказала:

— Ну, продолжим? Осталось семь. Когда все будет позади, я принесу вам бренди.

Раненый вспотел, дрожал всем телом, костяшки пальцев, сжимавших спинку кровати, побелели, но он не проронил больше ни звука, пока она

вынимала остальные осколки.

— Вы можете кричать, если хотите, — разрешила Брайони.

Но летчик вовсе не жаждал новой встречи с сестрой Драммонд, и Брайони его прекрасно понимала. Самый большой осколок она оставила напоследок. Его не удалось вытащить одним движением. Раненый выгнулся и, стиснув зубы, зашипел. Со второй попытки осколок вышел из раны на два дюйма. Окончательно вытащить его удалось только с третьей. Брайони подняла осколок повыше и показала летчику — окровавленный стилет длиной в четыре дюйма с зазубринами.

Раненый смотрел на него с изумлением.

— Промойте его, сестра. Я увезу его домой, — попросил он и, уткнувшись в подушку, заплакал. Вероятно, причиной слез была не только боль, но и произнесенное вслух слово «домой».

Отправившись за бренди, Брайони завернула в моечную, ее вырвало.

Потом она еще долго снимала старые повязки, мыла и бинтовала наименее серьезные раны, пока не поступило распоряжение, которое привело ее в ужас:

— Перебинтуйте лицо рядового Латимера.

Она уже пыталась покормить этого раненого из чайной ложки через то, что осталось от его рта, но пища проливалась мимо, и Брайони как могла старалась избавить его от унижения. Испытывая невыносимую боль от глотательных движений, он отталкивал ее руку. У него не было половины лица. Теперь Брайони боялась не столько того, что увидит, сняв бинты, сколько укоризненного взгляда его больших карих глаз: что же вы со мной сделали? Он общался с персоналом при помощи тихого мычания, идущего из глубины гортани как слабый стон досады.

— Мы вас скоро вылечим, — твердила ему Брайони, не в силах придумать ничего другого.

Вот и сейчас, приближаясь к его кровати с чистыми бинтами, она не нашла ничего лучше, кроме как оживленно воскликнуть:

— Привет, рядовой Латимер! Это снова я.

Он взглянул на нее, не выказав никаких признаков узнавания. Снимая зажим, с помощью которого повязка крепилась у него на макушке, Брайони сказала:

— Все будет хорошо. Вы выйдете отсюда через неделю-другую, вот увидите. Не всем, кто здесь лежит, мы можем это обещать.

Обычный прием: всегда найдется тот, кому еще хуже. Например, полчаса назад капитану из Восточносуррейского полка — того самого, куда записалось большинство парней из ее деревни, — провели множественную

ампутацию. А некоторые раненые вообще умерли.

С помощью хирургических щипцов Брайони начала осторожно отдирать слой за слоем насквозь пропитанную кровью, задубевшую марлю, прикрывавшую страшную рану. Когда был снят последний слой, сходство с наглядным пособием по анатомии, манекеном, у которого половина лица была лишена кожи и мышц, оказалось весьма отдаленным. Ее взору предстала живая окровавленная развороченная плоть. Сквозь отсутствующую щеку были видны нижние и верхние задние коренные зубы и блестящий, неестественно длинный язык. А выше, там, куда она страшилась посмотреть, — мышцы, окружающие глазную впадину. Вид был слишком интимный, не предназначенный для разглядывания. Рядовой Латимер превратился в монстра и наверняка догадывался об этом. Была ли у него до войны любимая девушка? Сможет ли она и теперь любить его?

— Скоро мы вас вылечим, — снова солгала Брайони и поспешила закрыть рану чистыми марлевыми салфетками, пропитанными формалином. Когда она уже закрепляла зажимом бинты, он издал свое невразумительное мычание.

— Принести утку? — спросила она.

Он покачал головой и снова замычал.

— Вам неудобно лежать?

Снова не то.

— Хотите воды?

Кивок. От губ у него остался лишь крохотный уголок. Она вставила в него носик поильника и начала вливать воду. При каждом глотке раненый морщился, что, в свою очередь, вызывало фантомные боли отсутствующих мышц. Он страшно мучился, но, когда она убрала поильник, поднял руку и потянулся к ее запястью. Его все еще мучила жажда. А может, не столько жажда, сколько боль. Так продолжалось несколько минут — чтобы отвлечься от чудовищной боли, он просил пить.

Брайони посидела бы с ним, но у нее было столько дел: опытным сестрам постоянно требовалась помощь или какой-нибудь солдат просил, чтобы к нему подошли. Передохнуть удалось лишь тогда, когда отходившего от наркоза раненого вырвало прямо ей на фартук и пришлось идти за другим. В коридоре, взглянув в окно, она с удивлением увидела, что уже темно. С тех пор как они с Фионой вернулись из парка, минуло пять часов. Стоя в белье, Брайони завязывала тесемки чистого фартука, и тут вошла сестра Драммонд. Трудно было понять, что именно изменилось — сестра вела себя по-прежнему отстраненно-спокойно и распоряжения отдавала непререкаемым тоном, но за щитом самодисциплины под

воздействием увиденных бед проглянуло понимание.

— Сестра, пойдите помогите надеть пакеты Баньяна на руки и ноги капрала Макинтайра. И обработайте его кожу дубильной кислотой. Если будут трудности, приходите ко мне, — сказала она и тут же отвернулась, чтобы проинструктировать другую сестру.

Брайони видела, как капрала вносили в палату. Он был одним из тех, кого залило горячей нефтью на тонущем пароме возле Дюнкерка. Капрала выловила из воды и подняла на борт команда эсминца. Вязкая нефть намертво прилипла к коже и прожгла ее вместе с мышцами. То, что лежало теперь на кровати, больше походило на обгоревшие останки человеческого существа. Брайони подумала, что капралу ни за что не выжить. Трудно было даже найти вену, чтобы впрыснуть морфий. Некоторое время назад ей пришлось помогать двум санитаркам подкладывать под него судно. При малейшем прикосновении он пронзительно кричал.

Пакеты Баньяна представляли собой большие целлофановые контейнеры, которые наполнялись соевым раствором. В нем поврежденная конечность плавала, ни к чему не прикасаясь. Раствор должен был иметь строго определенную температуру, отклонение даже на один градус считалось недопустимым. Когда Брайони подошла, другая стажерка уже грела раствор на примусе, установленном на специальной передвижной подставке. Контейнеры следовало часто менять. Капрал Макинтайр находился в подвешенном состоянии, поскольку никакого прикосновения его кожа вынести не могла. Жалобно подвывая, он просил пить. Больные, страдающие ожогами, особо подвержены обезвоживанию. Губы у капрала были сплошь опаленными, распухшими, а язык так густо покрыт волдырями, что поить его через рот не представлялось возможным. Раствор, который пытались вводить капельницей, подтекал: поврежденные вены не удерживали иглу. Опытная сестра, которой Брайони прежде не видела, прикрепляла к стойке новый мешочек с жидкостью. Разведя в миске дубильную кислоту, Брайони взяла ватный тампон, собираясь начать обработку с ног, чтобы не мешать медсестре, искавшей вену на почерневшей руке капрала. Но та спросила:

— Кто вас сюда прислал?

— Сестра Драммонд.

Не поднимая головы, медсестра отрывисто сказала:

— Сейчас он слишком страдает. Не надо его трогать, пока я не введу гидрат. Идите займитесь чем-нибудь другим.

Брайони повиновалась. Она не помнила, сколько времени прошло после этого. Но когда ее послали за чистыми полотенцами, у входа в

ординаторскую стояла та самая медсестра. Она тихо плакала. Капрал Макинтайр скончался. На его месте уже лежал другой раненый.

Сокурсницы Брайони и студентки второго года обучения работали уже двенадцать часов без отдыха. Сколько времени провели в палатах без перерыва настоящие медсестры, никто не знал. Позднее Брайони поняла, что навыки, которые она приобрела, оказались полезными, особенно привычка повиноваться, но истинное понимание того, что значит быть медсестрой, пришло только в ту ночь. Ей прежде не доводилось видеть плачущих мужчин. Поначалу это шокировало, но уже через час она привыкла. В то же время стоицизм некоторых солдат поражал и даже пугал ее. Мужчины, которых привозили в палаты после ампутации, заставляли себя отпускать шуточки: «Чем же я теперь буду лягать свою мадам?» Все тайны человеческой анатомии откровенно обнажились: выпирающие сквозь мышцы кости, кощунственный вид кишок или глазного нерва...

Соприкоснувшись с этой новой, сокровенной стороной действительности, Брайони усвоила простую и очевидную истину, которую умом понимала и прежде, которая ни для кого, собственно, и не была секретом: человеческий организм, как и любой другой, есть материальный объект, его легко повредить, но трудно исправить. Она на максимально возможное для себя расстояние приблизилась к полям сражений, ибо каждый раненый, которому она помогала, нес в себе частицу того, что составляет суть войны. Кровь, мазут, песок, грязь, морская вода, пули, осколки шрапнели, моторное масло, запах кордита, пропотевшая насквозь полевая форма, в карманах которой завалялись протухшие остатки еды с прилипшими к ним размякшими крошками шоколада «Амо»... Каждый раз, подходя к умывальнику с высоко расположенными кранами и хозяйственным мылом в мыльницах, она выскребала вьевшийся между пальцами морской песок. Остальных практиканток своего курса Брайони воспринимала сейчас только как коллег, а не как подруг, она лишь мельком отметила, что одной из санитарок, помогавших подкладывать судно капралу Макинтайру, была Фиона. Порой, когда солдат, за которым ухаживала Брайони, особенно мучился от боли, она испытывала отстраненную нежность, которая позволяла ей, отвлекаясь от реальных страданий, без страха, как следует выполнять свою работу. Именно в эти часы она поняла, что значит быть истинной сестрой милосердия, и по-настоящему захотела овладеть профессией и получить личный жетон. Теперь она могла бы отказаться от писательских амбиций и посвятить себя работе в госпитале ради таких вот моментов возвышенной, обобщенной любви.

В половине четвертого утра, когда Брайони стелила очередную постель, ее позвали к сестре Драммонд. Чуть раньше она видела наставницу в моечной. Казалось, та была вездесуща и не гнушалась никакой работой.

— Помнится, вы немного говорите по-французски, — сказала сестра Драммонд.

— Всего лишь в школьном объеме, сестра.

Та кивком указала в угол палаты.

— Видите того солдата, который сидит на кровати? У него тяжелое ранение, но маску надевать не обязательно. Принесите стул, сядьте рядом, возьмите его за руку и поговорите с ним.

Брайони невольно почувствовала себя оскорбленной:

— Но я совсем не устала, сестра. Честное слово.

— Делайте, что я говорю.

— Слушаюсь, сестра.

На вид солдату можно было дать не больше пятнадцати, хотя Брайони уже заглянула в его карту и знала, что ему, как и ей, восемнадцать. Он сидел, обложенный подушками, и наблюдал за происходившим вокруг с каким-то непосредственным детским любопытством. Трудно было поверить, что он — солдат. У него было нежное лицо с тонкими чертами, черные брови, темно-зеленые глаза и пухлые мягкие губы. Белая кожа неестественно сияла, в глазах стоял нездоровый блеск, голова обмотана толстым слоем бинтов. Когда она приставила к кровати стул и села, он улыбнулся так, словно ждал ее, а когда она взяла его за руку, ничуть не удивился.

— Ну вот и ты наконец, — напевно растягивая гласные так, что она с трудом понимала его, сказал он по-французски. Рука у него была холодная и скользкая на ощупь.

— Сестра велела мне немного поболтать с вами, — ответила Брайони. Не зная, как по-французски будет «медсестра», она перевела слово буквально.

— Твоя сестра очень добра. — Он склонил голову набок и добавил: — Она всегда была добрая. У нее все в порядке? Что она теперь делает?

В его обаятельном взгляде светилось такое дружелюбие и такое мальчишеское желание снискать расположение, что Брайони оставалось лишь подыгрывать ему:

— Она тоже ухаживает за больными.

— Ну конечно. Ты же мне говорила. Она счастлива? Вышла замуж за того парня, который так ее любил? Знаешь, я не помню его имени.

Надеюсь, ты меня простишь. После ранения у меня с памятью плохо. Но мне сказали, что она скоро восстановится. Так как его звали?

— Робби. Только...

— Так они поженились и живут счастливо?

— Ну... надеюсь, скоро так и будет.

— Как я рад за нее.

— Ты не сказал, как тебя зовут.

— Люк. Люк Корне. А тебя?

Брайони запнулась.

— Толлис.

— Толлис. Какое милое имя! — В его устах оно и впрямь прозвучало мило.

Отвернувшись от нее, он с легким удивлением медленно обвел взглядом палату. Потом закрыл глаза и начал что-то бессвязно бормотать. Скучный запас французских слов не позволял Брайони понять все, но она уловила:

— Держи их и медленно считай на пальцах... шарф моей мамы... выбираешь цвет и живешь с ним всю жизнь...

Он помолчал несколько минут, продолжая сжимать ее руку. Когда заговорил снова, глаза его были по-прежнему закрыты.

— Хочешь, я скажу тебе одну странную вещь? Я первый раз в Париже.

— Люк, ты в Лондоне. Скоро мы отправим тебя домой.

— Мне говорили, люди здесь холодны и неприветливы, но это неправда. Они очень добры. И ты очень добра — вот снова пришла ко мне.

Какое-то время ей казалось, что он спит. У нее самой начали слипаться глаза — ведь она присела впервые за много часов. Но солдат снова так же медленно обвел глазами палату и сказал:

— Ну конечно же, ты та самая девушка с английским акцентом.

— Расскажи мне, чем ты занимался до войны, — попросила она. — Где жил? Ты это помнишь?

— А ты помнишь ту Пасху, когда приехала в Милло? — Своей слабой рукой он покачивал ее ладонь из стороны в сторону, словно хотел всколыхнуть ее память, а его зеленые глаза смотрели на нее с мольбой.

Брайони подумала, что не следует и дальше вводить его в заблуждение.

— Я никогда не была в Милло...

— Помнишь тот день, когда ты впервые вошла в нашу булочную?

Она придвинула стул поближе к кровати. Его бледное лоснящееся лицо раскачивалось перед ее глазами, по нему скользили световые блики.

— Люк, послушай меня...

— Кажется, за прилавком стояла моя мать. Или кто-то из моих сестер. Мы с отцом работали в глубине помещения, в пекарне. Я услышал твой акцент и вышел посмотреть на тебя...

— Я хочу объяснить тебе, где ты находишься. Ты не в Париже...

— На следующий день ты пришла снова, на этот раз у прилавка стояла я, и ты сказала...

— Ты скоро заснешь. А я завтра снова приду тебя проводить, обещаю.

Люк пощупал свою голову и, нахмурившись, тихо произнес:

— Я хочу попросить тебя о небольшом одолжении, Толлис.

— Ну разумеется.

— Эта повязка такая тугая. Не могла бы ты ее немного ослабить?

Брайони встала и осмотрела его голову. Бинты были завязаны так, что распустить узлы было совсем не трудно. Когда она начала осторожно развязывать концы, Люк сказал:

— Моя младшая сестра, Анн, помнишь ее? Она — самая симпатичная девушка в Милло. На переводном экзамене она играла маленькую пьеску Дебюсси — такую воздушную, задорную. Во всяком случае, так считала Анн. Эта мелодия постоянно звучит у меня в голове. Возможно, ты ее тоже помнишь.

Он промурлыкал несколько случайных нот. Брайони продолжала разматывать бинт.

— Все удивляются: откуда у нее такой талант. Всем остальным у нас в семье медведь на ухо наступил. За роялем Анн так прямо держит спину. И никогда не улыбается, пока не закончит. Спасибо, так гораздо лучше. Кажется, именно Анн обслуживала тебя в тот первый раз, когда ты зашла в нашу булочную...

Брайони не собиралась совсем снимать повязку, но, когда она ее ослабила, тяжелая стерильная прокладка соскользнула вместе с подложенным под нее окровавленным тампоном. У Люка не доставало части черепа. Голова была обрита вокруг пролома, зиявшего от макушки до уха. Под зазубренными краями черепа виднелось губчатое розовое вещество — мозг. Она подхватила прокладку, не дав ей упасть на пол, и несколько секунд стояла неподвижно, стараясь справиться с подступившей тошнотой. Только теперь она осознала, как глупо и непрофессионально поступила. Люк сидел смирно и ждал. Брайони оглянулась. Никто в палате не обращал на них внимания. Она вернула на место тампон, стерильную прокладку и снова забинтовала ему голову. Потом, присев на стул, вложила руку в холодную влажную ладонь Люка и попыталась успокоиться.

Люк снова что-то бормотал:

— Я не курю. Я обещал отдать свой пай Жанно... Посмотри, он там, на краю стола... под цветами... дурочка, кролик тебя не слышит...

Потом его речь стала совсем бессвязной, Брайони стало трудно его понимать. Что-то насчет учителя, который был слишком строг, а может, то был не учитель, а командир. Наконец он затих. Брайони протерла покрывшееся испариной лицо Люка влажным полотенцем.

Снова открыв глаза, он заговорил так, словно никакого перерыва не было.

— Как тебе нравятся наши багеты и булочки?

— Очень вкусные.

— Поэтому ты и приходила каждый день?

— Да.

Подумав немного, он спросил осторожно, словно касался деликатной темы:

— А наши круассаны?

— Они у вас — лучшие во всем Милло.

Он улыбнулся. Теперь к его голосу примешивался какой-то идущий из глубины горла скрипучий звук, но они не обратили на это внимания.

— У моего отца — собственный рецепт. Все зависит от качества масла. — Он смотрел на нее с восторгом, накрыв ладонью ее сложенные руки. — Ты знаешь, что очень нравишься моей матери?

— В самом деле?

— Она только о тебе и говорит. Думает, мы летом поженимся.

Брайони не отвела взгляда. Теперь ей было понятно, почему именно ее послали к нему. Ему было трудно глотать, вдоль края повязки и на верхней губе выступили капельки пота. Она вытерла их и хотела дать ему попить, но он вдруг спросил:

— Ты меня любишь?

Она лишь слегка запнулась, прежде чем ответить: «Да». Иное было немыслимо. К тому же в этот момент она действительно любила его. Он был чудесным мальчиком, оказавшимся вдали от дома, и он умирал.

Она дала Люку воды, а когда снова протирала ему лицо влажным полотенцем, он спросил:

— Ты когда-нибудь бывала в Косс-де-Ларзак?

— Нет, никогда.

Однако он не пообещал свозить ее туда, а лишь отвернулся и, уткнувшись в подушку, снова что-то бессвязно забормотал, но руки не отпустил, будто помнил о ее присутствии.

Когда сознание снова прояснилось, Люк повернул к ней голову и спросил:

— Ты ведь еще не уходишь?

— Конечно нет. Я останусь с тобой.

— Толлис...

Продолжая улыбаться, он прикрыл глаза. И вдруг дернулся, словно через его тело пропустили электрический разряд, посмотрел на нее с изумлением и приоткрыл рот. Потом рванулся вперед. Она вскочила, испугавшись, как бы он не упал с кровати. Не отпуская ладони Брайони, он свободной рукой обнял ее за шею, уткнулся лбом в ее плечо, щекой прижался к щеке. Брайони боялась, что повязка соскользнет у него с головы, что она не удержит его и еще — что во второй раз не вынесет вида его раны. Скрипучий звук, шедший из глубины горла, зазвучал у нее в ухе. Она попыталась уложить Люка обратно на подушки.

— Меня зовут Брайони, — сказала она тихо, только он мог услышать.

Глаза его широко раскрылись от удивления, восковая кожа заблестела в электрическом свете. Она приложила губы к его уху и, несмотря на то что почувствовала, как кто-то остановился у нее за спиной, даже несмотря на то, что этот кто-то положил руку ей на плечо, прошептала:

— Я не Толлис. Называй меня Брайони.

Чьи-то пальцы оторвали ее от юноши.

— Встаньте, сестра Толлис.

Сестра Драммонд поддержала Брайони под локоть и помогла подняться. На ее щеках горели красные пятна, кожа на скулах натянулась, обозначилась четкая линия между красным и белым участками кожи.

Санитарка, стоявшая по другую сторону кровати, уже натягивала простыню на лицо Люка Корне.

Поджав губы, сестра Драммонд поправила воротник Брайони.

— Умница. Теперь пойд и смой кровь с лица. Не нужно расстраивать других пациентов.

Брайони сделала так, как велели: пошла в туалет, холодной водой умыла лицо и через несколько минут вернулась к своим обязанностям.

В половине пятого утра практиканток отослали спать, велев явиться в отделение к одиннадцати. Брайони шла в спальню вместе с Фионой. Они не разговаривали, но, когда их руки соединились, им показалось, что они продолжают свой путь через Вестминстерский мост — целую жизнь спустя. Им не было нужды рассказывать друг другу, что они делали в последние часы и как это их изменило. Достаточно было просто идти рука об руку по пустому коридору вслед за остальными девушками.

Пожелав всем спокойной ночи и очутившись наконец в своем закутке, Брайони увидела на тумбочке письмо. Почерк на конверте был незнакомый. Должно быть, кто-то из девочек захватил конверт на проходной. Вместо того чтобы сразу распечатать конверт, она разделась и приготовилась ко сну. Сидя на кровати в ночной рубашке, Брайони думала о том мальчике. Край неба, видневшийся в окне, уже посветлел. У нее в ушах звучал его голос... Люк произносил «Толлис» так, словно это было девичье имя. Она представила булочную на узкой тенистой улочке, кишасей тощими кошками, музыку, льющуюся из верхнего окна, золовок, весело передразнивающих ее английский акцент, и горячо любящего Люка Корне... Ей хотелось бы поплакать над ним, над его семьей, ждущей известий о нем в далеком Милло. Но она ничего не чувствовала. Брайони была опустошена и почти полчаса сидела в полном оцепенении. Потом, вконец обессиленная, но все еще не способная заснуть, она привычно перевязала волосы лентой, легла и достала из конверта письмо.

Дорогая мисс Толлис!

Спасибо, что прислали нам рукопись «Две фигуры у фонтана». Примите, пожалуйста, извинения за запоздалый ответ. Как Вы знаете, не в наших правилах публиковать целиком произведения неизвестных авторов и даже авторов, снискавших известность. Однако мы были готовы выбрать подходящий фрагмент. К сожалению, такового не нашлось. Возвращаю Вам рукопись отдельной бандеролью.

Должен сказать, что мы прочли рукопись (в некотором роде помимо своей воли, поскольку работы в редакции предостаточно) с немалым интересом. И хотя мы не сможем опубликовать фрагмент, хотим довести до Вашего сведения, что не только мне, но и другим сотрудникам журнала будет интересно познакомиться с тем, что Вы напишете в будущем. Мы не относимся свысока к начинающим авторам, более того, с удовольствием печатаем подающую надежды молодежь и будем рады рассмотреть все, что Вы напишете, особенно если это будут короткие рассказы.

Мы считаем, что «Две фигуры у фонтана» — весьма увлекательное чтение даже для искушенного читателя. Поверьте, я не бросаюсь подобными словами. Мы даже на время отложили в сторону другие рукописи, иные из которых принадлежат авторам с именами. В Вашей повести есть несколько

запоминающихся описаний. Мне понравилась, например, «высокая трава, хищно преследуемая львиной желтизной зрелого лета». Вам удастся уловить переливы мысли, передать ее нюансы, характеризующие персонаж, ухватить нечто неповторимое и необъяснимое. Однако нам кажется, что Вы слишком увлечены подражанием миссис Вулф. Разумеется, каждый момент бытия — достойный сюжет, особенно для поэзии; это позволяет писателю продемонстрировать свои способности, углубиться в тайны сознания, представить стилизованные версии мыслительного процесса, исследовать причудливость и, непредсказуемость внутреннего мира личности и так далее. Кто же сомневается в ценности подобных экспериментов? Однако такая техника письма уместна лишь тогда, когда повествование сознательно лишается развития. Иными словами, Ваше сочинение еще больше захватывало бы внимание читателя, если бы включало простое развитие сюжета. Развитие в той или иной форме необходимо произведению.

Возьмем, например, ребенка, от имени которого ведется первое повествование. Вам удалось точно уловить отсутствие у девочки способности воспринять ситуацию в целом — отсюда ее дальнейшие действия и чувство причастности к тайнам взрослых. Мы видим девочку на пороге осознания собственной личности. Нас привлекает ее решимость покончить с волшебными сказками, рассказами и пьесами, которые она писала раньше (хорошо было бы, кстати, дать почувствовать, что это были за сочинения), но вместе с водой она выплескивает и ребенка — лишает свою прозу содержательности. Потому что, несмотря на обилие интересных наблюдений, в дальнейшем в повести не происходит ничего, что оправдывало бы читательские ожидания. Молодой человек и девушка у фонтана, между которыми явно существует множество нерешенных эмоциональных проблем, спорят из-за китайской вазы династии Мин и разбивают ее. (Кстати, многие сочли неправдоподобным, что такую бесценную вещь кто-нибудь решился бы вынести из дому. Может, уместнее, чтобы это был севрский или мейсенский фарфор?) Женщина в почти полном одеянии прыгает в фонтан, чтобы подобрать осколки. Может, было бы лучше, если бы девочка у окна не знала, что ваза разбилась? Тогда для нее причины такого поступка оставались бы более таинственными. Сколько сюжетных ходов могло бы

проистечь из такой завязки! Но Вы предпочитаете посвящать десятки страниц описаниям света и тени, а также случайных впечатлений. Далее события описываются с точки зрения мужчины, потом — женщины, но и из этих описаний мы узнаем мало нового. Лишь то, как по-иному видят и ощущают они некоторые предметы, а также их не относящиеся к делу воспоминания. Мужчина и женщина расходятся, на земле остается лишь мокрое пятно, которое вскоре испаряется. Вот и все. Такая статичность не достойна Ваших способностей.

Если эта девочка не поняла того, что увидела, или была совершенно сбита с толку, то это могло серьезно повлиять на жизнь двух взрослых людей. Может, она каким-то чудовищным образом встала между ними? Или, напротив, пусть случайно, способствовала их дальнейшему сближению? Или, скажем, невольно выдала их родителям? А те, разумеется, не одобрили связи между своей старшей дочерью и сыном уборщицы. А может, молодые люди использовали ее в качестве своей письмоносицы?

Иными словами, вместо того чтобы так долго рассуждать об особенностях сознания трех персонажей, не лучше ли было представить их читателю экономичнее — сохранив в разумных пределах яркие описания света, камней и воды, которые Вам так хорошо удаются, — но далее придать тексту некоторую динамику, создать игру света и тени внутри самого повествования? Не сомневаюсь, что даже Ваши наиболее искушенные читатели, наверняка знакомые с новейшими бергсониянскими теориями, втайне по-детски жаждут, чтобы им рассказали такую историю, где повествование увлекало бы, и им хотелось бы узнать, чем же дело кончилось.

Условно выражаясь, Вашему повествованию недостает стержня. Вероятно, Вам будет интересно узнать, что одной из Ваших благодарных читательниц оказалась миссис Элизабет Боуэн.^[36] Она зашла как-то в редакцию по пути на званый обед, перелистала несколько страниц Вашей рукописи, попросила разрешения взять ее почитать и проглотила в один присест. Сначала Ваша проза показалась ей «слишком плотной, перенасыщенной», но это, по ее мнению, «компенсируется тем, что в ней слышатся отзвуки „Разочаровывающих ответов“^[37]»

(что мне, признаться, в голову не пришло). Потом «ее задело», и наконец она высказала ряд соображений, которые включены в изложенное выше. Возможно, сами Вы абсолютно удовлетворены своим сочинением и наши замечания вызовут у Вас праведный гнев или такое отчаяние, что Вы решите никогда больше не притрагиваться к своей рукописи. Но мы искренне надеемся, что этого не произойдет. Мы бы хотели, чтобы Вы изучили наши соображения, которыми мы поделились с Вами из самых добрых побуждений, и попытались создать новый вариант.

Ваше приложенное к рукописи письмо отличается крайней сдержанностью, но из него можно понять, что сейчас у Вас совершенно нет свободного времени. Если обстоятельства изменятся и Вы решите продолжить литературную деятельность, мы будем чрезвычайно рады принять Вас у себя и за бокалом вина обсудить все подробнее. Надеемся, что мы Вас не обескуражили. Может быть, утешением послужит для Вас тот факт, что обычно наши письма с отказами содержат не более трех фраз.

Вы вскользь извиняетесь за то, что не пишете о войне. Посылаем Вам один из последних номеров нашего журнала с соответствующей редакционной статьей. Как Вы поймете, мы отнюдь не считаем, что художник обязан откликаться на злобу дня. В сущности, он поступает мудро, если игнорирует войну и, посвящает себя иным материям. Поскольку художник не может оказать влияния на политику, он должен использовать военное время, чтобы совершенствоваться на иных эмоциональных уровнях. Ваша практическая работа, та, что обусловлена войной, должна способствовать развитию Вашего таланта в том направлении, коего он требует. Вражда в какой бы то ни было форме, как отмечается в нашей статье, чужда творчеству.

Судя по обратному адресу, Вы — либо врач, либо прикованы болезнью к постели. В таком случае мы все желаем Вам скорейшего и полного выздоровления.

И последнее: один наш сотрудник интересуется, нет ли у Вас сестры, которая училась в Гертоне лет шесть-семь назад.

Искренне Ваш
С. К.

В последующие дни благодаря внесенным в расписание дежурств

изменениям чувство безвременья первых суток исчезло. Брайони была довольна тем, что занята весь день: с семи утра до восьми вечера с несколькими получасовыми перерывами на еду. Когда в пять сорок пять звонил будильник, она выныривала из глубокой ямы, в разреженную атмосферу которой проваливалась, обессиленная, с вечера, и после нескольких секунд пребывания между сном и явью снова подспудно ощущала постоянно теплившееся в ней волнение, приятное возбуждение и чувство свершившейся перемены. Это напоминало пробуждение ребенка в день Рождества, когда он, еще на грани сна, испытывает неясный радостный трепет и лишь потом осознает его причину. Не открывая глаз, чтобы яркий свет летнего утра не ослепил ее, Брайони нащупывала кнопку будильника и снова откидывалась на подушку. Вот тут-то оно и наваливалось — ощущение, абсолютно не схожее с рождественским. Не схожее ни с чем вообще. Со дня на день здесь будут немцы. Об этом говорили все — от больничных санитаров, сформировавших отряд местной самообороны, до самого Черчилля, рисовавшего картины страны, покоренной, умирающей от голода страны, у которой в лучшем случае сохранится лишь королевский флот. Брайони понимала, что грядет нечто ужасное: рукопашные бои и публичные казни на улицах, рабское унижение, конец всему хорошему. Но, сидя на краю своей измятой, все еще теплой постели и натягивая чулки, она не могла избавиться от постыдного в нынешних обстоятельствах чувства пьянящей радости. По всеобщему мнению, страна осталась в одиночестве — оно и лучше.

Все теперь казалось иным — рисунок из ирисов на ее несессере, зеркало в облезлой пластмассовой раме, ее собственное отражение в нем — все выглядело ярче, рельефнее. Шарообразная дверная ручка, когда Брайони ее поворачивала, была надменно холодной и твердой на ощупь. Выйдя в коридор и услышав в отдалении, на лестнице, тяжелые шаги, она представляла грубые немецкие сапоги, и у нее подводило от страха живот. Перед завтраком она урывала несколько минут, чтобы прогуляться вдоль реки. Даже в этот ранний час в ясном, омытом утренней свежестью небе можно было наблюдать свирепые вспышки, гаснувшие вдали, по ту сторону госпиталя. Неужели действительно может случиться, что немцы окажутся на берегах Темзы?

Отчетливость всего, что видела, слышала, к чему прикасалась Брайони, была вызвана, разумеется, не новизной и буйством раннего лета, а вспыхнувшим осознанием того, что события идут к неизбежному завершению. И она чувствовала, что нынешние дни особым образом запечатлеются в ее памяти. Эта яркость, эта длинная вереница солнечных

дней была последним всплеском радости перед наступлением другого исторического периода. Утренние гигиенические процедуры, моечная, раздача чая, перевязки и новые невосполнимые потери не могли омрачить ее приподнятого настроения. И это накладывало отпечаток на все, что она делала, и было постоянным фоном ее существования. А еще что-то побуждало торопиться с осуществлением своих планов. Брайони чувствовала: времени у нее не много. «Замешкаешься, — думала она, — глядишь, немцы войдут в город, и другого шанса может уже не быть».

Новых раненых привозили каждый день, но поток их не был уже таким мощным. Система пришла в норму, и теперь каждый лежал на своей кровати. Тех, кому требовалось хирургическое вмешательство, готовили и отвозили в операционные, располагавшиеся по-прежнему в полуподвальном этаже. После этого большинство пациентов отправляли для завершения лечения в отдаленные госпитали. Смертность среди раненых оставалась высокой, но для практиканток это перестало быть драмой — обычная рутина: загородить ширмой кровать, у которой священник отпевает умершего, натянуть простыню на лицо, позвать санитаров, снять грязное и постелить чистое белье. Как быстро блекли и сливались в памяти лица ушедших! Лицо сержанта Муни наплывало на лицо рядового Лоуэлла, они обменивались своими смертельными ранами между собой и с другими солдатами, чьих имен уже не вспомнить.

Теперь, когда Франция пала, считалось, что скоро начнутся бомбежки и артобстрелы Лондона. Никому без крайней необходимости не рекомендовалось оставаться в городе. Окна нижних этажей обложили дополнительными мешками с песком, ополченцы проверяли состояние дымоходов и прожекторов, установленных на крышах. Несколько раз проводили учения по эвакуации больных из помещения — с сурово выкрикиваемыми командами и свистками. Репетировали также тушение пожаров, доставку раненых на сборные пункты, надевание противогазов на не способных двигаться больных и тех, кто находился в бессознательном состоянии. Сестрам постоянно напоминали, что в первую очередь они обязаны надеть противогазы сами. Сестра Драммонд больше не терроризировала подопечных. Теперь, когда они приняли крещение кровью, она уже не разговаривала с ними как со школьницами. Распоряжения отдавала хладнокровно, профессионально-бесстрастно, и им это льстило. В такой новой обстановке Брайони не составило труда поменяться дежурствами с Фионой, которая великодушно согласилась отработать субботу вместо понедельника.

Из-за административной неразберихи кое-кто из идущих на поправку

раненых остался в госпитале. Несмотря на то что они отоспались и при регулярном питании немного отъелись, даже среди тех, кто не стал инвалидом, царило мрачное настроение. Большинство из них были пехотинцами. Они лежали на койках, курили, уставившись в потолок, и перебирали в памяти события последних недель. Или собирались маленькими группками и вели бурные беседы. Эти люди презирали себя. Некоторые говорили Брайони, что не сделали ни единого выстрела. Но самое бурное негодование вызывали у них высшее командование и собственные офицеры, бросившие их на произвол судьбы во время отступления, а также французы, сдавшиеся без боя. Их возмущала поднятая в печати бравурная кампания, представлявшая бегство как чудо спасения и превозносившая героизм команд маленьких судов. Брайони слышала, как они говорили:

— Это ж была просто бойня, мать их! Сраные ВВС.

Некоторые солдаты недружелюбно относились даже к медикам, не делая различия между генералом и нянечкой. Для них все они были представителями безмозглого начальства. Чтобы вразумить таких солдат, понадобился авторитет самой сестры Драммонд.

В субботу утром Брайони покинула больницу в восемь часов, еще до завтрака, и двинулась вдоль берега реки, вверх по течению. Пока она шла до ворот Ламбетского дворца,^[38] мимо проехало три автобуса. Но теперь на лобовых стеклах отсутствовали указания маршрутов — «чтобы враг не догадался». Впрочем, это не расстраивало Брайони, потому что она заранее решила идти пешком. То, что она запомнила названия нужных улиц, оказалось бесполезным: таблички были сняты или замазаны краской. Она смутно представляла, что ей нужно пройти вдоль берега реки мили две, потом повернуть налево, то есть на юг. Большая часть карт города была конфискована по приказу властей. Брайони с трудом удалось раздобыть мятый план старого — еще выпуска двадцать шестого года — автобусного маршрута. Он протерся на сгибах, в том числе и на месте, совпадавшем с ее собственным предполагаемым маршрутом. Разворачивать план было рискованно — он мог разорваться. Кроме того, Брайони боялась, что это вызовет у кого-нибудь подозрения. В газетах писали о немецких парашютистках, маскирующихся под сестер милосердия и монашек: они якобы разбредаются по городам и смешиваются с местным населением. Рекомендовалось распознавать их по картам, с которыми они могут время от времени сверяться, по слишком правильному английскому языку, на котором они могут спрашивать дорогу, и по незнанию общеизвестных

детских стишков. Вспомнив о подобных предупреждениях, Брайони уже не могла расстаться с этой мыслью, ей постоянно казалось, что она выглядит подозрительно. Она-то надеялась, что сестринская форма будет ей защитой на чужой территории, а оказалось, что одежда делает ее похожей на шпионку.

Идя против движения транспорта, она мысленно повторяла детские стишки. Очень немногие она помнила от начала до конца. Впереди остановился конный фургон молочника, возница сошел и стал подтягивать подпругу, что-то бормоча лошади. Остановившись рядом с ним и вежливо покашляв, Брайони вдруг вспомнила старого Хардмена с его возком. Все, кому сейчас семьдесят, в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году были ее ровесниками. То был век конной тяги, по крайней мере уличной, и старикам было ненавистно думать, что он возвращается.

Молочник очень дружелюбно откликнулся на ее просьбу и путано рассказал, куда ей идти. Это был дородный мужчина с пожелтевшей от табачного дыма седой бородой. Видимо, он страдал от полипов в носу, потому что его слова сочились, словно перетекая одно в другое, на фоне вырывавшегося из ноздрей свиста и сопения. Он махнул рукой налево, в сторону развилки дорог под железнодорожным мостом. Брайони показалось, что еще рано удаляться от реки, но, продолжив путь, она спиной почувствовала, что молочник наблюдает за ней, и сочла невежливым не последовать его указаниям. Вероятно, дорога, отходившая от развилки влево, позволяла срезать угол.

Ее удивило, насколько неприспособленной и робкой она оказалась после всего, что довелось повидать в последние дни. Перестав быть частью привычного коллектива, она нервничала и чувствовала себя не в своей тарелке. Вот уже несколько месяцев она жила в закрытом мире и знала свое скромное место в отделении, где каждая минута была строго расписана. Чем лучше Брайони работала, тем легче ей было повиноваться распоряжениям и следовать правилам, отрешившись от мыслей о себе. Давно уже ей не приходилось принимать решений самостоятельно — с тех самых каникул дома, когда она печатала свой опус и испытывала волнение, казавшееся теперь таким нелепым.

Когда Брайони вошла под мост, по нему следовал поезд. Оглушительный ритмичный грохот заставил ее задрожать. Сталь, трущаяся о сталь, длинные, скрепленные болтами рельсы над головой, неизвестно куда ведущие двери, утопленные в кирпичной кладке мостовых опор, мощные переплетения стянутых ржавыми скобами чугунных труб, по которым течет неизвестно что, — подобное мощное изобретение должно

быть делом рук сверхчеловека. Ее же забота — драить полы и менять повязки. Хватит ли у нее сил совершить путешествие, которое задумала?

Однако, выйдя из-под моста и ступив на клин пыльной, освещенной утренним солнцем травы, она услышала лишь безобидный перестук колес удалявшегося пригородного поезда. *Вашему повествованию*, в который раз вспомнила Брайони, *недостает стержня*. Она миновала маленький городской парк с теннисным кортом, на котором, разогреваясь перед товарищеской встречей, лениво перебрасывались мячом двое мужчин в спортивных костюмах. Неподалеку, на скамейке, две девушки в шортах цвета хаки вместе читали письмо. Она вспомнила о полученном ею письме — горькой пилюле в сахарной облатке. В течение всего дежурства она носила его в кармане, и вторая страница покрылась крабьими пятнами карболки. Она развернула листки, не собираясь их перечитывать, но в глаза, словно приговор, бросилось: *Может, она каким-то чудовищным образом встала между ними?* Конечно встала. А совершив подобный поступок, вправе ли она была затушевывать этот факт, сварганив изящное, едва ли умное сочинение, и — чтобы потешить собственное тщеславие — отсылать его в журнал? Бесконечные описания света, камней, воды, повествование, расщепленное на три разные точки зрения, гнетущее бездействие, предполагающее, что ничего больше так и не произошло, — все это не могло скрыть ее трусости. Неужели она действительно думала, будто удастся спрятаться за заимствованными приемами современного стиля и потопить свою вину в потоке сознания — трех сознаний?! Увертки, к которым она прибегла в своей маленькой новелле, зеркально отражают увертки, которыми она пытается прикрываться и в жизни. То, с чем она не желает сталкиваться в действительности, отсутствует и в новелле, манера письма обусловлена ее жизнью. И что же ей теперь делать? Стержня не доставало не ее повествованию, стержня не доставало ей самой.

Пройдя через парк, Брайони очутилась возле маленькой фабрики, за стенами которой так грохотали какие-то станки, что вибрировал даже тротуар. Кто знает, что производили за этими высокими грязными окнами и почему желто-черный дым валил из единственной узкой алюминиевой трубы над крышей? На противоположной стороне улицы, по диагонали, гостеприимно открытая двустворчатая дверь паба являла взору нечто вроде театральной декорации: мальчик с красивым, но грустным лицом вытряхивал в корзину пепельницы, вчерашний сизый дым витал в воздухе. Двое мужчин в кожаных фартуках сгружали с подводы и таскали по наклонно положенной доске ящики с пивом. Брайони никогда не видела столько лошадей на улицах. Должно быть, военные конфисковали все

грузовики. Кто-то изнутри распахнул дверцы подвального люка. Створки откинулись, ударившись о землю и подняв облако пыли; над люком показался человек; высунувшись до пояса, он повернул голову и посмотрел ей вслед. Человек представился Брайони гигантской шахматной фигурой. Возницы тоже наблюдали за ней, один присвистнул с восхищением:

— Как дела, милашка?

Ее такие вопросы никогда не обижали, но она не знала, как на них реагировать. Сказать «спасибо, хорошо»? Брайони улыбнулась, радуясь, что ее лицо закрывает капюшон. Было очевидно, что все думают о предстоящей оккупации, но не оставалось ничего иного, кроме как жить дальше. Даже если придут немцы, люди будут продолжать играть в теннис, сплетничать, пить пиво. Разве что перестанут свистеть вслед симпатичным девушкам. По мере того как улица становилась уже и извилистее, моторы гудели громче и теплые выхлопные газы все больше били в нос. В одном месте прямо на тротуар выходила краснокирпичная викторианская терраса. Женщина в клетчатом фартуке яростно, словно безумная, мела тротуар перед своим домом, из открытой двери которого доносился запах стряпни. Она отступила, давая Брайони пройти, потому что пешеходная часть была узкой, но на приветствие ответила лишь свирепым взглядом. Навстречу шла женщина с четырьмя лопоухими мальчиками, у одних были портфели в руках, у других — ранцы за плечами. Мальчишки дурачились, прыгали, кричали и пинали ногами старую туфлю. Они проигнорировали замечание усталой матери, увидевшей, что Брайони пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить их:

— Да прекратите же вы наконец! Дайте пройти сестрице.

Когда они поравнялись, женщина, чуть повернув голову, смущенно и немного удрученно улыбнулась Брайони. У нее недоставало двух передних зубов. Она была щедро надушена и держала между пальцами неприкуренную сигарету.

— Они так радуются тому, что уезжают из города! Вы не поверите — они никогда не были в деревне.

— Удачи вам, — сказала Брайони. — Надеюсь, вам повезет с хозяевами.

Женщина с такими же оттопыренными ушами, как у мальчиков, но отчасти прикрытыми коротко стриженными волосами, громко рассмеялась:

— С этой оравой никаким хозяевам ничего не светит!

Наконец Брайони подошла к месту, где сливалось несколько тенистых улочек. Смутно припомнив соответствующий квадрат на карте, она решила, что это и есть Стоквелл. Южное направление можно было угадать по

укрепленной огневой точке, которую охраняла кучка скучающих ополченцев, у них была одна винтовка на всех. Самый старший из них, в фетровой шляпе и рабочем комбинезоне, с повязкой на рукаве, с обвисшими, как у бульдога брыли, щеками, отделился от остальных и попросил ее предъявить удостоверение. Потом с важным видом махнул рукой: можете, мол, идти. У него Брайони не захотелось уточнять дорогу. Она считала, что следует пройти по Клэпем-роуд еще мили две. Народу здесь было меньше, движение тоже оказалось менее интенсивным, а сама улица — шире той, по которой пришла Брайони. Относительную тишину прорезало лишь дребезжание отходившего от остановки трамвая. Вдоль улицы, в глубине, тянулись аккуратные жилые дома в стиле времен короля Эдуарда VII. Брайони позволила себе присесть на минутку в тени платана на низкий каменный парапет и снять туфлю, чтобы осмотреть вскочивший на пятке волдырь. Мимо проехала колонна трехтонок, направлявшаяся из города на юг. Брайони посмотрела им вслед, подсознательно ожидая увидеть в крытых кузовах раненых. Но там были лишь деревянные ящики.

Через сорок минут она достигла станции метро «Клэпем-Коммон». Приземистая церковь, сложенная из неотесанных камней, оказалась закрытой. Брайони достала отцовское письмо и уточнила название. Продавщица обувного магазина указала ей другую церковь, но, даже когда Брайони, перейдя через дорогу, ступила на траву, церкви она поначалу не увидела: ее наполовину скрывали густые деревья.

Церковь Святой Троицы оказалась вовсе не такой, какую ожидала увидеть Брайони. Она представляла собор со сводами в стиле пламенеющей французской готики, залитый бронзовым светом, льющимся сквозь стрельчатые красно-фиолетовые витражи, — антураж, достойный зловещей сцены преступления и мученичества. То, что она увидела, подойдя ближе, среди тенистых деревьев, представляло собой изящное кирпичное строение вроде греческого храма, с черной черепичной крышей, простыми окнами и низким портиком с белыми колоннами под башней с часами гармоничных пропорций. Неподалеку от входа стоял черный блестящий «роллс-ройс» с распахнутой со стороны шоферского сиденья дверцей, но водителя видно не было. Проходя мимо машины, Брайони ощутила тепло от радиатора, интимное, как тепло человеческого тела, и услышала пощелкивание остывающего металла. Поднявшись по ступенькам, она толкнула тяжелую, декорированную медными гвоздями дверь.

Внутри ощущался обычный для любой церкви сладковатый аромат вощенного дерева и сырой запах камня. Даже стоя спиной к собравшимся и

осторожно закрывая за собой дверь, она почувствовала, что церковь почти пуста. Речь приходского священника звучала в контрапункт отражающимся от стен звукам. Брайони остановилась при входе, ожидая, пока глаза привыкнут к сумраку. Потом прошла к задней скамье и села на ее дальнем конце, но так, чтобы видеть алтарь. Ей доводилось присутствовать на многих семейных бракосочетаниях, хотя в Ливерпульский собор на грандиозное венчание дяди Сесиля и тети Гермионы, чью изысканную шляпку она различала сейчас в переднем ряду, ее по малости лет не взяли. Между своими живущими врозь родителями были зажаты Пьеро и Джексон, выросшие дюймов на пять-шесть. По другую сторону прохода сидели три представителя семейства Маршалл. Вот и вся публика. С скромная церемония, только для родственников. Никаких репортеров из отделов светской хроники. Присутствие Брайони тоже не предполагалось. Ритуал был хорошо ей известен, поэтому она сразу поняла, что главного не пропустила.

— Во-вторых, он призван оградить от греха прелюбодеяния тех, кто не наделен добродетелью воздержания, и позволить им вступать в брак и жить, как подобает целомудренному рабу Божьему.

Лицом к алтарю, обрамленные контуром праздничного белого облачения священника, стояли молодые. Невеста, как положено, была в пышном белом наряде под густой, насколько могла издали разглядеть Брайони, фатой, волосы по-детски заплетены в одну косу, которая свисала до пояса из-под низвергавшихся пенным водопадом тюля и органди. Маршалл держался прямо, подложные плечи его торжественного костюма острыми углами выделялись на фоне стихаря викария.

— В-третьих, он призван освящать единение, помощь и утешение, кои один супруг обязан даровать другому...

В мозгу Брайони, как нарывы, как грязные пятна на чистой коже, высыпали детали воспоминаний: Лола, вся в слезах, входит к ней в комнату, ее запястья в ссадинах и синяках; царапины на плече Лолы и на лице Маршалла; молчание Лолы в темноте на берегу озера, пока ее серьезная, смешная и слишком «правильная» младшая кузина, не умея отличить жизнь от выдуманных историй, по глупости обеспечивала алиби истинному насильнику. Бедная, тщеславная и уязвимая Лола с жемчужиной на бархотке, благоухающая розовой водой, мечтавшая сбросить последние путы детства, спасала себя от унижения тем, что влюбилась — или убедила себя, что влюбилась, — и не могла поверить в сказочную удачу, когда Брайони вызвалась объяснить все вместо нее и бросить обвинение. Какое везение для Лолы — лишившейся невинности, едва перешагнув порог

детства, — выйти замуж за своего насильника.

— ...Если кто-нибудь знает обоснованную причину, по которой эти двое не могут быть соединены узами законного брака, пусть этот человек либо объявит это сейчас, либо хранит потом свою тайну до скончания века.

Неужели это действительно свершится? Неужели она сейчас поднимется на ослабевших ногах, с трепещущим сердцем и пустым, сведенным спазмом желудком и выйдет на середину прохода? А потом, словно Христова невеста под своим чепцом и капюшоном, под взглядами повернувшихся к ней гостей, окажется у алтаря, где, раскрыв от удивления рот, стоит священник, которого никогда за всю его долгую церковную карьеру никто не осмелился прервать, а вполоборота — побелевшая венчающаяся пара, и дерзко, недрогнувшим голосом изложит свои резоны, свою обоснованную причину? Она не собиралась этого делать, но произнесенный викарием ритуальный вопрос из Книги общей молитвы, о котором Брайони совсем забыла, провоцировал ее. Что может ее удержать? Вот шанс публично признаться в своих терзаниях и очиститься от вины перед алтарем самой рассудительной на свете церкви.

Но ссадины и царапины давно зажили, а все ее тогдашние утверждения противоречат тому, что она могла бы сказать теперь. Невеста не выглядит жертвой, и брак совершается с согласия ее родителей. Более того, жених — шоколадный магнат, творец знаменитого «Амо». Тетушка Гермiona уже наверняка потирает руки. Сказать, что Пол Маршалл, Лола Куинси и она, Брайони Толлис, по тайному сговору своим лжесвидетельством отправили в тюрьму невинного человека? Но показания, на основании которых его осудили, это ее собственные показания. Они были открыто оглашены с ее слов в Ассизском суде. Приговор остался в силе. Наказание отбыто. Долг оплачен.

Сердце выскакивало у Брайони из груди, ладони взмокли, но она продолжала сидеть, смиренно склонив голову.

— Я призываю и требую, чтобы вы оба ответили так, как будете отвечать в день Страшного суда, когда все тайны людские выйдут наружу: если вам известны препятствия, кои не позволяют вам соединиться в законном браке, признайтесь в этом сейчас.

По любым подсчетам, до Страшного суда еще очень далеко, а до тех пор тайна, доподлинно известная только Маршаллу и его невесте, будет надежно укрыта за крепостными стенами их брака и останется тихо покоиться там в темноте даже после того, как умрут все причастные к ней. Каждое слово, произносимое во время церемонии, — еще один кирпичик в эту стену.

— Кто вручает эту женщину попечению этого мужчины?

Похожий на птицу дядя Сесил проворно, безусловно спеша побыстрее исполнить отцовский долг и вернуться в свое убежище Всех Святых в Оксфорде, вышел вперед. Напрягая слух, чтобы уловить в голосах хоть малейший признак сомнения, Брайони слышала, как Маршалл, а потом Лола повторяли за священником слова клятвы: она — уверенно и с наслаждением, Маршалл — неразборчиво и рассеянно. Как возмутительно, как сладострастно пророкотали ее слова, повторенные эхом под сводами церкви, когда она сказала:

— Клянусь принадлежать тебе телом и душой.

— Давайте помолимся.

Семь возвышавшихся над спинками передней скамьи голов опустились, священник снял очки в черепаховой оправе, запрокинул голову и, закрыв глаза, воззвал к силам небесным своим утомленным печальным голосом:

— О Господь предвечный, творец и спаситель рода людского, податель божественной милости, хранитель бессмертной жизни, ниспошли благословение Свое рабам Своим — этому мужчине и этой женщине...

Последний кирпичик встал на место, когда священник, снова надев очки, произнес торжественную формулу: «Объявляю вас мужем и женой» — и воззвал к Святой Троице, в честь которой названа его церковь. Потом были еще молитвы, псалом, «Отче наш», еще одна длинная прощальная молитва, понижающаяся интонация которой знаменовала меланхолический финал:

— ...Да прольет Он на вас милость Свою в щедроте Своей, да благословит Он вас, да будете вы преданы Ему телом и душой, да будет свят союз ваш до самого вашего смертного часа.

Как только священник повернулся, чтобы вести новобрачных в сопровождении семи членов их семей через проход между скамьями к выходу, каскад бурных органных триолей, словно конфетти, посыпался на их головы. Брайони, стоявшая на коленях и делавшая вид, что молится, поднялась и повернулась лицом к приближающейся процессии. Викарий, казалось, немного спешил, ему хотелось отдохнуть. Увидев слева от прохода юную медсестру, он на ходу одарил ее милостивым взглядом, чуть склонив набок голову, что могло выражать как радушие, так и легкое удивление, и, проследовав к выходу, широко распахнул одну створку тяжелой двери. Косой луч солнца, достигнув места, где стояла Брайони, высветил ее лицо под чепцом. Она хотела, чтобы ее заметили, но не так откровенно. Теперь деваться было некуда. Лола, шедшая с ближней к ней

стороны, повернула голову, их глаза встретились. Фата была уже поднята. Веснушки исчезли, но в остальном Лола мало изменилась. Разве что стала чуть выше ростом и похорошела: лицо округлилось, брови были беспощадно выщипаны. Брайони просто смотрела на нее. Единственное, чего ей хотелось, это чтобы Лола знала: она здесь — и чтобы мучилась вопросом: зачем? Солнце слепило ее, мешало видеть отчетливо, но на какую-то долю секунды она заметила на лице новобрачной гримасу неудовольствия. Поджав губы, Лола тут же вперила взор перед собой, и в следующую секунду ее уже не было в церкви. Пол Маршалл тоже заметил Брайони, но не узнал ее, так же как тетюшка Гермiona и дядюшка Сесил, которые не видели ее бог знает сколько лет. А вот близнецы в болтающихся брюках от школьных костюмов, замыкавшие процессию, обрадовались, узнав ее, и принялись гримасничать, изображая притворный ужас при виде ее сестринской формы, начали по-клоунски выкатывать глаза и разевать рты, прикрывая ладошками.

Вскоре Брайони осталась в церкви одна, если не считать невидимого органиста, который продолжал играть ради собственного удовольствия. Все кончилось очень быстро, и она не была уверена, что чего-то добилась. Продолжая стоять на месте, она чувствовала себя глупо и не хотела выходить на улицу. Дневной свет и семейная болтовня наверняка уже развеяли впечатление, даже если она и произвела его, явившись словно призрак среди бела дня. К тому же ей все равно не хватило бы духу для открытого столкновения. И как она объяснит тете и дяде свое присутствие? Вдруг они сочтут себя оскорбленными? Или того хуже: не сочтут и захотят пригласить ее на мучительно нудный завтрак в отеле, во время которого мистер и миссис Пол Маршалл будут с елейным видом источать ненависть, а Гермiona не сможет скрыть презрение к Сесилу. Брайони постояла еще несколько минут, притворяясь, будто с удовольствием слушает музыку, потом, раздраженная собственной трусостью, решительно вышла на крыльцо. Викарий был уже ярдах в ста от церкви, он быстро удалялся, размахивая руками. Новобрачные сидели в «роллс-ройсе» — Маршалл за рулем, — машина давала задний ход, чтобы развернуться. Брайони была уверена, что они ее видят. При переключении скорости раздался металлический скрежет — может, добрый знак. Машина проехала мимо, и через боковое стекло Брайони увидела Лолу в облаке свадебной кисеи, прильнувшую к плечу водителя. Что же касается гостей, то они давно растворились среди деревьев.

Изучив карту, Брайони узнала, что Бэлхем находится в той стороне, куда ушел викарий, совсем недалеко, и именно поэтому ей так не хотелось

туда идти: дорога займет слишком мало времени. Она ничего не ела, хотела пить, натертая пятка болела, волдырь на ней лопнул, кожа прилипла к заднику туфли. Становилось жарко, а ей предстояло шагать по открытой местности, пересеченной асфальтированными дорожками и утыканной противоосколочными заграждениями. Вдали виднелась эстрада, вокруг которой бесцельно слонялись мужчины в одинаковых темно-синих костюмах. Это напомнило ей о Фионе, у которой она украла выходной, и дне, проведенном ими в Сент-Джеймсском парке. То время казалось далеким и безобидным, хотя прошло всего десять дней. Сейчас Фиона, должно быть, по второму разу разносит судна. Стоя в тени церковного портика, Брайони подумала, что нужно купить подруге гостинец — что-нибудь вкусненькое: бананов, апельсинов или швейцарского шоколада. Санитары знали, где все это достать. Она слышала, как они говорили, что купить можно абсолютно все, были бы деньги. Брайони смотрела на цепочку машин, двигавшихся в том самом направлении, куда ей было нужно идти, и думала о еде: о больших кусках ветчины, яйцах-пашот, жареной цыплячьей ножке, ирландском рагу, лимонных меренгах. О чашке чаю. То, что у нее за спиной все это время продолжала звучать нервная, тревожная музыка, она осознала лишь тогда, когда звуки замерли; во внезапно наступившей тишине на нее снизошел покой, и она решила сначала поесть. Там, куда ей предстояло идти, ничего похожего на кафе видно не было — лишь кварталы унылых многоквартирных домов, сложенных из темно-оранжевого кирпича.

Прошло несколько минут, из церкви вышел органист, держа в одной руке шляпу, в другой — тяжелую связку ключей. Она хотела было спросить у него, где здесь ближайшее кафе, но у него был вид человека такого же нервного, как и его музыка. Запирая церковную дверь, он не обращал на Брайони ни малейшего внимания. Потом нахлобучил шляпу и быстро пошел прочь.

Возможно, то был первый шаг на пути отказа от собственных планов, но Брайони уже двигалась вспять, по собственным следам, в направлении клэпемской главной улицы, находившейся в трех поворотах от церкви. Нужно позавтракать и еще раз все обдумать. Возле станции метро она наткнулась на питьевой фонтанчик и с восторгом погрузила лицо в воду. Наконец ей удалось отыскать затрапезное маленькое кафе с грязными окнами и усеянным окурками полом. Еда здесь, впрочем, была ничуть не хуже той, к которой она уже привыкла. Брайони заказала чай, три тоста с маргарином и сомнительный бледно-розовый клубничный джем. Поставив себе диагноз — гипогликемия, она насыпала в чашку побольше сахара,

однако сладость чая не смогла перебить привкус хлорки.

Она выпила вторую чашку, радуясь, что чай теплый, так что можно проглотить его залпом, потом воспользовалась туалетом без унитаза, расположенным в глубине мощеного двора позади заведения, — медсестре любая вонь нипочем, — и натолкала туалетной бумаги под пятку, это должно было облегчить следующие две мили пути. Умывальник с примитивным краном был привинчен к стене болтами. К прямоугольному куску мыла с серыми прожилками Брайони предпочла не прикасаться. Когда она открутила кран, залп ржавой воды ударил в раковину и обрызгал ей туфли. Она протерла их рукавом, причесалась, пытаясь представить, что кирпичная стена — это зеркало. Накрасить губы, однако, перед таким зеркалом не удалось. Потом она промокнула лицо носовым платком и похлопала себя по щекам, чтобы вызвать румянец. Решение было принято — казалось, даже без ее участия.

Выйдя из кафе и направляясь назад, она чувствовала, как с каждым шагом увеличивается расстояние между ней и ее вторым «я», не менее реальным, шагающим теперь обратно, в больницу. А может, именно Брайони, идущая в направлении Бэлхема, была фигурой воображаемой, призрачной? Чувство нереальности усилилось, когда она достигла здешней главной улицы, более или менее такой же, как та, что осталась позади. Таков был Лондон за пределами центра — агломерат одинаковых унылых городков-районов. Брайони поклялась себе, что никогда не будет жить в таком.

Улица, которую она искала, оказалась в трех поворотах от станции метро — еще одна топографическая «реплика». Террасы в стиле короля Эдуарда VII, затянутые сеткой и обшарпанные, выстроились в ряд не меньше чем на полмили. Дом номер 43 находился приблизительно в середине улицы и ничем не отличался от остальных, если не считать занимавшего большую часть палисадника старенького «форда» без колес, покоившегося на четырех кирпичных столбиках. Если дома никого не окажется, она сможет уйти с чистой совестью, успокоив себя тем, что по крайней мере попыталась. Звонок не работал. Брайони дважды ударила дверным молоточком и отступила назад. Где-то наверху громко хлопнула дверь, послышался сердитый женский голос, по лестнице застучали каблуки. Брайони попятилась еще на шаг: пока не поздно было ретироваться. Но кто-то, раздраженно вздыхая, завозился с щеколдой, и дверь открыла высокая женщина лет тридцати пяти с грубым лицом, запыхавшаяся и чем-то разгневанная. Приход Брайони явно застал хозяйку в разгар какого-то скандала, и, впуская ее, она никак не могла сменить

выражение лица — рот открыт, верхняя губа сварливо изогнута.

— Что вам надо?

— Я ищу мисс Сесилию Толлис.

Женщина снова тяжело вздохнула и резко отвернулась, будто ее ударили. Потом оглядела Брайони с ног до головы.

— Вы на нее похожи.

Ошеломленная, Брайони ничего не ответила.

Женщина издала очередной вздох, похожий скорее на плевок, и пошла через прихожую к лестнице.

— Толлис! — заорала она. — На выход! — После чего, смерив Брайони взглядом, полным презрения, и свирепо хлопнув дверью, исчезла в комнате, выходящей в прихожую, — видимо, своей гостиной.

Воцарилась тишина. Стоя на пороге, Брайони видела полоску линолеума в цветочек и нижние семь-восемь ступенек лестницы, затянутой темно-красной ковровой дорожкой. Дорожку придерживали медные стержни. На третьей ступеньке стержня не хватало. На полпути к лестнице, придвинутый прямым краем к стене, стоял полукруглый стол, на нем — предназначенная для писем полированная деревянная полка, похожая на подставку для гренадеров. Сейчас она пустовала. За лестницей линолеум простирался до двери, застекленной «морозными» окошками. Дверь, вероятно, вела в кухню. Обои на стенах тоже были цветочными — букеты из трех розочек, перемежающиеся снежинками. От крыльца до лестницы Брайони насчитала пятнадцать букетов, но шестнадцать снежинок. Дурной знак.

Наконец она услышала, как наверху открылась дверь, возможно, та самая, которая хлопнула, когда она постучала, потом — скрип ступенек, затем в поле зрения возникли толстые носки, полоска кожи над ними и подол знакомого голубого шелкового халата. И вот — голова Сесилии, наклонившейся, чтобы посмотреть, кто там, внизу, и стоит ли спускаться дальше в таком виде. Брайони понадобилось несколько секунд, чтобы узнать сестру. Та медленно сделала еще три шага.

— О господи! — воскликнула она и села на ступеньки, сложив руки.

Одна нога Брайони все еще была снаружи, другая стояла на пороге. В гостиной хозяйки включили радио. Когда лампы нагрелись, послышался хохот зрительного зала. Продолжился какой-то комично-льстивый монолог, завершившийся бурей аплодисментов, а потом ударил оркестр. Брайони проямлила:

— Мне нужно с тобой поговорить.

Сесилия дернулась было, чтобы встать, потом передумала.

— Почему ты не предупредила меня о приходе?

— Ты не ответила на мое письмо, поэтому я пришла.

Сесилия плотнее запахнула халат, похлопала по карману, вероятно надеясь нащупать там сигарету. Лицо у нее стало более смуглым; кожа на руках тоже потемнела. Она не нашла того, что искала, но осталась сидеть.

— Значит, ты учишься на медсестру, — скорее в порядке констатации приметы времени, чем из желания сменить тему, сказала Сесилия.

— Да.

— В чьем отделении?

— Сестры Драммонд.

Сесилия ничем не дала понять, что знакома с сестрой, и не выразила недовольства, что сестра работает в той же больнице, где работала она. В глаза бросилась еще одна явная перемена, произошедшая в Сесилии: прежде она разговаривала с младшей сестрой по-матерински снисходительно: «Сестренка, малышка...» Теперь от снисходительности не осталось и следа. Резкость ее тона удержала Брайони от вопроса о Робби. Она сделала еще шаг вперед, оставив, однако, дверь за спиной открытой.

— А где работаешь ты?

— Неподалеку от Мордена, в НМП.

Госпиталь неотложной медицинской помощи, военный госпиталь, видимо принявший на себя основной удар эвакуационной волны. Слишком о многом нельзя было говорить и спрашивать. Сестры смотрели друг на друга. Хотя вид у Сесилии был помятый, как у человека, только что вставшего с постели, она оказалась красивее, чем помнила Брайони. Ее удлиненное лицо всегда было необычным, несколько лошадиным, как говорили все, даже ее искренние почитатели. Теперь оно выглядело откровенно чувственным, видно, благодаря пламенеющему бутону сочных губ. Глаза, казалось, стали более крупными и темными — быть может, от усталости. Или от печали. Тонкий длинный нос с трепетными ноздрями, точеные черты. Лицо было неподвижным и напоминало маску. По нему трудно было что-либо понять. Новый облик сестры усугубил неуверенность Брайони и сделал ее еще более неуклюжей. Сидевшая перед ней женщина, которую она не видела пять лет, казалась почти незнакомой. С ней Брайони ни в чем не могла быть уверенной. Она старалась найти какую-нибудь новую, нейтральную тему, но в голову не приходило ничего, что не затрагивало бы деликатных предметов — тех, о которых все равно рано или поздно придется говорить. Только потому, что молчаливое разглядывание друг друга становилось невыносимым, она наконец спросила:

— У тебя есть известия от отца?

— Нет, — сказала Сесилия, как отрезала, из чего следовало, что его письма ей не нужны и, даже если бы они были, она не стала бы на них отвечать. Тем не менее поинтересовалась: — А у тебя?

— Недели две назад получила записку.

— Ладно.

Тема была исчерпана. Помолчав, Брайони сделала еще одну попытку:

— А из дома?

— Нет. Я не поддерживаю отношений с ними. А ты?

— Мама пишет время от времени.

— Ну и какие у нее новости, Брайони?

Интонация, с которой был произнесен вопрос, и это нарочитое обращение по имени прозвучали издевательски. Призвав на помощь всю свою сообразительность, Брайони догадалась, что сестра считает ее предательницей.

— У них живут эвакуированные, Бетти их ненавидит. Большую часть парка теперь засевают пшеницей...

Она замолчала. Глупо было стоять вот так, в прихожей, и вспоминать подробности.

Но Сесилия холодно потребовала:

— Ну, рассказывай дальше.

— Многие молодые люди из деревни вступили в ВосточносURREйский полк, кроме...

— Кроме Дэнни Хардмена. Ну разумеется, это мне известно. — Сесилия притворно-любезно улыбнулась, ожидая, что еще поведает Брайони.

— Возле почты соорудили огневую точку. У нас сняли всю старую ограду. Вот. Тетя Гермiona живет в Ницце. Да, Бетти разбила вазу дядюшки Клема.

Только эта новость, видимо, задела Сесилию. Она подалась вперед и прижала ладонь к щеке.

— Разбила?!

— Она уронила ее на лестнице, когда несла в подвал.

— Ты хочешь сказать, что ваза разлетелась на куски?

— Да.

Немного помолчав, Сесилия сказала:

— Это ужасно.

— Да, — охотно согласилась Брайони. — Бедный дядюшка Клем! — Она радовалась, что сестра оставила свой иронический тон.

Допрос, однако, продолжился:

— А осколки они сохранили?

— Не знаю. Эмилия писала, что старик орал на Бетти.

В этот момент распахнулась дверь, и на пороге гостиной, прямо перед Брайони, настолько близко, что она ощутила мятное дыхание, выросла хозяйка. Указывая на входную дверь, она закричала:

— Вам здесь что, вокзал, юная леди?! Либо входите, либо проваливайтесь!

Без всякой спешки Сесилия встала, завязала шелковый пояс на халате и лениво произнесла:

— Это моя сестра Брайони, миссис Джарвис. Потрудитесь запомнить и держаться в рамках приличий, когда с ней разговариваете.

— Я в своем собственном доме и буду разговаривать так, как считаю нужным! — огрызнулась миссис Джарвис и снова повернулась к Брайони. — Если вы остаетесь — оставайтесь, если нет — уходите немедленно и закройте за собой дверь.

Брайони, вопросительно взглянув на сестру, поняла, что той не очень хочется, чтобы она ушла при таких обстоятельствах. Миссис Джарвис оказалась ее невольной союзницей.

Сесилия заговорила так, словно они были одни:

— Не обращай внимания на эту даму. Я съезжаю отсюда в конце недели. Закрой дверь и поднимайся.

Под прицелом злобных глаз миссис Джарвис Брайони повиновалась сестре.

— А что касается вас, леди Дрянь... — начала было хозяйка, но поднимавшаяся уже по лестнице Сесилия резко обернулась и оборвала ее:

— Хватит, миссис Джарвис. Остановитесь на этом.

Брайони узнала этот тон, типичный для найтингейловских сестер, когда приходится иметь дело с особо трудными пациентами или слезливыми практикантками. Несомненно, Сесилия стала старшей медсестрой.

На площадке второго этажа, прежде чем открыть свою дверь, сестра одарила Брайони ледяным взглядом, давая понять, что ничего не изменилось, никакого потепления не произошло. Из ванной, располагавшейся напротив комнаты Сесилии, через полуоткрытую дверь тянуло влажным душистым сквознячком и доносился гулкий звук падающих капель. Видимо, Сесилия собиралась принимать ванну. Она завела Брайони в свою квартиру. У иных медсестер, являвших образец аккуратности на работе, дома царил кавардак, поэтому Брайони ничуть не

удивилась, когда увидела новый вариант хаоса, коим славилась спальня Сесилии дома. Но это помещение было отмечено еще и печатью бедности и одиночества. Средних размеров комната была поделена так, чтобы в узком пенальчике поместилась кухня, в дальнем конце, за дверью, скорее всего располагалась спальня. Стены были оклеены обоями в вертикальную бледную полоску — из ткани с таким рисунком любят шить пижамы мальчикам, — что создавало впечатление тюремной камеры. Пол был устелен обрезками линолеума, оставшимися, видно, после покрытия пола внизу, местами из-под него выглядывал деревянный настил. Под единственным подъемным окном находились раковина с примитивным краном и одноконфорочная газовая плита. У стены стоял стол, на нем была расстелена желтая скатерть из хлопка. Между столом и плитой оставалось так мало места, что трудно было пройти мимо, чего-нибудь не задев. На столе, в банке из-под варенья, стоял букет синих цветов, кажется колокольчиков, рядом — переполненная, как обычно, пепельница. Тут же лежала стопка книг. Внизу — «Анатомия» Грея и томик Шекспира. Вверху — книги потоньше, на корешках которых серебряными и золотыми буквами были вытиснены имена авторов. Брайони заметила Хаусмена и Крабба. Рядом стояли две бутылки стаута. В дальнем от окна углу, на двери спальни, была прибита карта Северной Европы.

Сесилия достала сигарету из пачки, валявшейся возле плиты, потом, видимо вспомнив, что младшая сестра уже не ребенок, предложила и ей. У стола стояло два кухонных стула, но Сесилия не села и не предложила сесте Брайони. Обе курили, ожидая, как показалось Брайони, чтобы выветрился дух хозяйки.

Наконец Сесилия сказала тихим, спокойным голосом:

— Получив твое письмо, я посоветовалась с адвокатом. То, о чем ты пишешь, сделать непросто, если нет новых улик. Того, что ты изменила свое мнение, недостаточно. Лола будет продолжать твердить, что ничего не видела. Единственной нашей надеждой был старый Хардмен, но он умер.

Хардмен? Брайони озадачило то, что сестра считает, будто Хардмен имел какое-то отношение к делу, и воспринимает его смерть как потерю важного свидетеля. Она попыталась вспомнить, участвовал ли Хардмен той ночью в поисках близнецов. Может, он что-то видел? Не было ли сказано в суде что-то, ей неизвестное?

— Разве ты не знала, что он умер?

— Нет. Но...

— Невероятно.

Попытки Сесилии выдержать нейтральный, сугубо деловой тон

терпели неудачу. Разволновавшись, она отошла от раковины, прислонившись к которой стояла, протиснулась мимо стола и остановилась у входа в спальню. Она тяжело дышала, стараясь сдержать гнев.

— Как странно, что Эмилия не сообщила тебе об этом, рассказав об эвакуированных и посевной страде. У него был рак. Вероятно, готовясь предстать перед Богом, он в последние дни говорил нечто слишком неудобное для всех, кто причастен к делу.

— Но, Си...

— Не называй меня так! — взорвалась Сесилия и уже спокойнее добавила: — Пожалуйста, не называй меня этим именем. — Ее рука лежала на дверной ручке. Создавалось впечатление, что аудиенция подходит к концу и сестра вот-вот исчезнет за дверью.

С почти неправдоподобным спокойствием она подвела итог:

— А вот информация, стоившая мне двух гиней: то, что пять лет спустя ты решила сказать правду, недостаточное основание для апелляции.

— Я не понимаю, о чем ты...

Брайони хотела вернуться к Хардмену, но Сесилии было необходимо высказать ей то, о чем она наверняка не раз думала в последние годы.

— Все просто: если ты лгала тогда, почему суд должен поверить тебе теперь? Новых фактов нет, а ты — ненадежный свидетель.

Брайони подошла к раковине и взяла с сушки блюдце, чтобы стряхнуть пепел с наполовину выкуренной сигареты. Ужасно было слышать безоговорочное утверждение сестры, что она — преступница, однако последняя реплика Сесилии потрясла ее еще больше. Слабая, глупая, сбитая с толку, трусливая, уклончивая — да, именно такой она была и ненавидела себя за это. Но лживая? Как о заведомой лгунье она никогда о себе не думала. Как странно и каким очевидным это, должно быть, представляется Сесилии! Очевидным и неопровержимым. Какой-то миг Брайони еще хотелось оправдаться: она не желала намеренно ввести всех в заблуждение, она действовала не по злему умыслу. Но кто бы ей поверил?

Она стояла теперь на месте Сесилии, прислонившись к раковине, и, не смея поднять глаза на сестру, сказала:

— То, что я сделала, чудовищно. Я не жду прощения.

— Можешь не беспокоиться, — ласково ответила сестра. Пока они вновь молча курили, у Брайони затеплилась безумная надежда. — Можешь не беспокоиться, — повторила Сесилия. — Я никогда тебя не прощу.

— Но если я не могу выступить в суде, это не мешает мне рассказать всем, что я натворила.

Услышав диковатый смешок сестры, Брайони осознала, насколько

боится ее. Язвительность Сесилии была страшнее гнева. Эта комната с обоями, напоминавшими тюремные решетки, хранила такую историю чувств, какую едва ли кто-нибудь мог вообразить. Все же Брайони решилась продолжить: в конце концов, эту часть разговора она неоднократно репетировала.

— Я поеду в Суррей и поговорю с Эмилией и Стариком — расскажу им все.

— Да, ты об этом писала. А что же тебя раньше удерживало? У тебя было для этого целых пять лет. Почему ты не сделала этого до сих пор?

— Я хотела сначала повидаться с тобой.

Сесилия отошла от двери, остановилась у стола и сунула окурок в горлышко бутылки из темного стекла. Раздалось шипение, и над горлышком заструился сизый дымок. У Брайони тошнота подступила к горлу. Она думала, что бутылки полны. Неужели она съела что-то несвежее за завтраком?

— Я знаю, почему ты этого не сделала, — сказала Сесилия. — Потому что ты, так же как и я, знаешь: они не захотят ничего слушать. Все эти неприятности остались далеко позади, большое спасибо. Что сделано — то сделано. Зачем ворошить прошлое? И тебе прекрасно известно: они поверили Хардмену.

Отойдя от умывальника, Брайони подошла к столу и встала напротив сестры. Ей было нелегко смотреть на эту красивую маску.

Тщательно подбирая слова, она начала:

— Я не понимаю, о чем ты говоришь. Какое он ко всему этому имеет отношение? Мне жаль, что он умер, жаль, что я этого не знала...

Ее насторожил какой-то звук. Это скрипнула дверь спальни. На пороге стоял Робби. На нем были армейские брюки, рубашка, начищенные ботинки, с пояса свисали подтяжки. Он был небрит, взъерошен и смотрел только на Сесилию. Она повернулась к нему, но не подошла. За те секунды, что они молча смотрели друг на друга, Брайони, частично скрытая от него сестрой, съежилась.

Он заговорил с Сесилией спокойно, будто они были одни:

— Я услышал голоса и подумал, что за тобой приехали с работы.

— Нет, все в порядке.

Робби взглянул на часы:

— Надо торопиться.

Он пересек комнату и, перед тем как выйти на площадку, слегка кивнул в сторону Брайони:

— Прошу меня извинить.

Было слышно, как закрылась дверь ванной. В наступившей тишине Сесилия сказала так, словно между ними ничего не произошло:

— Он так крепко спит. Я не хотела его будить. — И добавила: — Я полагала, что вам лучше не встречаться.

У Брайони дрожали колени. Держась для уверенности за край стола, она посторонилась, чтобы дать возможность Сесилии наполнить водой чайник. Ей очень хотелось сесть, но без приглашения она никогда бы этого не сделала, а спросить разрешения ни за что не посмела бы. Поэтому продолжала стоять у стены, делая вид, что не прислоняется к ней, и наблюдать за сестрой. Что было удивительнее всего, так это то, как быстро облегчение от того, что Робби жив, сменилось страхом оказаться с ним лицом к лицу. После того как она увидела его, мысль, что его могли убить, показалась ей странной. Ведь это было бы лишено всякого смысла. Она смотрела в спину сестре, суетившейся на крохотной кухоньке. Брайони хотелось сказать, как замечательно, что Робби благополучно вернулся. Какое это избавление! Но это прозвучало бы банально. Она не имела права говорить такое. Она боялась сестры, боялась ее презрения.

Брайони продолжало тошнить, теперь у нее, похоже, еще и поднялась температура. Она прислонилась щекой к стене — камень оказался холоднее, чем ее лицо. Брайони до смерти хотелось пить, но она ни о чем не могла просить сестру. Сесилия ловко управлялась с делами, разбавляя молоко водой, размешивая яичный порошок, выставляя на стол банку с джемом, три тарелки, три чашки. Брайони это отметила, но ощутила еще большую неловкость. Это лишь усилило ее дурное предчувствие. Неужели Сесилия действительно думает, что в подобной ситуации они смогут сидеть за одним столом и, не теряя аппетита, есть омлет? Или она хлопочет, чтобы просто успокоиться? Прислушиваясь к малейшим шорохам за дверью, чтобы не пропустить момент приближения шагов, и испытывая потребность хоть как-то отвлечься, Брайони попыталась снова завязать разговор. Несколько минут назад, когда дверь спальни отворилась, она увидела на ее внутренней стороне сестринский плащ.

— Сесилия, ты, наверное, уже старшая медсестра?

— Да, — ответила та тоном, исключая возможность развития темы: то, что у них одна профессия, не может служить поводом к сближению. Ничто не может. И до возвращения Робби говорить им не о чем.

Наконец из ванной послышался щелчок отодвигаемой задвижки. Робби что-то насвистывал. Брайони инстинктивно отпрянула от двери в темный угол комнаты, однако, когда Робби вошел, все равно оказалась в

поле его зрения. Правую руку он держал на весу, словно для рукопожатия, левой закрывал дверь. Если он и посмотрел на нее, то ничего драматического в его взгляде не было. Но когда их глаза встретились, он опустил руки и вздохнул, словно переводя дух, при этом продолжая сурово смотреть на нее. Брайони, невзирая на охвативший ее страх, не могла отвести от него взгляда. Она улавливала легкий аромат его туалетного мыла. Ее потрясло, насколько он постарел, особенно впечатляющими были морщины вокруг глаз. «Неужели все это из-за меня?» — глупо подумала она. Может, и война виновата?

— Значит, это была ты, — сказал он наконец и плотнее придавил дверь ногой.

Сесилия встала рядом с ним, он смотрел на нее.

Сестра точно и кратко изложила намерения Брайони, но не хотела или не могла скрыть сарказма в голосе:

— Брайони собирается всем рассказать правду. Однако прежде она хотела повидаться со мной.

— Ты предполагала, что я могу здесь оказаться? — спросил Робби, повернувшись к Брайони.

Она думала сейчас лишь об одном: только бы не расплакаться. В такой ситуации трудно было представить что-либо более унижительное. Облегчение, стыд, жалость к себе — она не могла понять, какое именно чувство, но оно охватило ее целиком. Удушливая волна поднялась к горлу, не давая говорить. Брайони сжала губы. Потом волна схлынула. Теперь она была в безопасности. Ей удалось сдержать слезы, но все же голос прозвучал жалким шепотом:

— Я не знала даже, жив ли ты.

— Если мы собираемся беседовать, может, лучше сесть? — предложила Сесилия.

— Не знаю, смогу ли я.

Он нервно отошел к другой стене, подальше от Брайони, прислонившись, сложил руки на груди и перевел взгляд с одной сестры на другую. Потом внезапно направился к спальне, но на пороге передумал, остановился и сунул руки в карманы.

Робби был крупным мужчиной, и комната, когда он в ней появился, казалось, стала меньше. В ограниченном пространстве его движения были скованными и нервными, словно он задыхался. Вынув руки из карманов, он пригладил волосы на затылке, потом уперся в бока, уронил руки вдоль туловища. Брайони не сразу поняла, что все эти лишние движения он совершает потому, что сердит, очень сердит, и как только она это осознала,

он заговорил:

— Что ты здесь делаешь? Только не надо толковать мне о Суррее. Никто не мешал тебе туда поехать. Почему ты здесь?

— Я хотела поговорить с Сесилией, — ответила Брайони.

— Ах да! О чем же?

— О том чудовищном, что я сотворила.

Сесилия подошла к нему поближе.

— Робби, — прошептала она, — дорогой... — Она положила руку ему на плечо, но он стряхнул ее.

— Не понимаю, зачем ты еепустила. — И, повернувшись к Брайони: — Буду с тобой абсолютно откровенен: я разрываюсь между желанием сломать твою глупую шею или вытащить тебя за дверь и спустить с лестницы.

Если бы у нее не было опыта общения с ранеными, она бы умерла от страха. Но она уже видела, как в больнице от бессилия скандалили солдаты. В кульминационный момент приступа ярости было бесполезно пытаться урезонивать или успокаивать их. Надо было дать им возможность выпустить пар, лучше всего было стоять и слушать. Она понимала, что даже вопрос: «Мне уйти?» — мог обернуться провокацией. Поэтому смотрела в лицо Робби и ждала своего часа.

Он говорил, не повышая голоса, но в каждом слове ощущалось чудовищное напряжение:

— Можешь ли ты хоть отдаленно вообразить, каково там, в тюрьме?

Брайони представила маленькие окошки, расположенные высоко под потолком в толстой каменной стене, муки ада, как представляет их себе большинство людей, и медленно покачала головой. Чтобы сдержаться, она пыталась сосредоточиться на тех переменах, которые произошли в Робби. Впечатление, что он стал выше ростом, вероятно, создавалось от его военной выправки. Никакому студенту Кембриджа такая осанка и не снилась. Даже в нынешнем состоянии крайнего возбуждения он не опускал плечи и подбородок держал высоко, как опытный боксер.

— Нет, разумеется, не можешь. А когда меня посадили, ты испытывала удовлетворение?

— Нет.

— Но ничего не предприняла.

Брайони, словно ребенок, со страхом ждущий наказания, много раз пыталась представить себе эту встречу. И вот это случилось, а ей кажется, что ее самой здесь нет, что она, оцепенев, наблюдает за происходящим откуда-то издалека. Но она уже сейчас понимала, что когда-нибудь его

слова нанесут ей глубокую рану.

Сесилия стояла рядом с Робби. Она снова положила руку ему на плечо. Он похудел, хотя казался теперь более сильным, его мышцы стали эластичными и упругими.

— Помнишь... — начала Сесилия, но он, стоя вполоборота к ней, продолжал свое:

— Ты считаешь, что я изнасиловал твою кузину?

— Нет.

— А тогда считала?

Она залепетала:

— Да, да и... нет. Я не была уверена.

— А что же помогло тебе теперь почувствовать уверенность?

Брайони колебалась, не желая, чтобы ее ответ выглядел попыткой самооправдания, желанием найти разумное объяснение, это могло взбесить его еще больше.

— Я повзрослела.

Робби уставился на нее, чуть приоткрыв рот. Он и впрямь изменился за последние пять лет. Непривычной была суровость во взгляде, глаза словно стали меньше, сощурились, а под ними появились отчетливые следы «гусиных лапок». Лицо выглядело уже, щеки ввалились, как у индейского воина. Робби отрастил короткие усы-щеточки по военной моде и был поразительно красив. Из глубины лет выплыло воспоминание: в возрасте десяти или одиннадцати лет она была страстно в него влюблена — то было настоящее наваждение, длившееся всего несколько дней. Потом, как-то утром в саду, она призналась ему в своих чувствах и тут же об этом забыла.

Она правильно сделала, что проявила осторожность: приступ гнева, еще недавно владевшего им, был из разряда тех, что избыывают себя сами, постепенно иссякая.

— Ты повзрослела, — эхом повторил он и вдруг взорвался снова так, что она подпрыгнула от испуга: — Черт бы тебя побрал! Тебе восемнадцать лет. Сколько еще тебе нужно времени, чтобы окончательно стать взрослой? Чтобы сделать то, что ты обязана? Солдаты в восемнадцать лет погибают на полях сражений, они достаточно взрослые, чтобы оставаться умирать вдоль дорог. Это тебе известно?

— Да.

Брайони находила жалкое утешение в том, что он не знает, чего она навидалась в последние дни. Странно, но, несмотря на чувство вины, она ощутила потребность оказать ему сопротивление. Либо так — либо она будет окончательно сломлена. Тем не менее она лишь слегка кивнула, не

посмеиваясь заговорить. При упоминании о смерти мощная волна чувств подхватила Робби, подняла над собственным гневом и ввергла в пучину замешательства и отвращения. Он тяжело, прерывисто дышал, беспрестанно сжимая и разжимая правый кулак, но продолжал смотреть на нее, смотреть прямо ей в душу с нестигаемой суровостью во взгляде. Глаза сверкали, он несколько раз громко сглотнул. Мышцы на шее напряглись. Он тоже изо всех сил старался не выдать своих чувств. В безопасности больницы Брайони видела лишь малую толику, крохи, — почти ничего, но и этого оказалось достаточно, чтобы понять, какие воспоминания мучают сейчас его. Робби ничего не мог с собой поделать, эти воспоминания терзали его душу, не давали говорить, их невозможно было выразить словами. Ей никогда не узнать, какие картины проносятся перед его мысленным взором, вызывая смятение. Он сделал шаг ей навстречу, и она съежилась, вжавшись в стену, ибо не была больше уверена в его безобидности — если он не в состоянии говорить, он может начать действовать. Еще шаг — и вот он уже может дотянуться до нее жилистой рукой. Но в этот момент Сесилия проскользнула между ними. Стоя спиной к Брайони, она заглянула в лицо Робби и положила руки ему на плечи. Он отвернулся.

— Посмотри на меня, — ласково прошептала она. — Робби, посмотри на меня.

Его ответа Брайони не разобрала, но поняла, что он возражал, не соглашался. Быть может, даже выругался. Когда Сесилия крепче обхватила его за плечи, он стал выворачиваться всем телом, они с Сесилией напоминали в тот момент борцов на ковре. Но сестра снова попыталась ладонями повернуть к себе его голову. Он отворачивался, обнажая зубы в подобии злорадной улыбки, однако она обеими руками еще крепче сжала его лицо и силой повернула. Наконец он посмотрел ей в глаза, однако она все не отпускала его, притягивая его голову все ближе, пока их лица не соприкоснулись, тогда она прильнула губами к его губам в ласковом долгом поцелуе. Потом с нежностью, так хорошо памятной Брайони по временам ее детства, прошептала:

— Проснись... Робби, проснись.

Он едва заметно кивнул, сделал глубокий вдох и протяжно выдохнул. Только после этого Сесилия осторожно убрала руки. В наступившей тишине показалось, что комната сжалась еще больше. Он обнял Сесилию, склонил голову и поцеловал ее нежным, нескончаемым, интимным поцелуем. Брайони бесшумно переместилась в дальний угол, к окну. Пока она наливала из-под крана воду в стакан и пила, влюбленная пара,

отрешившись от всего, что ее окружало, не разнимала губ. Брайони почувствовала себя вытолкнутой из комнаты, вычеркнутой из памяти и испытала облегчение.

Стоя к ним спиной, она смотрела в окно на тихие дома с террасами, освещенными солнцем, на дорогу, по которой пришла сюда с главной улицы. К ее собственному удивлению, ей не хотелось уходить, хотя их долгий поцелуй смущал ее и было неясно, что же за ним последует. Она увидела на противоположной стороне улицы женщину в теплом, несмотря на жару, пальто, которая вела на поводке, видимо, больную таксу с обвисшим животом. Теперь Сесилия и Робби тихо о чем-то говорили, Брайони решила, что из вежливости не должна оборачиваться, пока ее не окликнут. Она ощущала покой, глядя, как женщина открывает калитку, потом очень тщательно закрывает ее за собой, как на полпути к дому она с трудом наклоняется, чтобы вырвать сорняк из цветочного бордюра, тянувшегося вдоль дорожки до самого входа. Собака, ковыляя, подбрела и лизнула ей руку. Потом женщина с собакой зашли в дом, и улица снова опустела. Дрозд спикировал на изгородь из бирючины, но, не найдя чем поживиться, тут же снова взлетел. По небу скользнуло облако, на какой-то миг приглушив яркость солнечного света. Таким мог быть любой обычный субботний день. Мало что напоминало о войне на этой тихой пригородной улочке. Разве что кусок поднятого маскировочного полотнища в окне напротив да «форд» на кирпичных столбиках.

Брайони услышала, как сестра произнесла ее имя, и обернулась.

— У нас мало времени. Робби должен явиться к месту службы в шесть вечера, ему нельзя опаздывать на поезд, так что давайте присядем. Ты должна для нас кое-что сделать.

Это было типичное распоряжение старшей медсестры. Не то чтобы слишком начальственное — Сесилия просто излагала то, что должно быть сделано. Брайони села на ближний к ней стул, Робби принес табуретку, Сесилия поместилась между ними. О приготовленном ею завтраке никто и не вспомнил. В центре стола стояли три нетронутые чашки. Робби снял с него стопку книг и положил на пол, Сесилия сдвинула банку с колокольчиками так, чтобы она не свалилась, и переглянулась с Робби.

Тот откашлялся, глядя на цветы, а когда заговорил, голос звучал бесстрастно. Таким голосом можно зачитывать выдержки из правил поведения. Теперь он смотрел прямо на Брайони неподвижным взглядом, безукоризненно владея собой. Но на лбу, над бровями, у него выступили капельки пота.

— Самое важное ты уже сама решила сделать. Тебе нужно как можно

скорее поехать к родителям и рассказать все, что им необходимо знать, чтобы убедиться: твои показания были ложными. Когда у тебя выходной?

— В следующее воскресенье.

— Вот тогда и поезжай. Мы дадим тебе свои адреса, и ты скажешь Эмили и Джеку, что Сесилия ждет от них письма. Еще одну вещь ты должна сделать завтра. Сесилия говорит, что ты можешь выкроить час в течение рабочего дня. Поедешь к нотариусу, составишь заявление и подпишешь его в присутствии свидетелей. В этом заявлении должно быть сказано, что ты в свое время ошиблась и отзываешься назад прежние показания. Каждому из нас пришлешь по копии заявления. Тебе все ясно?

— Да.

— Потом ты напишешь мне подробное письмо. В нем ты должна сообщить все, что считаешь относящимся к делу. Все, что заставило тебя подумать, будто там, у озера, ты видела именно меня. И почему, несмотря на то что не была уверена, ты так упорно повторяла свою историю на протяжении тех месяцев, пока шло следствие. Если на тебя оказывалось давление со стороны полиции или родителей, я хочу это знать. Ты поняла? Это должно быть длинное письмо.

— Да.

Поймав взгляд Сесилии, он кивнул.

— И если ты сможешь хоть что-то вспомнить о Дэнни Хардмене — где он находился, что делал в то время, кто еще его видел, — все, что может поставить под сомнение его алиби, мы хотим это знать.

Сесилия между тем записывала адреса. Брайони затрясла головой и попыталась что-то сказать. Но Робби словно не замечал этого. Поднявшись и взглянув на часы поверх ее головы, он произнес:

— Осталось мало времени. Мы проводим тебя до метро. Нам с Сесилией нужно хоть час побыть наедине до моего отъезда. А тебе до конца сегодняшнего дня необходимо составить заявление и сообщить родителям о своем визите. Начинай также обдумывать письмо, которое ты пришлешь мне.

Сказав это, он направился в спальню.

Брайони тоже встала и заметила:

— Возможно, старый Хардмен говорил правду. Дэнни всю ночь был с ним.

Сесилия, собиравшаяся передать ей листок с адресами, застыла, Робби остановился на пороге спальни.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила Сесилия. — Что такое ты говоришь?

— Это был Пол Маршалл.

В наступившей тишине Брайони пыталась представить, о чем они сейчас думают. Ведь Сесилия и Робби годами представляли все по-другому. Впрочем, какой бы ошеломляющей ни оказалась для них ее новость, это была всего лишь деталь, которая не меняла сути дела. И ничего не меняла в роли Брайони.

Робби вернулся к столу.

— Маршалл?

— Да.

— Ты его видела?

— Я видела мужчину его роста.

— И моего.

— Да.

Сесилия встала и начала взглядом искать сигареты. Робби увидел их и бросил ей пачку через комнату. Сесилия затянулась, выдохнула дым и сказала:

— Не могу поверить. Он дурак, я знаю, но...

— Он жадный дурак, — согласился Робби, — но я не могу вообразить его рядом с Лолой, пусть даже всего на пять минут, которые потребовались...

Учитывая все случившееся пять лет назад и имевшее столь пагубные последствия, Брайони понимала, что это легкомысленно, тем не менее не могла не доставить себе удовольствия поделиться еще одной новостью:

— Я только что присутствовала при их венчании.

И снова — возгласы недоверчивого изумления: при венчании? Сегодня утром? В Клэпеме? Потом воцарилось молчание, время от времени нарушаемое отрывистыми репликами:

— Я его найду.

— Ты этого не сделаешь.

— Я убью его. — И тут же: — Пора идти.

Столько еще нужно было бы сказать. Но похоже, ее присутствие или предмет разговора окончательно измотали их. Или им просто хотелось побыть наедине. Так или иначе, стало очевидно, что встреча окончена. Пока они ничего больше не хотели знать — остальное могло подождать. Робби принес из спальни китель и фуражку. Брайони заметила капральские шевроны.

— До него не добаться, — заметила Сесилия. — Она всегда будет его покрывать.

Несколько минут ушло, пока она искала свои карточки. Наконец,

отчаявшись найти, предположила:

— Должно быть, они остались в Уилтшире, в коттедже.

Уже на пороге, открыв дверь, чтобы пропустить сестер, Робби сказал:

— Наверное, нам следует попросить прощения у матроса Королевского военно-морского флота Хардмена.

Миссис Джарвис не вышла из своей комнаты, когда они уходили. За дверью продолжало работать радио, звучал кларнет. Когда Брайони переступила порог, ей показалось, что настал другой день. Сильный ветер нес песок, все контуры обрели резкие очертания, свет казался еще более ярким, почти нигде не было тени. Тротуар был слишком узок для троих, поэтому Робби и Сесилия, держась за руки, шли позади. Брайони чувствовала, как лопнувшая кожа на пятке болезненно трется о грубый задник туфли, но она скорее умерла бы, чем позволила себе хромать у них на глазах. Ей чудилось, что за ней наблюдают из всех окон. В какой-то момент, обернувшись, она сказала, что прекрасно доберется до метро сама. Но они настаивали. Им все равно нужно было кое-что купить Робби в дорогу. Шли молча. Ничего не значащая болтовня была бы сейчас неуместна. Брайони понимала, что не имеет права спрашивать ни Сесилию о том, куда она переезжает, ни Робби о том, куда переводят его, ни даже о коттедже в Уилтшире. Интересно, колокольчики — оттуда? Там, конечно, у них была идиллия. Не могла она спросить и о том, когда они рассчитывают увидаться снова. У нее с Сесилией и Робби общим был только один сюжет, относившийся к прошлому, не подлежащему исправлению.

Они стояли у входа на станцию «Бэлхем», которой три месяца спустя, в ходе бомбежек, предстояло обрести печальную известность. Их обтекал тонкий ручеек воскресных прохожих, спешивших в магазины, поэтому невольно приходилось стоять вплотную друг к другу. Они холодно попрощались. Робби напомнил, чтобы Брайони не забыла деньги, когда пойдет к нотариусу. Сесилия — чтобы она не забыла их адреса, когда поедет в Суррей. Вот и все. Они молча ждали, когда она уйдет. Но оставалось еще одно, что было необходимо сказать.

— Мне очень, очень жаль, — медленно произнесла она. — Я виновата в вашем чудовищном несчастье. — Они продолжали молча смотреть на нее, и она повторила: — Я очень виновата.

Это прозвучало глупо и неуместно, словно речь шла о чьем-то сломанном любимом домашнем растении или забытом дне рождения.

— Просто сделай все, о чем мы тебя просили, — мягко сказал Робби.

Это «просто» показалось ей почти желанием утешить, но не совсем еще, нет.

— Разумеется, — заверила она, после чего повернулась и пошла прочь, полагая, что они наблюдают, как она приближается к кассе и покупает билет до станции «Ватерлоо». Подходя к турникету, она оглянулась. Их уже не было.

Показав билет, Брайони через освещенный грязновато-желтым светом вестибюль дошла до скрипящего и лязгающего эскалатора и, надвинув капюшон, начала погружаться навстречу черноте, наполненной дыханием миллионов лондонцев, воздух охлаждал ее разгоряченное лицо. Она стояла неподвижно, позволяя эскалатору нести ее вниз и радуясь, что может двигаться, не ощущая боли в пятке. Ее удивило, какую безмятежность — ну разве что с легкой примесью печали — она ощущала. Была ли она разочарована? Но ведь и не следовало ждать, что ее простят. То, что она чувствовала, скорее напоминало тоску по дому, хотя для этого не было никаких оснований, да и дома не было. Но как оказалось грустно расставаться с Сесилией! Если она о чем-то и тосковала, так это о сестре, вернее, о сестре, вновь обретшей Робби. Об их любви, которую не смогли разрушить ни она, Брайони, ни война. Именно это утешало ее, пока она все глубже погружалась в недра под городом. Как Сесилия притягивала его к себе одним взглядом! И эта нежность в ее голосе, когда она просила его проснуться, очнуться от своих воспоминаний о Дюнкерке и дороге, которая привела его туда. Давным-давно, когда Сесилии было шестнадцать, а Брайони всего шесть и когда у нее случалась какая-нибудь беда, сестра, бывало, вот так же разговаривала и с ней. Или по ночам, когда Брайони мучили кошмары, Сесилия будила ее, забирала к себе и говорила те самые слова: *Проснись. Это всего лишь дурной сон. Проснись, Брайони.* Как легко забылась та бездумная сестринская любовь! И вот Брайони скользит вниз через этот желтый мутный свет, почти на самое дно. Других пассажиров не было видно, воздух вдруг сделался неподвижным. Поняв, что ей следует сделать, она окончательно успокоилась. Письмо родителям и составление официального заявления займут совсем немного времени. Остаток дня будет свободен. Она знала, что от нее требуется. Не просто письмо, а *новый вариант*, искупление, и она была готова начать:

Б. Т.

Лондон, 1999

Какое странное наступило время. Сегодня, в день своего семидесятилетия, я решила нанести прощальный визит в Ламбет, в библиотеку Имперского военного музея. Это весьма соответствовало моему настроению. Читальный зал, расположенный прямо под куполом здания,

некогда был часовней Вифлеемской королевской больницы — знаменитого Бедлама. Там, где когда-то возносили молитвы скорбные умом, теперь собираются ученые, чтобы исследовать массовое военное помешательство. Машина, которую родственники должны были прислать за мной, ожидалась не раньше чем после обеда, поэтому я вознамерилась отвлечься: окончательно уточнить некоторые детали и попрощаться с хранителем архива и приветливыми зрителями, сопровождавшими меня в читальный зал на лифте все эти последние зимние недели, а также передать в дар местному архиву дюжину сохранившихся у меня длинных писем старого мистера Неттла. Наверное, я хотела сделать себе подарок ко дню рождения: провести час-другой, притворяясь занятой важными делами, кои подходили к концу, — это тоже было вынужденным этапом процедуры ухода. В таком же состоянии неестественного подъема я вчера днем разбирала бумаги в своем кабинете, и вот теперь все черновики датированы, сложены в хронологическом порядке, фотокопии документальных источников надписаны, чужие книги приготовлены для возвращения владельцам, все разложено по полочкам. Я всегда любила наводить порядок в конце.

Было слишком холодно и сыро, поэтому я не решилась ехать на общественном транспорте. На Риджентс-Парк взяла такси и, пока мы тащились в пробках через центр Лондона, думала о тех убогих обитателях Бедлама, которые некогда служили забавой для публики, и — с жалостью к себе — о том, что скоро мне предстоит пополнить их ряды. Результаты моего обследования были готовы, и вчера утром я отправилась к врачу, чтобы узнать, каковы они. Новости оказались неутешительными. Он так и сказал сразу же, не успела я сесть. Мои головные боли и тяжесть в висках имели, как оказалось, вполне определенную и весьма зловещую причину. Доктор карандашом обвел на томограмме смазанное зернистое пятно в одном из отделов мозга. Я заметила, что карандаш в его руке дрожал, и подумала: не страдает ли он сам каким-нибудь внутренним расстройством? Я бы предпочла, чтобы так и было, — примерно то же, что пожелать убить гонца, приносящего дурную весть. Доктор сказал, что у меня последовательно происходят микроскопические, едва заметные инсульты. Процесс будет развиваться медленно, но мой мозг, мой ум уже деградирует. Небольшие провалы в памяти, которые с наступлением определенного возраста свойственны всем, у меня будут становиться все ощутимее, все мучительнее, пока не наступит момент, когда я перестану их замечать, потому что утрачу способность понимать что-либо вообще. Я не буду помнить того, что случилось несколько дней назад, утром или даже

десятью минутами раньше. Мой номер телефона, адрес, мое имя и все, что я сделала с собственной жизнью, — все сотрется из памяти. Через два, три или четыре года я перестану узнавать еще остававшихся в живых ближайших друзей, а просыпаясь по утрам, понимать, что нахожусь в собственной спальне. Впрочем, вскоре и находиться там перестану, поскольку мне понадобится постоянный уход.

Доктор сказал, что эта болезнь называется тромбоваскулярным слабоумием, но в утешение раз десять повторил, что процесс будет идти медленно и что это гораздо лучше, чем болезнь Альцгеймера, для которой характерны резкие перепады настроения и приступы агрессивности. У меня же, если повезет, все пройдет легко. Я не буду страдать — просто превращусь в безмозглую старую курицу в инвалидном кресле, ничего не знающую, ничего не ждущую. Я сама попросила, чтобы он был со мной откровенен, так что жаловаться не на что. Между тем он уже торопил меня: в приемной очереди дожидались еще двенадцать человек. Подавая мне пальто, он подвел краткий итог, начертав мой ближайший жизненный маршрут: потеря памяти, как долгой, так и сиюминутной, утрата членораздельной речи (сначала начнут выпадать простейшие гласные, потом я лишусь речи как таковой вместе с равновесием), а вскоре после этого — контроля за всеми моторными и, наконец, нервными реакциями. Счастливого пути!

Поначалу я вовсе не пришла в отчаяние. Напротив, у меня возникло приподнятое настроение и появилось желание немедленно поделиться новостью с ближайшими друзьями. Я целый час болтала с ними по телефону. Может, я уже начала утрачивать контроль над собой, но это казалось мне чрезвычайно важным. Всю вторую половину дня я провела в пустых хлопотах у себя в кабинете, и, когда с помощью прислуги наконец закончила труды, на полках стояло шесть новых ящиков с папками. Вечером пришли Стелла с Джоном, и мы заказали из китайского ресторана ужин, за которым они усидели две бутылки моргона.^[39] Я пила зеленый чай. Моих очаровательных друзей описание моей будущности повергло в уныние. Им обоим за шестьдесят — возраст, в котором люди начинают тешить себя мыслью, будто семьдесят семь — еще не старость. Сегодня, тащась в такси со скоростью пешехода через весь Лондон под ледяным дождем, я почти не могла думать ни о чем ином. Я сойду с ума, напоминала я себе. Господи, не дай мне сойти с ума! Но в глубине души я в это не верила. А что, если я не что иное, как жертва современных методов диагностики; в другом веке обо мне сказали бы, что я просто становлюсь старухой и от этого слабею рассудком. Чего тут еще ожидать? Я всего лишь

умираю; затухая, погружаюсь во мрак небытия.

Лавируя по боковым улочкам Блумсбери, такси миновало дом, где мой отец жил со своей второй женой, и дом, в полуподвальном этаже которого я сама жила и работала в пятидесятые годы. По наступлении определенного возраста путешествие по городу пробуждает слишком много грустных воспоминаний: количество адресов, по которым некогда жили люди, отошедшие ныне в мир иной, становится удручающим. Мы пересекли площадь, где Леон в свое время героически выхаживал свою жену, а потом один растил непоседливых детей с преданностью, изумлявшей всех нас. Когда-нибудь некий пассажир в проезжающем мимо такси вот так же мимолетно вспомнит и обо мне. Внутреннее кольцо Риджентс-Парка — весьма популярный городской маршрут.

Мы переезжали на ту сторону реки по мосту Ватерлоо. Я подалась вперед, чтобы не пропустить вид на город со своей любимой точки обзора, вертела головой в сторону собора Святого Павла, находящегося вниз по течению, в сторону Биг-Бена — вверх по течению, разглядывала пышное величие туристского Лондона между ними, но, физически чувствуя себя превосходно, полноценной душевной радости не испытывала — не знаю уж, следовало ли винить в том мои головные боли и легкую усталость. Несмотря на свое увядание, я по-прежнему ощущала себя прежней, той, какой была всегда. Молодым это объяснить трудно. Мы можем выглядеть в их глазах ископаемыми рептилиями, но все равно мы с ними одной крови. В предстоящие год-два, впрочем, я буду постепенно терять право на это привычное утверждение. Те люди, которые больны серьезно, которые страдают душевными расстройствами, действительно принадлежат к иной, низшей расе. И никто не убедит меня в обратном.

Мой шофер выругался: на том берегу из-за дорожных работ пришлось делать объезд через старый Каунти-Холл.^[40] Когда мы огибали его, направляясь к Ламбету, я мельком увидела больницу Святого Фомы. Во время бомбардировок Лондона она была разрушена — слава богу, меня там тогда не было, — а здания, построенные на ее месте, в том числе и башня, — это просто национальный позор. Кроме больницы Святого Фомы мне довелось в разное время работать еще в двух больницах — Олдер-Хей и Восточносуссексской королевской. В своем повествовании я смешала все эти три периода, чтобы сконцентрировать все впечатления в одном месте. Удобный прием и не самая серьезная моя погрешность против истины.

Когда, развернувшись на сто восемьдесят градусов, водитель остановил машину у главных ворот музея, дождь был уже не таким проливным. Роясь в сумке в поисках двадцатипятифунтовой банкноты и

открывая зонтик, я не заметила автомобиля, припаркованного прямо перед фасадом здания, пока не отъехало мое такси. Это был черный «роллс-ройс». В первый момент мне показалось, что в нем никого нет, но потом я увидела шофера — такого миниатюрного мужчину, что из-за руля его почти не было видно. Следует ли считать то, что я собираюсь сейчас описать, таким уж поразительным совпадением? Не уверена. При виде пустого «роллса» я нередко вспоминаю о Маршаллах. За долгие годы это превратилось в привычку. Мысли о них часто посещают меня, не вызывая, впрочем, особых чувств. Я выросла с этим. Время от времени сообщения о них появляются на страницах газет в связи с их фондом, их добрыми деяниями на благо медицинских исследований, коллекцией, принесенной ими в дар галерее Тейт, или щедрым субсидированием сельскохозяйственных проектов в Центральной Африке. Пишут также об устраиваемых ею приемах и яростной борьбе с диффамацией в печати. Поэтому ничего удивительного не было в том, что, подходя к массивным пушкам-близнецам, украшающим вход в музей, я думала о лорде и леди Маршалл, но, увидев, как они собственными персонами спускаются мне навстречу, испытала шок.

Их провожали группа официальных лиц — среди них я узнала директора музея — и фотограф. Два молодых человека раскрыли зонты над головами Маршаллов, как только те вышли из-под портика. Я замедлила шаг, но не остановилась, чтобы не привлекать к себе внимания. Почетные гости обменялись рукопожатиями с хозяевами, потом лорд Маршалл что-то сказал, и все весело рассмеялись. Он опирался на лакированную трость, ставшую, насколько мне известно, его фирменным знаком. Потом он, его жена и директор музея приняли позу, чтобы фотограф мог сделать снимок, после чего Маршаллы в сопровождении двух молодых людей в строгих костюмах, несших над их головами зонты, начали спускаться, предоставив музейной администрации почтительно смотреть им вслед. Я старалась понять, в какую сторону они направлятся, чтобы не столкнуться с ними лоб в лоб. Они пошли слева от пушек, я соответственно тоже.

Отчасти скрытая пушечными стволами и цементными пьедесталами, отчасти загораживаясь зонтом, я оставалась невидимой, зато сама хорошо видела все. Они прошли мимо молча. По газетным фотографиям я уже знала, как выглядит теперь Маршалл. Несмотря на желтушные пятна — признак заболевания печени — и лиловые мешки под глазами, он приобрел наконец вид типичного бессердечного плутократа, по-своему красивого, хотя и несколько ссохшегося. К старости его лицо скукожилось и в значительной мере лишилось того деления на две неравные части, которое

было ему свойственно. Короче стала челюсть — усыхание костей пошло лицу на пользу. Маршалл не слишком твердо держался на ногах и переваливался при ходьбе, но для восьмидесятивосьмилетнего старика двигался неплохо. С годами начинаешь судить о подобных вещах со знанием дела. Однако видно было, что он тяжело опирается на руку жены и палка служит ему не только для украшения. В газетах часто писали о том, сколько хорошего он сделал для общества — видно, всю жизнь замаливал свой грех. А может быть, просто не задумываясь жил той жизнью, которую считал своей.

Что же касается Лолы — моей великосветской кузины, заядлой курильщицы, — то вот она была передо мной, все такая же поджарая и резвая, как борзая, и все такая же верная. Кто бы мог подумать? Как говорится, знала, где найти теплое местечко. Возможно, дурно так говорить, но именно эта мысль мелькнула у меня в голове, когда я увидела ее. На ней была соболиная шуба и ярко-красная мягкая шляпа с широкими полями: скорее смело, чем вульгарно. В свои почти восемьдесят лет она еще ходила на высоких каблуках, которые сейчас цокали по тротуару, как дробь шагов куда более молодой женщины. Никаких следов курения. С ее искусственным загаром она вообще выглядела как женщина, ведущая здоровый образ жизни на лоне природы. Теперь она казалась выше мужа, и ее неиссякаемая энергия не оставляла сомнений. Но в то же время было в ней нечто комичное — или уж это я хватаюсь за соломинку? Она переусердствовала с косметикой: кричащая помада, слишком толстый слой тонального крема и пудры. Впрочем, я всегда была в этом отношении пуританкой, так что мое мнение немногочего стоит, но мне казалось, что в ее облике есть что-то от сценической злодейки — костлявая фигура, темная шуба, кроваво-красный рот. Ей бы еще сигарету в длинном мундштуке и комнатную собачку под мышку — получилась бы ни дать ни взять Круэлла де Виль.^[41]

Чтобы пройти мимо друг друга, нам потребовалось всего несколько секунд. Я поднялась по ступенькам и, спрятавшись от дождя под фронтоном, наблюдала, как они подходят к машине. Его усаживали первым, именно тут я поняла, насколько он слаб. Он не мог ни согнуться в пояснице, ни стоять, опираясь на одну ногу. Сопровождающим пришлось почти на руках вносить его в машину. Дальнюю заднюю дверцу держали открытой для леди Лолы, которая с потрясающей проворностью сложилась пополам и нырнула в салон. Подождав, пока «роллс-ройс» вольется в поток уличного движения, я вошла в музей. На сердце после этой встречи легла какая-то тяжесть, и я постаралась выбросить ее из головы и из сердца. Мне

и без того хватает переживаний. Однако, сдавая в гардероб сумку и обмениваясь приветствиями со зрителями, я никак не могла заставить себя стереть из памяти вид пышущей здоровьем Лолы. По местным правилам зритель должен сопровождать посетителя в читальный зал на лифте, в тесном пространстве которого разговор, во всяком случае у меня, всегда получается вымученным. Обмениваясь репликами — чудовищная погода, но к концу недели обещают улучшение, — я продолжала думать о только что состоявшейся встрече с точки зрения здоровья: возможно, я переживу Пола Маршалла, но Лола наверняка переживет меня. Последствия очевидны. Все эти годы прошлое оставалось между нами. Как сказал однажды мой редактор, публикация романа будет неизбежно означать судебную тяжбу. Но сейчас я не хотела об этом думать. У меня и так достаточно сюжетов, о которых я думать не желаю. Сюда я пришла по делу.

Мы немного поболтали с хранителем архивов. Я передала ему связку писем мистера Неттла, касающихся событий при Дюнкерке. Письма были приняты с благодарностью, они будут приобщены к остальным документам, ранее подаренным мной музею. Некоторое время назад хранитель заочно познакомил меня с обязательным старым полковником из «Баффс», историком-любителем, который прочел соответствующие страницы моей рукописи и по факсу прислал свои замечания. Теперь хранитель вручил их мне — колкие, раздраженные, но полезные, и я, слава богу, погрузилась в них, забыв обо всем.

«Ни при каких обстоятельствах (подчеркнуто дважды) военный на службе британской армии не командует: „Бегом!“ Таковую команду может дать только американец. Правильно: „Бегом марш!“»

Обожаю подобный «пуантилизм» в соблюдении достоверности деталей, исправление мелочей в целом приносит удовлетворение.

«Никому в голову не придет сказать: „двадцатипятифунтовая пушка“. Существует термин: „пушка двадцать пятого калибра“ или разговорное „двадцатипятипятка“. Ваше определение покажется странным даже человеку, не служившему в королевской артиллерии».

Как полицейские, отслеживающие преступника, мы ползем к истине на четвереньках, вглядываясь в мельчайшие следы.

«Ваш парень из королевских ВВС носит берет. Не думаю, что это правильно. В 1940 году, кроме танкистов, никто в армии их не носил. Думаю, Вам лучше надеть на него пилотку».

В конце полковник, начавший свое письмо с обращения «Мисс Толлис», позволил себе намек на мой пол как причину

некомпетентности — не женское, мол, это дело влезать в подобные сферы.

«Мадам (подчеркнуто трижды) — „юнкерсы“ никогда не снаряжались „тысячетонной бомбой“. Вы отдаете себе отчет в том, что даже военноморской фрегат весит меньше? Предлагаю Вам разобраться в этом вопросе доскональнее».

Ну это-то просто опечатка. Я имела в виду «тысячефунтовую» бомбу. Внося соответствующие поправки, я написала полковнику благодарственное письмо, заплатила за то, чтобы мне сделали несколько фотокопий тех документов, которые я подготовила для собственного архива, вернула книги дежурному библиотекарю, собрала нужные и выбросила ненужные бумаги. На рабочем месте не осталось ни малейшего следа моего пребывания. Прощаясь с хранителем, я узнала, что фонд Маршалла собирается выделить музею крупную субсидию. После того как я обменялась рукопожатиями с библиотекарями и пообещала выразить в книге благодарность архиву музея за оказанную помощь, вызвали смотрителя, которому надлежало проводить меня вниз. Молодая гардеробщица любезно вызвала такси, а один из младших служителей вестибюля донес мою сумку до самого тротуара.

На обратном пути я думала о замечаниях полковника, вернее, об удовольствии, которое получила, внося его незначительные поправки. Если бы я действительно так уж заботилась о фактической достоверности, я бы написала совсем другую книгу. Но моя работа закончена. Никаких других вариантов не будет. Эта мысль оказалась последней перед тем, как такси въехало в старый трамвайный туннель под Олдвичем; сразу после этого я заснула. Шофер разбудил меня, когда машина уже стояла перед моим домом в Риджентс-Парке.

Выложив на стол бумаги, привезенные из библиотеки, я сделала себе сэндвич и начала собирать вещи, которые могли понадобиться для поездки с ночевкой. Слоняясь по квартире из одной хорошо знакомой комнаты в другую, я отдавала себе отчет в том, что независимости моей скоро придет конец. На столе в рамке стоял портрет моего мужа Тьерри, сделанный в Марселе за два года до его смерти. Когда-нибудь я буду спрашивать, кто это. Чтобы успокоиться, я стала выбирать платье для вечера в честь моего дня рождения. Возможно, моя болезнь способствует омоложению организма: я оказалась худее, чем была год назад. Перебирая развешанные на плечиках костюмы, я на несколько минут забыла о своем диагнозе. В конце концов мой выбор пал на отрезное кашемировое платье серебристо-серого цвета. Остальное подобрать было нетрудно: белый атласный шарфик, камейя, доставшаяся мне в наследство от Эмилии, — чтобы

заколоть его, открытые туфли-лодочки — без каблуков, разумеется, — и просторная черная шаль. Закрыв чемодан, я отнесла его в прихожую, поразившись тому, как он легкий.

Моя секретарша придет завтра, до моего возвращения. Я оставила ей записку с перечнем просьб. Потом налила себе чашку чаю, взяла книгу и уселась в кресле у окна с видом на парк. Я всегда умела заставить себя не думать о том, что меня по-настоящему тревожило, но читать сейчас все равно не получалось. Я была слишком взволнована. Поездка в деревню, ужин в мою честь, возобновление семейных связей... А ведь у меня только что состоялся тот самый классический «откровенный разговор с доктором». По идее, мне следовало пребывать в глубокой депрессии. Может быть, я, как нынче выражается молодежь, уже в отключке? Но это все равно ничего не меняет. Машину оставалось ждать еще не менее получаса, меня одолевало беспокойство. Встав с кресла, я несколько раз прошлась по комнате. От долгого сидения у меня начинают болеть колени. Меня преследовал образ Лолы: суровость этого старого, кричаще раскрашенного лица, отвага, с которой она шла на своих опасных высоких каблуках, ее жизненная энергия, то, как шустро она нырнула в «роллс-ройс». Неужели я соревновалась с ней, вышагивая по ковру от камина до дивана? Начиная с тех пор, когда ей перевалило за пятьдесят, я всегда думала, что бурная светская жизнь и курение сведут ее в могилу. И вот ей уже почти восемьдесят, а у нее все такая же ненасытная жажда жизни и щеголеватый вид. Она всегда была типичной старшей девочкой с чувством собственного превосходства и всегда стояла на одну ступеньку выше меня. Но в этом последнем важном деле я ее обскачу, она, глядишь, доживет до ста. При жизни я не смогу опубликовать свою книгу.

«Роллс», должно быть, произвел-таки на меня впечатление, потому что, когда, опоздав на пятнадцать минут, машина за мной все-таки пришла, я испытала разочарование, хотя обычно такие вещи меня не трогают. Это была пыльная малолитражка с затянутым нейлоновой шкурой под зебру задним сиденьем. Зато таксист, карибец по имени Майкл, оказался веселым и предупредительным, он тут же взял у меня чемодан и без всякой просьбы с моей стороны сдвинул переднее пассажирское сиденье, чтобы мне было просторнее сидеть сзади. Поскольку мы сразу выяснили, что я не люблю гроыхающей музыки, независимо от громкости, а у него было неважное настроение и он нуждался хоть в каком-то развлечении, мы, придя к обоюдному согласию, заговорили о семьях. Отца своего он не знал, а мать работала врачом в Мидлсексской больнице. Сам он окончил юридический факультет Лестерского университета и собирался писать докторскую

диссертацию в Лондонской школе экономики на тему «Законодательство и нищета в Третьем мире». Когда мы выехали за пределы Лондона через унылый Уэст, он вкратце изложил мне свою теорию: нет законов о собственности, стало быть, нет капитала, а следовательно, и благосостояния.

— Вполне юридический подход, — заметила я. — Многообещающее дело для вас самого.

Он вежливо рассмеялся, хотя, видимо, счел меня безнадежной тупицей. В наши дни совершенно невозможно судить об уровне образования человека по тому, как он говорит, одевается, какие у него предпочтения в музыке. Безопаснее всего обращаться с каждым встречным как с высоким интеллектуалом.

Мы проговорили минут двадцать, и, когда машина выехала на шоссе и мотор забубнил монотонно, без перебоев, я снова заснула, а проснувшись, увидела, что мы уже на проселочной дороге. Голова у меня была болезненно стиснута железным обручем. Я достала из сумки три таблетки аспирина и, с отвращением разжевав, проглотила их. Какую еще часть рассудка и памяти отнял у меня крохотный удар, вероятно случившийся, пока я спала? Мне этого никогда не узнать. Именно тогда, сидя на заднем сиденье малолитражного такси, я впервые испытала нечто близкое к отчаянию. Я бы не сказала, что меня охватила паника, это было бы преувеличением. Может быть, своего рода клаустрофобия: ощущение беспомощного заточения в зоне распада и чувство, будто я уменьшаюсь в размерах. Тронув Майкла за плечо, я попросила его включить свою музыку. Он решил, что я хочу напоследок, поскольку мы приближались к пункту назначения, сделать ему уступку, и отказался. Но я настояла, и бухающий, словно молот, гулкий басовый ритм заполнил салон, а поверх него несильный баритон запел на неведомом мне карибском наречии что-то похожее на ребячьи стишки или считалочку. Это позабавило меня и помогло. Незнакомые слова звучали совсем по-детски, хотя, скорее всего, выражали нешуточные страсти. Я не стала просить перевести их мне.

Музыка продолжала играть, когда мы свернули на подъездную аллею отеля «Тилни». Прошло более двадцати пяти лет с тех пор, как я последний раз ехала по ней в день похорон Эмили. Первое, что бросилось в глаза, — отсутствие деревьев на парковой лужайке; гигантские вязы, должно быть, погибли от какой-то болезни, а оставшиеся дубы спилили, чтобы освободить проход для игроков в гольф. Несколько спортсменов-любителей в сопровождении своих кадди^[42] как раз пересекали аллею, и нам пришлось притормозить, чтобы пропустить их. Я невольно подумала о них

как о правонарушителях. Лес, окружавший старое бунгало Грейс Тернер, стоял нетронутым, и, когда аллея обогнула последнюю стайку берез, открылся вид на главный дом. Испытывать ностальгию не приходилось — дом всегда был уродливым. Но издали у него был сейчас такой голый и незащищенный вид. Плющ, некогда скрадывавший яркость красного фасада, оборвали, вероятно, для того, чтобы он не разрушал кладку. Вскоре мы уже приближались к первому мосту, и я увидела, что озера больше нет. Мост возвышался теперь над идеальной лужайкой: такую траву можно иногда увидеть лишь в старых крепостных рвах. Само по себе это не производило неприятного впечатления, если не знать, что было на этом месте прежде, — осока, утки, гигантские карпы, которых однажды двое бродяг жарили и ели, устроив себе пир у островного храма, тоже ныне исчезнувшего. На его месте стояла деревянная скамья с урной для мусора. Остров, который, разумеется, больше таковым не являлся, представлял собой продолговатый холм, поросший густой шелковистой травой, и напоминал древний могильник. Среди травы были разбросаны кусты рододендронов и какие-то еще другие. Вокруг холма бежала гравиевая дорожка, вдоль которой там и сям тоже были установлены скамейки и сферические садовые светильники. Я даже не пыталась найти то место, где когда-то утешала юную тогда будущую леди Лолу Маршалл, потому что мы уже переезжали через второй мост и замедляли ход, чтобы свернуть на асфальтированную стоянку для автомобилей, тянущуюся вдоль всего дома.

Майкл отнес мой чемодан в регистратуру, расположившуюся в нашем старом вестибюле. Как странно, что только теперь черно-белые плитки пола позаботились затянуть плетеным из шнура ковром. С акустикой здесь всегда были проблемы, хотя мне это не мешало. Из встроенных динамиков лилась бурная мелодия Вивальди. На благопристойном столе регистратора, сделанном из тропического дерева, стояли компьютерный монитор и ваза с цветами, а по бокам — два комплекта доспехов; надо всем этим висел некогда украшавший нашу столовую групповой портрет, с помощью которого мой дед пытался намекнуть на наличие у семьи древних родовых корней. Я дала Майклу чаевые и искренне пожелала ему удачи с правами на собственность и ликвидацией нищеты. Этим я пыталась дезавуировать свою неуклюжую шутку насчет юристов. Он поздравил меня с днем рождения, пожал руку — каким слабым, неуверенным было его рукопожатие — и отбыл. Строгая девушка-регистратор в деловом костюме выдала мне ключ и сказала, что библиотека сегодня зарезервирована под наше вечернее торжество. Несколько уже прибывших его участников вышли прогуляться. Аперитив в шесть. Коридорный отнесет мой чемодан

наверх. Если желаю, я могу воспользоваться лифтом.

Итак, меня никто не встречал, но это было даже лучше. Я предпочитала в одиночестве освоиться со всеми здешними переменами, прежде чем предстать перед публикой в качестве виновницы торжества. Поднявшись на третий этаж, я прошла через противопожарную стеклянную дверь, отделявшую площадку лифта, и двинулась по коридору. Натертые до блеска половицы знакомо поскрипывали под ногами. Было странно видеть двери спален запертыми и снабженными номерами. Номер моей комнаты — семь, — разумеется, ни о чем мне не говорил, но я уже догадывалась, где именно буду спать. Во всяком случае, остановившись перед дверью с табличкой «7», я ничуть не удивилась. Это была не моя старая спальня, а комната тетушки Венеры, из окна которой, как всегда считалось, открывался самый красивый вид: на озеро, аллею, лес и холмы за ним. Должно быть, ее специально заказал для меня Чарлз, внук Пьеро, вдохновитель и организатор сего мероприятия.

Войдя, я была приятно удивлена: две смежные комнаты присоединили к этой, устроив трехкомнатные апартаменты. На низком стеклянном столике стоял гигантский букет оранжерейных цветов. Необозримая высокая кровать, на которой без единой жалобы так долго пролежала тетушка Венера, исчезла вместе с резным комодом и зеленой шелковой софой. Они перешли в собственность старшего сына Леона от второго брака и покоятся в замке где-то в горах Шотландии. Но новая мебель была хороша, и мне мои апартаменты понравились. Чемодан уже стоял на месте, я заказала чай, повесила платье на плечики и обследовала свою гостиную с письменным столом и красивой настольной лампой. Меня потрясла огромная ванная комната с вазой, наполненной ароматической смесью сухих цветочных лепестков, и комплектом полотенец на обогреваемых держателях и порадовало то, что все вокруг не казалось мне свидетельством новомодной безвкусицы, — с годами это легко превращается в привычку. Я задержалась у окна полюбоваться на косые солнечные лучи, освещавшие поле для гольфа и скользившие по голым деревьям на дальних холмах. Мне было трудно смириться с отсутствием озера, но его ведь когда-нибудь можно и восстановить, а сам дом, став отелем, несомненно, был теперь согрет человеческой радостью больше, чем тогда, когда я здесь жила.

Чарлз позвонил час спустя, когда я подумывала уже о том, чтобы начать одеваться. Он предложил зайти за мной в шесть пятнадцать — пусть сначала соберутся все остальные — и отвести вниз, чтобы обставить мое появление как торжественный выход. Таким образом, я вошла в огромную

Г-образную комнату, опираясь на его руку, в своем кашемировом наряде, под аплодисменты полусотни родственников, которые тут же приветственно подняли бокалы. В первый момент мне показалось, что я никого не узнаю. Ни одного знакомого лица! Может быть, это предзнаменование обещанного беспамятства? — мелькнуло у меня в голове. Потом лица начали постепенно фокусироваться. Следовало сделать скидку на мой возраст и на ту скорость, с которой грудные дети превращаются в десятилетних сорванцов. Я безошибочно узнала брата, сгорбившегося и съехавшего на бок в своем инвалидном кресле, с салфеткой, заткнутой за воротник, чтобы не испортить костюм шампанским, проливающимся из бокала, который кто-то держал у его рта. Когда я наклонилась поцеловать Леона, ему удалось изобразить улыбку той половиной лица, которая не была парализована. Узнала я и длинного Пьеро, сморщившегося и обзаведшегося плешью на макушке, на которую мне захотелось положить руку, но все такого же сияющего. Он выглядел истинным отцом семейства. Между нами был негласный договор: мы никогда не упоминали о его сестре.

Я двигалась вдоль стены в сопровождении Чарлза, который подсказывал мне имена. Какое удовольствие оказаться в таком доброжелательном семейном кругу! Мне заново представили детей, внуков и правнуков Джексона, умершего пятнадцать лет назад. Надо сказать, что немалую часть присутствующих составляли близнецы из его потомства. Леон тоже достиг немало: четырежды женатый, он был преданным отцом всем своим многочисленным детям. Возраст присутствующих колебался между тремя месяцами и его восьмьюдесятью девятью годами. А какое разнообразие голосов — от хриплого баса до детского визга — раздавалось, когда официанты второй раз стали обносить всех шампанским и лимонадом. Пожилые дети троюродных кузенов приветствовали меня как вновь обретенного после долгой разлуки друга. И каждую секунду кто-нибудь говорил мне лестные слова о моих книгах. Группа очаровательных подростков доложила, что они изучают их в школе. Кому-то я пообещала прочесть рукопись романа его отсутствующего сына. Мне в руки вкладывали записки и визитки. На отдельном столике в углу громоздилась куча подарков, которые мне предстояло открыть и посмотреть, как настаивали дети, до, а не после того, как их отправят спать. Я раздавала обещания, жала руки, целовалась в щеки и губы, восхищалась младенцами, щекотала их и как раз в тот момент, когда мне до смерти захотелось где-нибудь присесть, заметила, что стулья уже расставлены рядами, как в зрительном зале. Потом Чарлз хлопнул в ладоши и, стараясь перекричать

никак не затихающий шум, провозгласил, что перед ужином нас ждет представление в мою честь, — не будем ли мы любезны рассесться по местам.

Меня подвели к креслу в первом ряду. Рядом со мной оказался старик Пьеро, разговаривавший с кузиной, сидевшей слева от него. Суматоха постепенно улеглась, и наступила почти полная тишина, если не считать доносившегося из угла возбужденного детского шепота, на который я сочла неделикатным обращать внимание. В те несколько секунд, что длилось ожидание, воспользовавшись временным отсутствием внимания к себе, я огляделась по сторонам и только теперь увидела, что все книги были убраны из библиотеки вместе со стеллажами. Так вот почему комната показалась мне намного более просторной, чем я ее помнила. Единственным чтивом здесь были теперь местные журналы в подставках возле камина. Под шиканье и скрип стульев перед нами появился мальчик в черном плаще, накинутом на плечи. Он был бледнокожим, веснушчатым и рыжим — типичное дитя рода Куинси. Лет ему было девять-десять. На хрупкой фигурке эльфа — огромная голова, что делало его облик неземным. Однако мальчик уверенно окинул взглядом комнату, ожидая, когда аудитория уgomонится, потом вздернул свой миниатюрный подбородок, набрал воздух в легкие и заговорил чистым дискантом. Я подозревала, что меня ждет какой-то забавный сюрприз, но то, что я услышала, прозвучало едва ли не мистически:

Вот рассказ о гордой Арабелле,
Убежавшей с негодяем смело.
Мать с отцом рыдают безутешно:
Дом родной так спешно и так грешно
Первеница бросила...

Далее шел рассказ о мытарствах Арабеллы в Истбурне, где она, покинутая жестоким возлюбленным, оказалась без гроша и смертельно заболела. И вдруг перед моим мысленным взором отчетливо возник образ той педантичной, самоуверенной, скрытной девочки, которая, видимо, не исчезла без следа, потому что, когда благодарные зрители на рифме «спешно — грешно» прыснули, мое слабое сердце — смешное тщеславие! — чуть екнуло. Мальчик декламировал стихи трогательно чистым и звонким голосом, с которым немного диссонировал легкий просторечный выговор, в моем поколении называвшийся кокни, хотя я

понятия не имею, что означает этот твердый приступ на месте пропущенного звука «х» в наши дни. Я понимала, что слова — мои, но почти не помнила их, и мне было трудно сосредоточиться из-за массы вопросов, теснившихся в голове, и обуревавших меня чувств. Где они нашли рукопись? Была ли надмирная самоуверенность декламатора знаменем новой эпохи? Я взглянула на своего соседа Пьеро. Он вытирал глаза платком, и мне отнюдь не показалось, что это были всего лишь сентиментальные слезы гордости за правнука. Я почти не сомневалась, что все это было его затеей. Пролог приближался к своей нравоучительной кульминации:

Героине повезло безмерно,
Воссияла для нее удача,
С принцем добродетельным и верным
Под венцом стоит, едва не плача.
И понятно: ведь почти что поздно
Поняла она простую правду:
Следует обдумать все серьезно,
Прежде чем влюбляться безоглядно.

Мы разразились овацией. Послышался даже вульгарный свист. Словарь, мой «Краткий Оксфордский». Где он теперь? В Северо-Западной Шотландии? Я хотела бы получить его обратно. Мальчик сдержанно поклонился и отступил на несколько шагов, к нему присоединилось еще четверо детей, мною не опознанных, которые до поры ждали в условных кулисах.

И спектакль «Злоключения Арабеллы» начался, как и полагалось, сценой прощания убитых горем родителей со своенравной дочерью. В героине я тотчас узнала Хлою, правнучку Леона. Какая это была очаровательная серьезная девочка, с низким грудным голосом. В ней бурлила испанская кровь матери. Помнится, я присутствовала на ее первой годовщине. Кажется, что это было всего несколько месяцев назад. Я следила за тем, как убедительно она, покинутая нечестивым графом, страдает от нищеты, недуга и отчаяния. Роль графа исполнял декламатор пролога в своем черном плаще. Не прошло и десяти минут, как все закончилось. По моим детским представлениям, которым свойственно особое чувство времени, пьеса была не короче любой шекспировской. Я и запомнила, что после церемонии венчания Арабелла и ее принц-лекарь

берутся за руки и, выйдя на авансцену, дуэтом обращаются к публике с финальным куплетом:

Здесь, в конце роковых злоключений,
Начинается наша любовь.
Бог храни вас за долготерпенье.
Отплываем мы в светлую новь!

Не лучшие мои строки, подумала я. Но весь зал, кроме Леона, Пьеро и меня самой, аплодировал стоя. Какими опытными актерами выглядели эти дети, даже во время поклонов. Держась за руки, они стояли строго в ряд и по знаку Хлои то делали два шага назад, то выходили вперед и снова кланялись. Во всеобщем восторге никто не заметил, что Пьеро расчувствовался сверх всякой меры и сидел, закрыв лицо руками. Может быть, он заново переживал тот ужас одиночества, который испытывал в период развода родителей? Близнецам тогда так хотелось участвовать в спектакле в этой самой библиотеке, и вот наконец мечта сбылась шестьдесят четыре года спустя, а его брата уже давно нет на этом свете.

Мне помогли подняться из удобного глубокого кресла, и я произнесла небольшую благодарственную речь. Конкурируя с младенцем, завывавшим где-то в задней части комнаты, я постаралась вызвать в памяти то жаркое лето тридцать пятого года, когда с севера к нам приехали кузены. Обращаясь к актерам, я заверила их, что нам и не снилось подобное мастерство исполнения. В этом месте Пьеро энергично закивал. Я объяснила, что репетиции прервались тогда исключительно по моей вине, потому что в разгар их я вдруг решила стать романисткой. Здесь присутствующие наградили меня понимающим смехом и аплодисментами, после чего Чарлз пригласил всех к столу. Приятный вечер продолжился по заданной программе: шумное застолье, во время которого я даже выпила немного вина, демонстрация подарков, потом младших ребятишек отправили спать, а их старшие братья и сестры пошли смотреть телевизор. За кофе произносили новые речи и много добродушно смеялись, но к десяти часам я уже начала вспоминать свои великолепные апартаменты наверху — не потому, что устала физически, а потому, что устала от общения, устала быть центром всеобщего внимания, каким бы благожелательным оно ни было. Еще с полчаса все прощались, желая друг другу спокойной ночи и счастливого пути, пока Чарлз со своей женой Энни не проводили меня наконец в мой номер.

Сейчас пять часов утра, и я все еще сижу за письменным столом, размышляя о последних, таких странных двух днях. Это правда, что старикам сон не нужен — во всяком случае, по ночам. Мне еще о стольком нужно подумать, между тем скоро, вероятно меньше чем через год, возможности для этого станут у меня куда скуднее, чем теперь. Я думала о своем последнем романе, который вообще-то должен был быть первым. Исходный его вариант написан в январе 1940 года, окончательный — в марте 1999-го, а между этими датами — еще с полдюжины. Второй — в июне 1947-го, третий... Впрочем, какое это имеет значение? Моя пятидесятидевятiletняя епитимья исполнена. Мы трое — Лола, Маршалл и я — совершили преступление, и, начиная со второй версии романа, я всегда писала о нем. Я считала своим долгом ничего не скрывать — ни имен, ни мест, ни обстоятельств. Я излагала все как исторически точную запись событий. Но многие редакторы на протяжении стольких лет твердили, что эти «подсудные» воспоминания не могут быть опубликованы до поры, пока живы мои соучастники, что я могу обнародовать только собственное имя и имена умерших. Маршаллы с конца сороковых годов ведут бесконечные тяжбы, защищая свое доброе имя с исключительно дорогостоящей яростью. Они с легкостью разорят любое издательство, не слишком истощив при этом свои банковские счета. Невольно можно подумать, что им есть что скрывать. Подумать — да, но не написать. Обычно мне предлагали изменить место действия, трансформировать некоторые события, кое-что опустить. Задрапируйте реальную историю вуалью воображения! В конце концов, не для этого ли и существуют романисты? Не заходите дальше, чем требует крайняя необходимость, разбивайте свой лагерь в нескольких дюймах от пределов досягаемости, чтобы рука закона чуть-чуть не дотягивалась до вас кончиками пальцев. Но кто до суда может с точностью определить это расстояние? Чтобы не подвергать себя опасности, следует писать неопределенно, расплывчато. Я знаю, что не смогу опубликовать свою книгу, пока они живы. А с сегодняшнего утра признаю и то, что не нужно печатать ее, пока жива я сама. Смерть одного из них ничего не изменит. Даже когда ссохшаяся физиономия лорда Маршалла появится на газетных страницах некрологов, моя кухня с севера не потерпит никаких обвинений в сокрытии его криминального прошлого.

Было преступление. Но была и любовь. О влюбленных и благополучном разрешении их судеб я думала всю ночь. *Отплываем мы в светлую новь.* Инверсия несчастья. В сущности, я оказалась не так уж

далека от истины в своей маленькой пьеске. Точнее, я сделала далекое отступление и вернулась назад, к своей первой пьесе. Только в последнем варианте романа моих героев-любowników ждет хороший конец, только в нем они стоят рука об руку на тротуаре одной из улиц южного Лондона, глядя мне вслед. Все предыдущие версии были безжалостными. Но я больше не вижу смысла в том, чтобы убеждать читателя, прямо или косвенно, в том, что, скажем, Робби Тернер умер от сепсиса в деревушке Поющие Дюны первого июня 1940 года, что Сесилия погибла в сентябре того же года во время бомбежки на станции метро «Бэлхем». Что я не встречалась с ними в том году. Что мое пешее путешествие через весь Лондон завершилось в церкви Святой Троицы. Что трусливая Брайони похромала оттуда обратно в больницу, не найдя в себе мужества посмотреть в глаза только что овдовевшей сестре. Что письма, которые писали друг другу любовники, находятся в архивах Имперского военного музея. Какой же это был бы конец? Какой смысл, какую надежду, какое утешение извлек бы читатель из подобного развития событий? Кто бы захотел поверить, что они больше никогда в жизни не встретились, что их любовь так и не осуществилась? Кому, кроме адептов сурового реализма, это нужно? Я им в этом не помощница. Я слишком стара, слишком напугана накатывающим приливом беспамятства и забвения, слишком люблю последние крохи жизни, которые у меня остались. У меня больше нет храбрости для пессимизма. Когда умру я, умрут Маршаллы и книга моя будет наконец опубликована, мы все останемся существовать лишь в моих вымыслах. Брайони будет такой же фантазией, как герои, предававшиеся любви в Бэлхеме, вызывая гнев своей квартирной хозяйки. Никого не будет интересовать, какие события и какие персонажи изменены во имя создания романа. Я знаю, что всегда найдется читатель, который раздраженно спросит: но что же там произошло на *самом деле*? Ответ прост: любовь выжила и восторжествовала. И пока будет существовать хоть один экземпляр, хоть рукопись последней версии моей книги, моя импульсивная, моя счастливая сестра и ее принц-лекарь будут оставаться живы, чтобы любить.

Вопрос, порожденный этими пятьюдесятью девятью годами, таков: в чем состоит искупление для романиста, если он обладает неограниченной властью над исходом событий, если он — в некотором роде бог. Нет никого, никакой высшей сущности, к которой он мог бы апеллировать, которая могла бы ниспослать ему утешение или прощение. Вне его не существует ничего. В пределах своего воображения он сам устанавливает границы и правила. Для романиста, как для Бога, нет искупления, даже если он атеист.

Задача всегда была невыполнимой, но именно к ней неизменно стремится писатель. Весь смысл заключен в попытке.

Стоя у окна, я чувствовала, как волны усталости уносят мои последние силы. Пол, казалось, кренился у меня под ногами. Я наблюдала, как в забрезжившем сером свете проявляются очертания парка и мостов над исчезнувшим озером. И длинная узкая аллея, по которой Робби увозили в неизвестность. Мне нравится думать, что, оставив своих героев жить и дав им возможность воссоединиться в конце, я не проявила слабости и изворотливости, а совершила последний акт милосердия, попыталась противостоять забвению и отчаянию. Я подарила им счастье, но не ради эгоистического желания заслужить их прощение. Не совсем, не только. Если бы в моих силах было соединить их на этом моем дне рождения... Робби и Сесилия, по-прежнему живые, сидят рядом в библиотеке и посмеиваются над «Злоключениями Арабеллы»? Не так уж это невозможно.

Но пока мне нужно поспать.

notes

Примечания

Перемирие, заключенное 11 ноября 1918 г. и положившее конец Первой мировой войне. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Роудин-скул — одна из лучших женских частных средних школ близ Брайтона, графство Суссекс. Основана в 1885 г.

Герой популярного английского комикса 1938 г., отважный ковбой из вымышленного городка Кактусвилль на Диком Западе, обладавший несуразно огромной нижней челюстью.

4

Крупный универсальный магазин в Лондоне.

Известный лондонский театр эстрады.

Люблю, любишь, любит (*лат.*).

Название мятных и фруктовых конфет компании «Раунтри Макинтош лимитед».

8

Название пористого шоколада.

Название бульонных кубиков и мясной концентрированной пасты.

Название мочалок из тонкой стальной проволоки для чистки металлической посуды.

Порода свиней.

Фешенебельный многоквартирный жилой дом на улице Пикадилли в Лондоне. Построен во второй половине XVIII века. В нем жили многие знаменитости, включая Байрона. Название получил по титулу одного из бывших владельцев, герцога Йоркского и Олбанского.

Позор, срам (*лат.*).

14

$$90\text{ }^{\circ}\text{F} = 32\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

У. Шекспир. Двенадцатая ночь, или Что угодно. Пер. Э. Линецкой.

Марка легкового автомобиля компании «Крайслер». Выпускалась до 1969 г.

Неглубокий кожаный саквояж, получивший название по имени премьер-министра Великобритании У. Гладстона (1809–1898).

Это невозможно, мсье. Вы не можете здесь остановиться (*фр.*).

Невозможно! (*фр.*)

Большой лондонский магазин мебели и предметов домашнего обихода.

Освальд Мосли — основатель Британского союза фашистов.

Добрый вечер, господа (*фр.*).

У. Х. Оден. Памяти Уильяма Батлера Йейтса (умершего в январе 1939 г.). Перевод Г. Шульпякова.

Сирил Конноли (1903–1974) — видный британский литературный критик и писатель, в 1939–1950 гг. соредактор влиятельного журнала «Горизонт».

Королевский восточнокентский полк, получивший название по цвету канта, которым отделялись мундиры этого полка (buffs (*англ.*) — букв.: темно-желтые).

Фронтоники (*фр.*).

Имеется в виду Гринховардский полк. Green — зеленый (по цвету мундиров) и Howards (*англ.*) — солдаты Ховарда (по имени полковника Ч. Ховарда, командовавшего полком в 1738–1748 гг.).

Колдстримский гвардейский полк — второй по старшинству после полков Гвардейской дивизии. Сформирован в 1650 г., первоначально был расквартирован в шотландской деревне Колдстринг графство Беркшир.

Майл-Энд-роуд — улица в лондонском Ист-Энде, в пределах слышимости колоколов церкви Сент-Мэри-ле-Боу, то есть в исконном районе кокни, где находится множество пабов; Сокихолл-стрит — ее аналог в Глазго.

Альфред Эдвард Хаусмен. Я непорочен был и мил. Перевод Б. Слущкого.

Одна из привилегированных частных женских средних школ близ Брайтона, графство Суссекс. Основана в 1885 г.

Название бульонных кубиков, а также мясной концентрированной пасты производства компании «Брук бонд оксо лимитед».

Название мясного экстракта для бульона.

Название игры на бильярде.

На военном жаргоне — немецкий самолет, немецкий солдат, английский аналог русского «фриц».

Элизабет Боуэн (1899–1973) — англо-ирландская писательница, автор десяти романов, в которых исследовала сложность межличностных отношений.

Автобиографическая книга Квентина Криспа (1908–1999), культовой фигуры в английской культуре 1930-х годов, писателя, прославившегося также эпатирующим, экстравагантным поведением и снискавшего титул «современного Оскара Уайльда».

Лондонская резиденция архиепископов Кентерберийских на протяжении семи веков. В библиотеке этого средневекового дворца хранится богатая коллекция рукописей и документов.

Красное сухое французское вино.

Центральное здание Совета Большого Лондона, до 1963 г. там находился Совет Лондонского графства.

Злодейка из диснеевского фильма «Сто один далматинец».

Мальчик, который подносит или подвозит на тележке клюшки для игроков в гольф.